

Енисей

№ I
2020



Красноярский литературно-художественный
и краеведческий альманах



Енисей

№1
2020



Красноярский литературно-художественный
и краеведческий альманах

Михаил ТАРКОВСКИЙ главный редактор

заместители
главного редактора:

Александр Ёлтышев по прозе

Сергей Кузнечихин по поэзии

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр АСТРАХАНЦЕВ прозаик, член Союза
российских писателей

Леонид БЕРДНИКОВ краевед, председатель
историко-патриотического
общества «Краевед»

Иван БУЛАВА прозаик, первый секретарь
Сибирского представительства
Союза писателей России и Белоруссии

Марина МОСКАЛЮК ФГБОУ «Сибирский
государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского»

Михаил СЕВЕРЬЯНОВ заведующий кафедрой истории
России Гуманитарного института
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»,
доктор исторических наук,
профессор



Красноярск
«Знак»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря
финансовой поддержке министерства
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

Редакция не вступает в переписку.
Тексты не рецензируются.

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
Анны Шишкиной «Победная весна».

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов
Корректор: Андрей Леонтьев

Подписано в печать: 30.06.2020

Тираж: 500 экз.

Формат: 70×100/16

Объём: 17,88 усл. печ. л.

Отпечатано в ООО «Знак»:
660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 21
тел.: 8 (391) 290-00-90, znak24.ru

ISBN 978-5-6044837-0-1

Содержание

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Поэты Сибири о Великой Отечественной войне 5

Николай Юрлов

Битва жизни командарма Лукина 16

Наталья Калеменева

Народы сблизил общий враг 31

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Михаил Стрельцов (1973–2020) 42

ЮБИЛЕЙ

Виктор Теплицкий

Рассказы 45

Татьяна Долгополова

Роза ветров 59

ПРОЗА

Ольга Гуляева

Все четыре колеса 65

Сергей Смирнов

Приют охотников 91

Виктор Самуйлов

Лесовичок 101

Андрей Пучков

Красная незабудка 108

Марат Валеев

Невыдуманные рассказы 122

Геннадий Соловьёв

Шуточки Дианы 130

Юлия Старцева
Татьянин век 140

ПОЭЗИЯ

Сергей Князев
Передержанный снимок 148

Рустам Карапетьян
Письма из ойкумены 155

Геннадий Васильев
Девушка с веслом 160

Вера Кузьмина
Неотбираемое 162

ХИЩНЫЙ ГЛАЗОМЕР

Павел Фоменко
«Убей меня» 170

Николай Гайдук
Улыбка тигролова 177

ВОСПОМИНАНИЕ

Сергей Кузнечихин
Поэт 186

ИСТОРИЯ

Алексей Бабий
Лишенцы 202

КНИЖНАЯ НОВИНКА

Людмила Самотик
Энциклопедия сибирского классика 209

Авторы 212

Поэты Сибири о Великой Отечественной войне

ПЁТР КОВАЛЕНКО

* * *

Так сложилось исторически, люди:
Да, я русский, и я — оккупант.
Если надо, из мощных орудий
Защиту — ведь я правды гарант.

Только я — так даровано Богом,
Этот крест нам нести до конца.
Если враг встанет перед порогом,
То подавится граммом свинца.

Я не дам вам ни пяди просторов,
И соседей я вам не отдам.
Едкий смрад напускных наговоров —
Это всё, что останется вам.

Я ищущу

Мы ушли из школы
В маршевые роты.
От доски — в окопы,
В родинках чернил.
Не росой июльской,
А солдатским по́том,
Не водой, а кровью
Я в боях их смыл.
И гляжу с волнением
Я на обелиски,
С памятников павшим
Глаз не отвожу.
И веснушки детства,
И морщинки близких,
Родинки-чернила
Всё ищущу, ищущу...

СОЛДАТСКИЙ ХЛЕБ

Кружились «мессеры» над степью.
Гремел войны тяжёлый гром.
Принёс в окоп ефрейтор хлеба,
Принёс, рискуя, под огнём.
— Вот вам! —
И молча сдвинул каску...
Лежали мёртвые в дыму.
И долгожданный хлеб солдатский
Уж был не нужен никому.

ПУЛЯ — НЕ ДУРА

Пролетела пуля у виска.
Поклонись...
И — грудь прожгла другому.
Путь солдата — тоньше волоска.
Паутинкою — тропинка к дому.
Было так. И будет так — не ново.
Пуля — как капризная судьба:
Если миновала вдруг тебя,
То всегда найдёт она другого.

КОМБАТ

Был день как день,
Обычный, фронтовой.
Наш батальон пять раз ходил в атаки,
И кровью пламенели буераки.
И всё же кто-то был ещё живой.
И вновь приказ:
«Взять штурмом высоту».
Комбат мундштук перекусил зубами:
«Кого я в наступленье поведу?
Высоты не берутся мертвецами!»
Но... на войне приказ не обсуждают.
И, стиснув в жёстких пальцах автомат,
Шагнул вперёд...
Ведь смерть не выбирают!
И мы за ним...
Был день черней, чем ад,
Шел батальон в последнюю атаку...
Вскипели вражьей кровью буераки,
От нашей крови заалел закат.

МАКИ

Где в бою от боли
Корчилась земля,
Выросли на поле,
Встали тополя.

Белые берёзы
Обступили дол,
Собирают росы
Мирные в подол.

И рассветной ранью
Ливнем голубым
Омывают раны
Сверстникам моим.

На земле атаки,
У родных берёз,
Расцветают маки,
Близкие до слёз.

ГЕОРГИЙ СУВОРОВ

ПЕРЕД АТАКОЙ

Сердца на взлёте — огненные птицы.
Сейчас взметёт их гнева алый смерч.
Сейчас падёт врагу на шею смерть,
Сейчас умолкнет зверь тысячелиций.

Сердца на взлёте. Взор не замутится.
Рука — к гранате. И врагу не сметь
Поднять голов позеленевших медь.
В окопах чёрных ждут кончины фрицы.

Сердца на взлёте. Пальцы на цевьё.
Сейчас за дело кровное своё
Пойдут бойцы сквозь мрак и сгустки дыма.

Сердца на взлёте. Смолкните, враги!
Сейчас четырёхгранные штыки
Над ночью золотой рассвет подымут.

Январь — март 1942

* * *

«Как на отца похожа!» —
реже слышу теперь,
реже меня тревожит
спазмами боль потерь.

Снег скрипит под ногами,
дождь ли хлещет косою —
мне заменяет память
горький давнишний сон.

Снится моя улыбка —
но на мужских губах:
«Дочушка, дыбки-дыбки...»
Руки... И вдруг — труба,

и от груди отнимет
снова меня война,
в белую с красным зиму
бросит из жерла сна.

Ночью, под небом мирным,
нет этим снам конца —
снова взывает мина,
та, что убьёт отца.

..Время шагает мерно.
И через столько лет
я соберусь, наверно,
въявь под славный Смоленск.

Где не бывала мама,
встречу вдруг близнеца:
в жилах красного мака —
кровь моего отца.

По золотой пшенице
бодро урчит комбайн...
Снится мне, снится, снится
мой золотой комбат.

КЛЕМЯТИНО

Тихий вечер, пропахший мятою,
сквозь года осколок прожѐг.
Я стою в деревне Клемятино —
в незнакомой, но не чужой:

в похоронку слова впечатаны —
типографский, не тот, свинец, —
что в бою под Большим Клемятино
смертью храбрых... Отец, отец...

Значит, здесь, за простыми хатами,
в редких (слишком редких!) кустах,
на изрытой земле Клемятина
отмаячил тебе рейхстаг?

Ты был с детства в моём понятии
легендарный комбат, герой.
Я постигла лишь здесь, в Клемятине:
ты — обычный, смешной, живой —

рвал цветы жене — моей матери...
Как вы мало прожили с ней!
И вот здесь тогда, у Клемятина,
под тобой... долго... таял... снег...

...Мне вчеканит на сердце вмятину
обелиска звёздный венец...
Подрастут — приедут в Клемятино
ребятишки мои, отец.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я этот день подробно помню.
Я не знавал краснее дней.
Горели яркие попоны
На спинах праздничных коней.

Гармошки ухали басисто,
И ликовали голоса
Людские. Ветром норовистым
Их выносило за леса.

Качались шторы из бумаги
У нас в избе. Качался дым.
И в кадке ковш на пенной браге
Качался селезнем седым.

В тот день гудела вся округа.
Под сапогами грохал гром,
И пол поскрипывал упруго,
И сотрясался старый дом.

В заслонку ложкой била шало
Варвара — конюха жена.
Мелькали юбки, полушалки,
Стаканы, лица, ордена.

А в стороне на лавке чинно
Курили едкий самосад
Деды и средних лет мужчины —
Из тех, кому уж не плясать.

Тот с костылями, тот с протезом
Или с обвислым рукавом.
Их речь размеренно и трезво
Велась в масштабе мировом.

С печи, где валенки сушили,
Украдкой жадно слушал я,
Как вражью силу сокрушили
Соседи, братья и дядья.

И мне казалось, что я знаю
Свою и всех людей судьбу
И что проходит ось земная
Через отцовскую избу.

АНАТОЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ

* * *

И зацветают мхом ворота,
Сугробов белых полон двор.
Но в этом доме ждут кого-то
И не дождутся до сих пор.

Кто он? Солдат, давно погибший?
Иль сын, не помнящий родства?
Но всё ж под крышею прогнившей
Надежда светлая жива.

Всё так же сердце верить хочет,
И не проходит боль души.
И как по нём тоскуют очи!
А он явиться не спешит.

И зацветают мхом ворота,
Сугробов белых полон двор.
В России вечно ждут кого-то —
И не дождутся до сих пор.

* * *

В те времена не о футболе...
В очередях за хлебом-солью
Шёл и кончался разговор...
И нашим мамам не в укор —
Что сахар под замком держали.
Держали, — но не про запас.
(Потом его пережигали
И от простуд лечили нас.)
И эти вехи роковые
В судьбе народа моего
Не угасали — есть живые...
Есть угли времени того.
...Порой старухи по привычке
Припрячут сахар невзначай —
И запасают соль и спички,
И спать с собой кладут внучат.

* * *

Блины не выходили комом —
В те годы не было муки.
И, как закрытые райкомы,
Молчали в сёлах старики...

Сибирь была бела, бела,
Стоял в ней госпитальный запах.
Сквозь снег мы видели, как запад
Закатным пламенем пылал.

Ходили с ворожкой цыганки,
Лечили души, как врачи.
Безрукий капитан в сигарки
Табак сворачивать учил.

Война в душе, война в характере.
И как непросто стать другим,
Когда победа — слёзы матери:
Враз — похоронный марш и гимн...

Но чувство радости, я знаю,
Мне вдруг покажется простым:
Я только в сорок пятом, в мае,
Увидел первый раз цветы!

ЗИНАИДА КУЗНЕЦОВА

ОККУПАНТ

*Памяти Героя Советского
Союза Прохорова Василия
Никитовича, уроженца с. Успенка
Рыбинского района, погибшего
и похороненного в Прибалтике*

Я Звезду Героя не носил,
Гимнастёрку в праздники не гладил,
Молодой, здоровый, полный сил,
Не чеканил шаг я на параде.

Я не видел, как родился сын,
Как росли и расцветали дочки,
Как среди ликующей весны
Распускались на берёзах почки.

Я забыл, как соловьи поют,
Не зовёт меня жена к обеду,
Я не знаю, как гремит салют,
Я не пел с друзьями «День Победы».

Я не пил по праздникам вина,
На рыбалке не встречал рассвета,
Без меня состарилась жена,
Лаской и любовью не согрета.

Я забыл родимые места,
Я не помню лиц родных и близких...
Надо мной — гранитная плита,
Звёздочка на скромномobeliske.

Я давно лежу в земле сырой,
На земле почти уже забытый,
На табличке с надписью «Герой»
Моё имя временем размыто...

Здесь стоял когда-то караул,
В праздник приходили ветераны,
А сейчас здесь только ветра гул,
И могила заросла бурьяном.

В День Победы больше не несут
Флаги и знамёна демонстранты.
Здесь теперь других «героев» чтут,
Мы для них — враги и оккупанты...

Мы чужими стали для земли,
Нас, своих спасителей, предавшей.
Надо мной рыдают журавли,
Словно души всех героев павших...

ЛЕОНИД САФРОНОВ

9 Мая

Парадный огонь на себя принимая,
Как лампы, ввернув ордена в пиджаки,
Лихую победу девятого мая
Встречают в селеньях у нас мужики.

Поют они песни про синий платочек,
А вдовы про чёрный платочек поют,
Вино из бутылок и пиво из бочек
В ковши разливают и, чокаясь, пьют.

И снова меж бочек гуляет былина
О том, что стряслось в сорок первом году.
Афоня кричит: «Я дошёл до Берлина!
А нынче до правды никак не дойду...»

Потом День Победы доходит до точки.
Умяв в кулаках стоеросовый зуд,
Бойцы с синяками, синей, чем платочки,
Как строчки из песни, по избам ползут.

А дома с какой-то неистойвой спешкой
Пред жёнами входят в трезвеющий фарс...
За ними в окошко с холодной усмешкой
Всю ночь наблюдает воинственный Марс.

ИГНАТИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

НОВОСТРОЙКА

Станки стояли прямо на снегу,
К морозной стали руки примерзали,
И задыхалась вьюга на бегу,
И в белых вихрях затерялись дали.

Через сугробы шли грузовики,
Стонала вьюга тяжело и уныло,
Но не смолкали гулкие станки,
И гневно стружка под резцом бурлила.

Из ледяной, непроходимой мглы,
Из омута клубящейся метели
Орудий смертоносные стволы,
Как молнии багровые, блестели.

Ещё не воздвигали корпуса
И котлованы только намечали,
Но мы творили — нет, не чудеса...
Мы просто фронту честно помогали.

Николай Юрлов

Битва жизни командарма Лукина

«Переправа, переправа, берег левый, берег правый...» — Кресло для товарища генерала. — За орденом Красного Знамени в усадьбу князей Волконских. — Германская война гренадера Лукина. — Сибирь как спасение. — Нетипичный комкор Степан Калинин. — Передышка на Западном направлении. — Когда деморализован «мозг» фронта. — «Москву защищать нечем и нечем». — Фон Функу не до столицы русских. — Протокол немецкого допроса как «развесистая клюква». — «Кто врёт о прошедшей войне, приближает войну будущую».

Когда припомню я и жизнь, и всё бывшее,
Рисуется мне жизнь — как поле боевое,
Обложенное всё рядами мёртвых тел,
Средь коих я один как чудом уцелел.

Пётр Вяземский. Битва жизни

Свой лицевой счёт ранениям и увечьям, полученным в ходе сражений Великой Отечественной, генерал-лейтенант Михаил Лукин открыл на Соловьёвской переправе через Днепр. Случилось это в начале августа 1941 года. 16-я армия воинов-сибиряков, которой он командовал с начала войны, две недели героически обороняла Смоленск. С переменным успехом она пыталась отбить уже занятую немцами южную часть города, а потом по приказу главнокомандующего войсками Западного направления маршала Советского Союза Семёна Тимошенко была вынуждена отходить под натиском наседавшего противника. Арьергардные бои вела в условиях полного окружения.

Подъехав к переправе, Михаил Фёдорович попросил остановить «эмку» на берегу реки: хотелось лично разобраться, в чём причина возникшего затора, а заодно и навести порядок. Подходы к понтонным мостам представляли собой что-то невообразимое. Пожалуй, это было самое настоящее столпотворение: тысячи машин, артиллерийских орудий и танков, повозки с ранеными и беженцами, — всем хотелось прорваться быстрее, чтобы там, на переправе, не стать мишенью вражеской авиации...

Внезапное появление пикирующих бомбардировщиков, беспрепятственно хозяйничавших в небе, вселило ужас в ещё не обстрелянного водителя случайной полуторки. Обезумев от страха, он клещами впился в баранку, тупо давил на газ, и грузовик летел что есть мочи, не заботясь о направлении движения. Первой жертвой красноармейца

(к счастью, и последней) стал сам Лукин, который, как на грех, сразу же оказался под колёсами машины. Хорошо, фронтовой опыт Первой мировой помог хоть как-то сгруппироваться.

— Пристрелю негодяя! — тут же среагировал адъютант командарма старший лейтенант Клыков, выхватив пистолет.

— Отставить, Миша! — приказал генерал, ещё не чувствуя боли и не понимая, чем всё это в ближайшей перспективе обернётся для него.

На левую ногу из-за перелома ступни он опереться уже не мог и двигаться без посторонней помощи тоже. «Ничего не скажешь, хорош командующий», — думал Лукин, когда на следующий день ему предложили чисто фронтовое решение проблемы: где-то раздобыли мягкое кресло и оборудовали его соответствующим образом. Теперь генерала требовалось переносить, иного способа обезопасить повреждённую кость и не представлялось. Лечь в госпиталь Михаил Фёдорович наотрез отказался, надеясь, что нога, если имеешь чувство юмора (а на фронте без него нельзя!), «до конца войны заживёт»...

Вышестоящее начальство, собственно, и не спрашивало, как даётся Лукину не только нахождение в строю, но и управление войсками. Но «вышестоящее» — это ведь только командование Западного фронта и сама Ставка, естественно. А там своих проблем хватало, не до генерала Лукина и его сломанной ноги.

Новый командующий Западным фронтом генерал-полковник Иван Конев, чью 19-ю общевойсковую армию принял Лукин двенадцатого сентября, страшно удивился, когда к нему на КП в район железнодорожной станции Касня прибыл прихрамывающий на одну ногу военачальник. Вот когда зашёл разговор о госпитале! Да и то между делом, хотя Конев меньше всего бы этого хотел. Немного в Красной Армии талантливых командиров, которые не пасуют перед трудностями, умело действуют в сложнейших фронтовых условиях, и, конечно, Лукин нужен в строю...

ВСЕГДА СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ

Повод, ради которого командарма-19 вызвали в штаб фронта, размещавшийся в бывшей усадьбе князей Волконских, лишний раз это подтверждал. Здесь Лукину официально вручили орден боевого Красного Знамени (третий в послужном списке генерала, два предыдущих — за Гражданскую). Именно так Москва оценила его грамотные действия под Смоленском. Генерал задержал натиск немцев и выиграл драгоценное время, а потом пробивался с боями из окружения. Чем не счастливый случай плюнуть на всё и залечь со спокойной душой на больничную койку, поправляя здоровье и нервы, изрядно измотанные первыми месяцами войны? И никто бы не посмел упрекнуть героя Смоленска! Ни один военврач не мог бы, наверное, тогда поручиться, что перелом ноги пустяковый и опасность остаться на всю жизнь калекой генералу не грозит.

Не мог генерал Лукин оставить передовую, не имел на то морального права. А лёг бы в военной госпиталь — как знать, всё бы тогда могло сложиться по-другому: глядишь, и вошёл бы в Берлин на правах маршала-победителя, как его сослуживцы Конев и Рокоссовский. Ну и Жуков, конечно: он ведь тоже с Западного фронта.

Но только случайный в армии человек, не дороживший званием и профессией, предназначение которой — Родину защищать, мог отсиживаться в тылу в трудный для страны час. Пехотный поручик Лукин свято помнил кодекс офицерской чести: «Душу — Богу, жизнь — Отечеству, честь — никому!»

Боевой путь крестьянского сына из деревни Полухтино Тверской губернии был связан с артиллерией, где и от нижних чинов требовалась определённая грамотность. Михаил Фёдорович дослужился до фейерверкера — унтер-офицерского чина в русской армии: этот первый номер на орудии в критических ситуациях должен был заменить офицера и вести огонь на поражение силами взвода. А дальше фейерверкеру вообще повезло в плане военной карьеры: его отправили на учёбу в школу прапорщиков. Правда, теперь пришлось переквалифицироваться на другой род войск, зато под конец Первой мировой он уже поручик, командир роты в 4-м гренадерском Несвижском генерал-фельдмаршала князя Баркляя-де-Толли полку. Это элитное соединение русской пехоты, входившее в состав Гренадерского корпуса, считалось ударным на Западном фронте (какая всё-таки для генерала Лукина ирония судьбы!) и прикрывало направление на Москву. Вот только в Первую мировую русские не отступали так далеко в глубь России, как это случилось в 1941 году.

Поручик Лукин стал кавалером трёх боевых орденов разных степеней (Святых Станислава, Анны, Владимира). Статус последней награды давал право на получение личного дворянства. Если бы, конечно, не рухнула в семнадцатом некогда могущественная Российская империя, да и Лукин, выбранный солдатской массой командиром батальона, не вступил в ряды Красной гвардии...

Уже в конце шестидесятых годов минувшего столетия любознательный внук генерала Дмитрий Городецкий, копаясь в генеалогическом древе, как-то спросил: мол, как же это ты, дедушка, присягал царю и вдруг оказался у большевиков? На это резонное замечание будущий Герой России (высокое звание Лукину присвоят посмертно, но только в 1993 году) ответил просто, не давая малейшего повода усомниться в нечестности и проводя чёткий водораздел между красными и белыми: — Я всегда служил Отечеству и присяге не изменял. Царь отрёкся от престола, но ведь Отечество-то наше осталось...

Следователи из соответствующих органов, которые в тридцатых годах начнут рыться в биографии комдива Лукина, занимавшего высокий пост военного коменданта Москвы (1935–1937), непременно обратят внимание не только на офицерское прошлое, но и на

некоторую близость к окружению маршала Советского Союза Михаила Тухачевского, к тому времени уже угодившего под гильотину советского образца. А разве крупный военачальник должен был отдаляться на пушечный выстрел от первого заместителя наркома обороны СССР? Ведь это когда вскрылось, что маршал — троцкист, возмнивший себя маленьким Бонапартом, враг народа и «немецкий шпион», а всё остальное время, перед опалой и последующим арестом, он благополучно занимался перевооружением и модернизацией «несокрушимой и легендарной».

СИБИРСКАЯ СТАЖИРОВКА КОМДИВА

Как бы то ни было, Лукина спасла Сибирь. Оказавшись снятым с прежней должности и полгода пребывая в кадровом резерве РККА, ожидая неизбежного в таких случаях ареста, он вдруг получил назначение в Новосибирск, в распоряжение Сибирского военного округа. Понятно, что чистили капитально везде и в Сибири тоже план перевыполняли, но больно уж мудрыми оказались товарищи по оружию, удалив Лукина подальше от завистливых глаз очередных бездарей, строивших козни и строчивших доносы в НКВД. Кстати, есть предположение, что заступился «первый красный офицер» Климент Ворошилов.

Да и не нашли ничего органы при ближайшем знакомстве с личным делом, а вот строгий выговор по партийной линии Михаилу Фёдоровичу всё же вкатили, причём с формулировкой, традиционной для той непредсказуемой поры: «за притупление классовой бдительности». Так витиевато именовалось элементарное недоносительство.

Комдив Лукин вплоть до 1940 года по-прежнему занимал большие должности: и начальника штаба, и заместителя командующего Сибирским военным округом. Служил под началом комкора Степана Калинина, будущего командарма-24 на Западном фронте, человека с большими аналитическими и организаторскими способностями, но не очень-то удобного кадровикам РККА. Нестандартно мыслит генерал!

Народный комиссар обороны СССР Семён Тимошенко, побывав как-то на масштабных учениях в Сибири, остался доволен качеством боевой подготовки в подразделениях прежнего сослуживца по Киевскому военному округу. Недоумение маршала вызвало только одно странное обстоятельство: почему это Калинин и Лукин заставляли командиров бригад и дивизий отрабатывать действия в условиях возможного окружения? Ведь полевой Устав РККА его не предусматривал. Красная Армия громила и будет громить врага на чужой территории. Зачем забивать голову всякой чепухой начальствующему составу?..

На эту риторику влиятельного кавалериста ответила суровая действительность, окунув по уши бойцов и командиров в осеннюю грязь постыдных поражений страшного сорок первого. А командование

Сибирского военного округа, несмотря на все упреки наркома, продолжало обучение, ссылаясь на местные особенности и необходимость готовить войска к действиям в экстремальных условиях. Под пристальным вниманием штаба округа находились зимняя подготовка бойцов, формирование лыжных подразделений, батальонов и бригад, а также отработка их действий в предстоящих сражениях. Кроме того, дальновидные сибирские военачальники совершили настоящую революцию в мобилизационной подготовке: по собственной инициативе набирали призывников в расквартированные на территории округа соединения РККА преимущественно из числа местной молодёжи. Эта практика себя полностью оправдала: свежие дивизии воинов-сибиряков, прибывшие в час великих испытаний защищать столицу, стали для генералов вермахта «роялем в кустах». Только вместо привычной музыки Рихарда Вагнера звучала торжественная увертюра Петра Чайковского «1812 год», исполненная с орудийными залпами русской артиллерии в дни зимнего контрнаступления под Москвой.

«Сибиряк — обязательно физически крупный человек с „широкой костью“ (хотя и это тоже), прежде всего это человек сильный духом, выносливый. Особенно в природной обстановке: в мороз и стужу не пропадёт, не заблудится в тайге, найдёт способ выбраться из любых обстоятельств», — это высказывание писателя Валентина Распутина точно предвосхищал комкор Лукин. С введением новых званий для высшего комсостава он стал теперь генерал-лейтенантом. Перед самой войной его перевели в Забайкалье, здесь он принял под свою команду 16-ю общевойсковую армию, сделав всё возможное, чтобы подготовить её по высшему разряду. Надеялся, что вместе с ней и будет сражаться с фашистами, но, как оказалось, только на очень короткий срок: успешного полководца постоянно кидали на прорыв — туда, где труднее. Стоило прослыть хоть немного удачливым, вспоминал Лукин после Великой Отечественной, пребывая в ранге скромного общественника (он был руководителем одной из секций Советского комитета ветеранов войны), как тебя тут же начинали перебрасывать с места на место — как говорится, «для укрепления руководства».

И вышло так, что за первые месяцы войны герой обороны Смоленска сменил уже две армии: сначала была 16-я, затем 20-я. Новое боевое соединение, 19-ю армию, возглавил двенадцатого сентября, буквально за две недели до немецкого наступления. Она в полном смысле была обновлённой. Экс-нарком Тимошенко не оставлял затеи отбить Смоленск и реабилитировать себя перед Сталиным, кидал на прорыв людей по нескольку раз. Дивизии, выполнявшие этот приказ, были измотанными, обескровленными, в каждой по численности не более бригады, а то и полка. Тимошенко не был Жуковым, а так хотелось им стать, хотелось новой Ельни, но вместо победного наступления на Смоленск Ставка резонно приказала войскам Западного фронта «зарыться в землю»...

Сама обстановка, кажется, способствовала, чтобы наши войска немного перевели дух, пользуясь тем, что фюрер решил разобраться с русскими теперь и на Юго-Западном фронте, мечтая о «чёрном золоте» Донбасса. Как ни противился Гейнц Гудериан, Гитлер всё же заставил «танкового бога» резко сменить направление главного удара. Эту передышку генерал-лейтенант Лукин старался использовать в полном объёме, чтобы поскорее войти в обстановку. Он знакомился с подразделениями вверенной ему 19-й армии, заставлял пехоту рыть окопы в полный рост. Оборудовалось предполье (передовая полоса обороны), на предполагаемых направлениях продвижения бронетехники возводились противотанковые рвы. Эх, если бы у наших сапёров в достатке были ещё и мины...

К великому огорчению Лукина, командир 91-й стрелковой дивизии генерал-майор Никита Лебедеко двадцать четвёртого сентября был вынужден сложить с себя полномочия: теперь он поступал в распоряжение штаба Западного фронта. Генерал-полковник Иван Конев, передав свою армию коллеге, теперь думал о слабых звеньях на всех участках фронта и считал, что крепкий военачальник ему всегда пригодится для кадровых ротаций.

Так, собственно, и случилось: Никита Федотович Лебедеко ждал своего часа и принял 50-ю стрелковую дивизию, когда её командир и будущий Герой Советского Союза полковник Аркадий Борейко в ту тревожную осень 1941-го получил тяжёлое ранение и оказался в госпитале.

«Заканчивался сентябрь — третий месяц войны, — писал Михаил Лукин в своих воспоминаниях «Трудные дни командарма», опубликованных в журнале «Смена» в 1966 году.— Осень всё чаще и чаще напоминала о себе дождями и предрассветными туманами, но лес возле деревни Василисино, где размещался штаб 19-й армии, был по-прежнему тих и уютен. Наши землянки приобретали всё более комфортабельный вид, несмотря на то что до линии фронта было каких-нибудь семь-восемь километров. Там тоже было относительно тихо — то, что в военных сводках принято называть „боями местного значения и поисками разведчиков“».

КАВАЛЕРИСТЫ, ЛИХИЕ РУБАКИ...

Человеку неискущённому при беглом взгляде на карту боевых действий могло показаться, что всё на Западном фронте складывается благополучно: нет никаких выступов, чреватых обходами и охватами по флангам, по Старой Смоленской дороге, где когда-то наступал Наполеон, а нынче предполагался главный удар немцев на Москву, им никак не продвинуться. Заслон надёжный! Но даже если и произойдёт внезапный прорыв, то скорее на других участках. На этот случай в тылу армий Конева имеется запасной вариант — Вяземский рубеж обороны, где располагались войска Резервного фронта.

В отличие от некоторых больших чинов, генерал Лукин благодушием не страдал: при первом же визите в штаб Конева он поделился возникшими опасениями непосредственно с командующим. Оборона-то в основном линейная, прорвать её при численном и моторизованном превосходстве, огневой поддержке и ударах с воздуха противнику не составит особых усилий. Единственное, что в этом случае Лукин может предпринять,— выделить одну из стрелковых дивизий во второй эшелон. Кстати, Михаил Фёдорович так и сделал, как только возглавил 19-ю армию: отвёл с левого фланга 91-ю дивизию воинов-сибиряков в глубину обороны, за реку Воль. Больше у него возможностей создать резервы не было. Командующий фронтом при этом только вздохнул: он всё прекрасно понимал, да кто бы его в Ставке слушал?

Коневу тоже приходилось нелегко: он, как и Лукин, только-только заступил на высокий пост и мало что сумел изменить в системе управления войсками, выстроенной его предшественником. Маршал Советского Союза Тимошенко предпочитал комфорт даже на фронте. О тщательно замаскированных землянках как самом надёжном способе избежать удара с воздуха никто при нём даже и не заводил разговор, и штаб фронта был выбран не где-нибудь в неприятельном месте, а в имении князей Волконских — деревне Всеволодкино, на господствующей высоте.

Усадьба знатная, это она послужила прообразом Лысых гор, воспетых Львом Толстым в романе «Война и мир». Чем руководствовался Тимошенко, сказать трудно. Возможно, ему хотелось приобщиться к великой литературе и её «матерому человечеству», «зеркалу русской революции». А то, что рядом находилась железнодорожная станция Касня, объект пристального внимания самолётов-разведчиков, до тошных вражеских «рам», которые всё подмечали на передовой и в тылу,— это тоже мало кого смущало. Да и сама роскошная дворянская усадьба с её прудом и парками, посыпанными жёлтым песком аллеями и широкой подъездной дорогой с каменными воротами, куда постоянно подруливали штабные машины и мотоциклы с офицерами связи, давно уже была у немецких лётчиков на примете.

И то, чего более всего опасался командарм Лукин, высказывая командующему мысль: мол, не мешало бы перенести штаб Западного фронта в другое, более безопасное место,— второго октября с железной неотвратимостью произошло. Сначала у немцев заговорила артиллерия, а потом принялась за работу вражеская авиация. *«Идя волнами с большим количеством самолётов в каждой, она обрушила свой смертоносный груз на передний край, артиллерийские позиции и войска, находившиеся в глубине обороны вплоть до тылов фронта»*, — отмечал в своих послевоенных воспоминаниях Лукин. Разумеется, асы люфтваффе не забыли заглянуть и на территорию старинной усадьбы князей Волконских.

В результате этого налёта штаб фронта в первый же день операции «Тайфун» временно потерял управление войсками — двухэтажное здание было полностью разрушено, повреждено антенное поле, уничтожен пункт самолётов связи, а жертвами бомбардировки оказались ведущие отделы: оперативный, разведывательный, шифровальный. Шестьдесят военнослужащих получили ранения, тринадцать — погибли. Сам командующий при этом чудом уцелел, поскольку находился в одном из близлежащих флигелей. Какой-то злой рок висел над Западным фронтом: за чьи-то ошибки своей кровью расплачивались люди, и это было только начало. Если к этому ЧП добавить и другое событие (работу правительственной комиссии под началом члена Ставки Верховного главнокомандования Вячеслава Молотова, приступившей к поиску виновных в трагедии под Вязьмой), то вот вам одно из объяснений гибели сотен тысяч красноармейцев и командиров. «Мозг» фронта был деморализован и не мог трезво оценивать стремительно меняющуюся обстановку, предлагая выходы из критической ситуации.

По итогам того злополучного месяца, когда Конев находился за фронтовым дирижёрским пультом, генерал-полковник становился классическим «мальчиком для битья», и военного трибунала ему было бы не избежать. Но его буквально спас от позорной участи прибывший из Ставки генерал армии Жуков, наделённый Сталиным чрезвычайными полномочиями. Вот только генерала Лукина и окружённые под Вязьмой соединения некому было спасать. У полевого управления Западного фронта каких-либо сил, способных деблокировать зажатые в танковые «клещи» соединения, попросту не оказалось. Расчёт на ВВС Западного фронта не оправдался, и Лукин отчаялся просить, чтобы Ставка обеспечила окружённой группировке поддержку с воздуха в местах предполагаемого выхода из «котла». Его призывы оставались без ответа, и это лишь усугубляло дело.

Радиограмма Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, полученная штабом 19-й армии накануне неудавшегося прорыва, долго стояла у Михаила Фёдоровича перед глазами: «Из-за неприхода окружённых войск к Москве Москву защищать нечем и нечем. Повторяю: нечем и нечем». Лукину невольно подумалось: а как бы пригодилась на Можайском рубеже обороны его армия, бойцы которой уже сполна понюхали порох, да и командиры научились действовать в самой чрезвычайной обстановке! И она бы непременно заступила на рубеж, если бы заблаговременно, на два-три дня раньше, получила спасительное «добро» на отход. В конечном итоге вражескую пехоту и танки встречали лишь дивизии народного ополчения, наспех обученные, вооружённые в основном винтовками да «коктейлями Молотова» и рассредоточенные по фронту так неплотно, что об истинном предназначении укрепрайонов можно было и не вспоминать...

Сразу по трём фронтам — Брянскому, Западному и Резервному — прошёл сокрушительный ураган, неспроста, видимо, названный немцами «Тайфун». Для Сталина он был своего рода моментом истины. Верховный уже завершил личный «курс молодого бойца» и мог с большей долей вероятности распознать ошибки приближённых полководцев, соратников и героев Гражданской. В эти трагические дни Председатель Государственного комитета обороны СССР открыто признался, что вся его оплошность в одном — слишком «доверился кавалеристам». Ох уж эти кавалеристы, лихие рубаки в атаке!..

Верховный явно намекал на маршала Советского Союза Семёна Будённого, в подчинении которого находился Резервный фронт. Даже в случае прорыва на стыковых участках между 19-й и 30-й армиями Западного фронта, где их менее всего ожидала Ставка, немцы должны были бы упереться в жёсткую оборону 49-й армии генерал-лейтенанта Ивана Захаркина. По крайней мере, так было по планам штабистов, но гладко, как известно, у нас только на бумаге, особенно в 1941 году. Линейная оборона Красной Армии напор танковых дивизий 3-й ударной группы генерал-полковника Германа Гота сдержать не смогла. Вот что отмечал уже после Великой Отечественной войны маршал Советского Союза Иван Конев: *«Основная 49-я армия, находившаяся на Вяземском оборонительном рубеже, за сутки до наступления главных сил группы армий „Центр“ — за сутки, повторяю, — была снята и распоряжением Ставки по докладу Генерального штаба перебросена на юг в связи с осложнившейся ситуацией на юго-западном направлении»*.

Перед двумя немецкими танковыми корпусами находились только ополченцы: московские рабочие и столичная интеллигенция. А из-под Вязьмы таким же «стратегическим манёвром» вывели другое прикрытие, которое очень бы пригодилось для помощи генералу Лукину в его безуспешных попытках прорыва. Речь, собственно, о двух мотострелковых дивизиях: их забрали ещё в середине сентября и тоже отправили на юг. Теперь задача танкистов Гота намного упрощалась, поскольку им предстояло преодолеть Вяземский рубеж с его фронтальными дотам и дзотами, но без отсечных позиций и, самое главное, без надёжных кадровых частей и соединений.

Но ведь немцы летели к Москве не со скоростью звука, что-то же можно было сделать на упреждение тем же Резервным фронтом. Требовалась элементарная перегруппировка войск, хотя Будённый всегда упорствовал, пытаясь выгородить себя: мол, к началу операции «Тайфун» он уже не имел с Западным фронтом устойчивой связи. И попробуй легендарного маршала в чём-то упрекни!

«ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ...»

Роль Резервного фронта в трагических событиях под Вязьмой при Сталине вообще не рассматривалась. Более того, маршал Будённый

сразу же был вызван в Ставку и получил важное правительственное задание — провести в Московском военном округе оргработу и подготовить исторический парад на Красной площади Седьмого ноября, а потом и принимать его. Может быть, именно к этим свежим сибирским дивизиям, прошедшим по брусчатке в тот знаменательный день, обращались с мольбой умирающие возле деревни Всеволодкино бойцы и командиры 120-го гаубичного артиллерийского полка 19-й армии, расстрелявшие свои последние снаряды: «Отомстите, братцы, за нас!»

Артиллеристы-сибиряки выполнили эту просьбу под Москвой и обрушили на врага смертоносные «ворошиловские килограммы», если говорить языком того сурового времени.

До конца своих дней генерал Лукин был твёрдо убеждён: правду о сражениях под Вязьмой при жизни маршала Будённого и причастных к этим событиям людей историкам и мемуаристам сказать не дадут. А вот с командующего 19-й армией, на которого Ставка возложила руководство окружённой группировкой, спросят по полной программе, сделают это следователи всесильного СМЕРШа и лично товарищ Абакумов уже по возвращении генерала из фашистского плена.

Правда, начнутся эти доморощенные мытарства советского генерала только в мае 1945 года. И лишь резолюция на так называемом «деле Лукина»: «Преданный человек, в звании восстановить, если желает — направить на учёбу, по службе не ущемлять», — начертанная рукой Сталина, окончательно решит судьбу полководца Второй мировой.

Думается, этой красноречивой оценки генералиссимуса вполне достаточно, чтобы снять возможные и невозможные обвинения с узника фашистских концлагерей, инвалида Великой Отечественной войны, но конспирологи современности типа небезызвестного Юрия Мухина не унимаются в своих исторических копаниях: «Лукин свою армию „слил“...»

Точно отвечая ему, будущему оппоненту, отставной генерал-лейтенант в канун двадцатипятилетия битвы под Москвой подготовил статью для «Военно-исторического журнала», но она увидела свет только в 1981 году — раньше не дали:

«Впоследствии меня многие спрашивали, в частности на конференции в ЦДСА, посвящённой этим боям, почему я не отступал своевременно. Выступавшие даже упрекали в этом. И тогда, в октябре 1941 года, я был уверен, что поступал правильно, и по прошествии многих лет, анализируя события прошлого, я вновь убедился в правоте своих действий в тот период. Не отступал я потому, что чувствовал поддержку и поощрение фронта (связь с командующим держалась непрерывная), меня ставили в пример, да и необходимости отступить не возникало, тем более что на это не было приказа. Это с одной стороны, а с другой — отступить мы уже и не могли. Если войска покинули бы позиции и без боёв двинулись походным порядком,

то моторизованные части фашистов нагнали бы их, расчленили и разбили».

Общество всегда хотело знать правду о Вяземском «котле», но она всегда была строго дозированной, урезанной до самой последней степени, а если и появлялись слишком уж смелые «первые ласточки», их тут же отстреливали. Писатель Константин Симонов в не свойственной ему манере (всё-таки кинопублицистика) снимал документальный фильм «Если дорог тебе твой дом», но к юбилею картина на экраны не вышла: в государственный тренд не угадала. Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР, тот самый всевластный Главпур, посчитало излишним говорить правду о трагедии. Генерал Лукин в том фильме есть, но как статист в документальном кадре: добрые слова о нём произнёс сам Георгий Жуков, интервью с которым тоже пострадало от больших идеологических ножниц. Но даже прославленный маршал не рискнул назвать вещи своими именами. Мог бы, конечно, ведь в сентябре 1941 года он уже не возглавлял Генеральный штаб, и это были как раз не конкретно его тактические промахи.

Что и говорить, немцы нас тогда здорово переиграли: скрытно, только в ночных условиях, осуществили железнодорожную переброску 4-й танковой группы из-под осаждённого Ленинграда и тем самым существенно укрепили свои силы для наступления на Москву. Мощные танковые клинья генералов Гота и Гёппнера ударили в стыки армий Западного фронта под Духовщиной и Рославлем и в короткий срок просочились на многие десятки километров, критически оголив наши фланги, а в районе Вязьмы и вовсе замкнув удушающее кольцо.

Предугадать направление главного удара — вообще-то это задача Генерального штаба РККА, но она так и не была решена к моменту наступления группы армий «Центр», победоносно ведомых на Москву генерал-фельдмаршалом Фёдором фон Боком. Не стоит удивляться неарийскому имени немецкого военачальника: русские корни в его родословной — одна из причин, в силу чего пленному Лукину сразу же оказали квалифицированную медицинскую помощь и перевели в немецкий госпиталь. Уважал фон Бок достойных врагов, равных ему самому!

О том, насколько доблестно сражалась армия Лукина на исходном рубеже обороны, по рекам Вопь и Вопря, сдерживая натиск пехотных и механизированных соединений, численно превосходивших её в несколько раз, свидетельствует благодарность от командования Западного фронта за первые дни оборонительных боёв. Но и в окружении наши войска тоже дрались до последнего.

«По установившемуся правилу, известному не только из теории, но и из практики, окружённую группировку противника надо дробить и уничтожать по частям, — отмечал писатель-фронтовик, Герой Советского Союза Владимир Карпов в книге «Генералиссимус»,

вышедшей в 2002 году.—*Гитлеровцы и пытались это сделать в районе Вязьмы. Но, понимая их замысел, генерал Лукин старался не допустить дробления войск и организовал упорное сопротивление внутри кольца. В течение недели окружённые войска активными действиями приковывали к себе значительные силы противника*».

Связисты Лукина перехватили радиogramму командира 7-й танковой дивизии генерала Ханса фон Функа. В ней кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями открытым текстом отвечал начальству, в силу каких непредвиденных обстоятельств он опаздывает в продвижении на Москву. Оказывается, русский командующий тоже рвётся к столице, а потому фон Функу приходится нелегко: «пустил в бой последних гренадер, едва сдерживаю натиск 19-й армии».

Дивизия фон Функа первой входила в Варшаву, а затем в Париж, и фюрер не желал нарушать установившуюся традицию здесь, на Восточном фронте. Вот только с Москвой у фон Функа и его танкистов не получилось: Лукин помешал...

Превосходство немцев на участке, который обороняла армия Лукина, было подавляющим: против четырёх стрелковых дивизий там наступали двенадцать вражеских, в том числе три танковых и одно моторизованное соединение. Дивизии у немцев были полнокровные, укомплектованные по пятнадцать тысяч человек, что Красной Армии той поры и не снилось. И всё же потеснить нашу пехоту им удалось лишь самым незначительным образом, да и то в предполье: основной рубеж обороны в начале октября оставался за войсками 19-й армии.

Как ни усердствовал враг, нащупать слабые места у русских именно здесь, на реках Вопь и Вопря, не получилось, что снимает с командарма все претензии в ошибочном или злонамеренном управлении вверенными ему подразделениями. И уж тем более некорректно упрекать Лукина за сам факт пленения под Вязьмой четырнадцатого октября 1941 года. Накануне Михаил Фёдорович уже получил осколочное ранение в правую руку. На ней были перебиты сухожилия, повреждён нерв, и рука полностью обездвижена. Через несколько дней — новые ранения, роковые: двойное попадание осколков мины в правую ногу, рана в правом боку и бессознательное состояние от потери крови. «Немцы взяли в плен не генерала Лукина, а его труп», — заявил потом командарм, и это не было преувеличением с его стороны. Он был на грани жизни и смерти и лишь на следующий день пришёл в себя, оказавшись в одной из вяземских школ, которую немцы приспособили под госпиталь, и отчётливо осознал: только что завершилась хирургическая операция, а он лишился правой ноги...

Через некоторое время к нему заявился полковник германского Генерального штаба. Тут и гадать не надо: пленный генерал оказался в разработке немецких спецслужб. Новое «пополнение» в списке высшего командного состава РККА, полученное фашистами под Вязьмой, открывало широкие перспективы для пропагандистской

и разведывательной игры. А предателей в те дни хватало. Переметнулся к немцам начальник штаба 19-й армии генерал-майор Василий Малышкин, запятнав репутацию целого соединения, да и самого Лукина. Добился высоких постов бригадный комиссар, член Военного совета 32-й армии Резервного фронта Георгий Жиленков, взятый в плен под Вязмой также четырнадцатого октября. Он и у немцев, оказывается, «комиссарил»: был начальником организационно-пропагандистского отдела Русской народной национальной армии (РННА), созданной под патронажем абвера — армейской контрразведки адмирала Канариса.

Строя свои коварные замыслы, немецкие спецслужбы полагались в перспективе и на бывшего командарма 19-й армии и всячески старались вовлечь его в свою игру. Ради этих целей и появился протокол допроса генерал-лейтенанта Лукина, датированный четырнадцатым декабря 1941 года. Бумага готовилась непосредственно для ознакомления с ней Гитлера, чтобы убедить его в значимости вербовки пленных для борьбы с большевизмом руками самих же русских.

Самое интересное ещё и в том, что «документ» по Лукину, где генерал якобы клеймит Сталина и говорит, что «большевизм так же чужд русскому народу, как и украинцам», вдруг всплыл в Киеве в тот момент, когда Украина стала «самостийной». Почему бумага именно там хранилась всё советское время — большой вопрос. Ответ на него может быть только один: генерал, отклонивший все предложения немцев о сотрудничестве, прошедший застенки лагерей Луккенвальде, Вустрау, Нюрнбергский «шталаг» и тюрьму в Вюрцбурге, уже после своей смерти в 1970 году по чьей-то злой воле вдруг подвергся массивной атаке, неизбежной в ходе современной информационной войны.

Кому-то очень хочется вылепить из пленённого генерала борца с большевистским режимом, ещё одного Власова, но правда заключается в том, что на сделку с совестью, в отличие от небезызвестного командующего 2-й ударной, Лукин не пошёл.

Немецкий «протокол» сразу же внесли в «Хрестоматию по отечественной истории (1914–1945 гг.)» под редакцией Александра Киселёва и Эрнста Щагина, которая появилась в лихие девяностые в Москве и была рекомендована для студентов российских вузов в качестве учебного пособия. Ничего удивительного, ведь попытки переписать историю Великой Отечественной начались с перестройкой и не заканчиваются ею. Под видом заполнения «белых пятен», лагун двадцатого века учёные едва поспевают за политической конъюнктурой, извлекая на свет сенсационные, казалось бы, документы, а на деле они оказываются всего лишь «развесистой клюквой».

Но если уж заводить речь о конкретных документах по генералу Лукину, которых до крайности мало, вряд ли можно пройти мимо тех, что хранятся в станице Вёшенской, в государственном

музее-заповеднике Михаила Шолохова. Речь, собственно, о записи бесед с бывшим командующим 19-й армией генералом Лукиным, гостившим в шестидесятых годах у знаменитого писателя несколько дней. Зачем же Шолохову понадобилось вести стенограмму этих разговоров и беречь её как зеницу ока?

Шолохов и Лукин познакомились ещё в сентябре 1941 года, когда писатель получил командировку в 19-ю армию в качестве военного корреспондента «Красной звезды». Исследователи творчества писателя резонно отмечают: прототипом репрессированного генерала Александра Стрельцова, одного из героев незавершённого романа «Они сражались за Родину», стал именно он, командарм Лукин. Он же, реальный генерал-лейтенант, явился и невольным виновником «чёрного передела» всего произведения, которое мыслилось как масштабное полотно о великой войне, и автор хотел провести своего Стрельцова через новые испытания жизни: фашистские лагеря и сито НКВД.

Великий мастер слова жаждал правды и уже обозначил подходы к столь непростой теме в рассказе «Судьба человека». Его герой Андрей Соколов тоже попадает в плен, но ему удаётся бежать, благополучно миновав унижительные процедуры проверок, положенных в таких случаях для всех, кто оказался по ту сторону. Встреча с Лукиным, лоямая сложившиеся представления, стала своего рода детонатором для писателя, уже понимавшего, что использовать материал, полученный от узника концлагерей, ему, нобелевскому лауреату и представителю высших органов советской власти, эти же самые власти не дадут.

Шолохов поступил чисто по-гоголевски: в печку полетела рукопись романа, а с ней и созданный воображением писателя генерал Стрельцов сгинул в огне, как и сотни, тысячи реальных красноармейцев, попавших в немецкий плен, тоже были уничтожены в топках Бухенвальда и Освенцима.

Шолохов очень хорошо разбирался в людях, да и грех тут было ошибиться «инженеру человеческих душ».

После длительного общения с командармом Лукиным он сделал запись в своём дневнике: *«Вот трагическая судьба честного генерала. Не так всё просто было на войне, как некоторым кажется. Война — это всегда трагедия для народа, а тем более для отдельных людей. Люди обретают себя в подвигах, но подвиги эти бывают разные. Такие, как Лукин, обретают себя как личности и в трагических обстоятельствах...»*

Но правду в её обнажённом, голом виде не приемлет ни один государственный строй, ни один! *«Всю правду о войне, да и о жизни нашей, знает только Бог»*, — к этим неутешительным выводам в далёкой Сибири вскоре пришёл уже другой писатель-фронтовик. Это был Виктор Астафьев, который в своих произведениях их ещё больше усилил: *«Кто врёт о прошедшей войне, приближает войну будущую»*.

Мысль наверняка понравилась бы Лукину, но вряд ли бы они нашли между собой общий язык: строптивый сибиряк искал свою, «окопную» правду и генералов на дух не выносил. Думается, совершенно напрасно: одними солдатами не выиграешь войны.

Да и валили в ту жуткую пору почему-то больше генералов, выбивая из них признательные показания, уличая в связях то с японской, то с немецкой разведкой, а то и в заговоре против самого «вождя народов». Лукин выстоял в этой битве жизни дважды: и в тридцатые, и в сороковые роковые,— это был конкретный герой, не сказочный, не мифологизированный. Передвигавшийся на протезе, весь израненный, «хлебнувший горюшка по самые ноздри и выше», но с гордо поднятой головой! Он и перед немцами её не склонил...

Освободившись из фашистского плена, терзая бесконечно и сердце, и память, генерал-лейтенант Лукин до последних дней жизни сражался за правду о своей армии и тех трагических событиях, что произошли под Вязьмой в октябре 1941-го. В наши дни эта война разгорается с новой силой.

Наталья Калеменова

Народы сблизил общий враг

Странный документ нашла я однажды в Минусинском архиве:

«На основании указания СНК РСФСР от 23/IV-40 года №510 и директивного письма НКВД РСФСР от 7/V-40 г. за №843-С нетрудоспособные лица из числа спецпереселенцев — бывших польских осадников должны быть приняты на соц. обеспечение.

Во исполнение вышеуказанного крайсобес предлагает немедленно закрыть красные уголки, где разместить представленных вам согласно нашим путёвкам райпоскомендатурой спецпереселенцев — бывших польских осадников.

В тех случаях, когда не представится возможность разместить всех в красных уголках, организуйте уплотнение, где имеется возможность, — присланное количество обязательно, во что бы то ни стало разместите.

Вместе с предъявленной путёвкой на каждого осадника должен быть приложен акт освидетельствования или справка-удостоверение ВТЭК и справка райпоскомендатуры, подтверждающая его личность и что он действительно является безродным.

За отсутствием вышеперечисленных документов на доставленных в индом спецпереселенцев — бывших осадников, принимать таковых запрещаем.

Установите не подлежащий оглашению ежедневный контроль за наличием спецпереселенцев в индоме и при исчезновении немедленно сообщите в милицию.

Зав. крайСО Свищева.

Нач. военного отдела Петрашева».

Что за осадники? Они кого-то осаждали или сами были где-то в осаде? Зачем понадобилось срочно размещать их в сельских красных уголках?

Оказалось, это польское слово означает «переселенец», но многие специалисты считают, что более точное его значение — «колонист». Так что же колонизировали поляки и когда?

В октябре 1920 года Советское правительство вынуждено было подписать с Польшей предварительный текст мирного договора на кабальных условиях: Польше отходили Западная Украина и Западная Белоруссия. В декабре 1920 года, не дожидаясь окончательного подписания мирного договора, правительство Польши издало закон

«О военном осадничестве на восточных землях», согласно которому лучшие земли на отошедших Польше территориях передавались в распоряжение демобилизованным участникам советско-польской войны и их семьям. «Освоение» земель шло под откровенным националистическим лозунгом: «Ни пяди земли в непольские руки!» Вскоре семьдесят восемь процентов земли Западной Украины стало принадлежать осадникам и лесникам (лесная стража).

Закономерный результат такого освоения — на заселённых осадниками землях поляков стало значительно больше, чем лиц других национальностей. К марту 1921 года, когда был подписан окончательный вариант договора Советской Россией, земля была уже поделена между её новыми владельцами. Договор был подписан в Риге и вошёл в историю под названием «Рижский мирный договор».

Аппетит приходит во время еды... «Наши интересы на востоке не кончаются на линии наших границ», — подобные откровения польской власти были тогда делом обычным.

События 1939–1940 годов — до сих пор открытая кровоточащая рана в отношениях между Польшей и нашей страной. С одной стороны — договор между Польшей и Германией о ненападении, заключённый в 1934 году, и участие Польши вместе с Германией в разделе Чехословакии; с другой — заключение в августе 1939 года Советским Союзом договора с Германией о ненападении и вторжение 1 сентября 1939 года войск Германии на территорию Польши.

В феврале 1940-го началось принудительное переселение (депортация) польских граждан с территорий Западной Украины и Западной Белоруссии в северные регионы РСФСР, Сибирь и Казахстан. Первыми были депортированы семьи осадников. По данным Александра Гурьянова, председателя польской комиссии общества «Мемориал», в общей сложности их было переселено примерно 140–141 тысяча человек. В Красноярский край депортировали 15 538 осадников и 1459 беженцев. К категории беженцев относились польские граждане, бежавшие с территорий, оккупированных в сентябре 1939 года Германией.

Депортированных осадников и беженцев распределили по спецпоселениям, обязательно расселяя отдельно. Среди осадников семьдесят два — семьдесят процента составляли поляки, а среди беженцев такую же долю — евреи.

В Красноярском крае польских поселенцев было свыше 25 тысяч. Они работали в сельском хозяйстве, на шахтах, в лесной и оборонной промышленности.

АРМИЯ ГЕНЕРАЛА АНДЕРСА

Правительство Польши эмигрировало в Великобританию. Дипломатические отношения между нашими странами были прерваны. Но после вероломного нападения Германии на СССР отношения кардинально

изменились. 30 июля 1941 года в Лондоне было подписано соглашение между правительством Советского Союза и эмигрантским правительством Польши, согласно которому страны стали союзниками в борьбе против общего врага — фашистской Германии.

12 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал декрет, согласно которому были освобождены из тюрем, трудовых лагерей военнопленные польской армии, а также депортированные и ссыльные польские граждане. Они получили амнистию и были восстановлены в правах польского гражданства.

Причину столь резкого потепления в отношениях между Польшей и Советским Союзом власти объясняли жителям мест, где проживали поляки. Подтверждение тому — документ, хранящийся в Минусинском архиве, посланный в адрес Тесинского сельсовета (такого же содержания письма были разосланы и в другие места):

«В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 года, с 31 августа 41 года будут освобождаться с мест ссылки бывшие спецпереселенцы, подданные польского государства, высланные с западных областей в наш район.

Часть бывших спецпереселенцев, особенно после заключения правительством СССР с Польским правительством соглашения о совместной борьбе с германским фашизмом, активно участвует на полях хлебоуборки в колхозах и совхозах района и изъявляет желание вступить в гражданство СССР.

В связи с этим исполком райсовета и РК ВКП(б) обязывают председателей сельсоветов, секретарей и партторгов парторганизаций сёл и совхозов организовать среди бывших спецпереселенцев политическую работу следующего направления:

- а) разъяснить историческое значение, цели и задачи заключённого соглашения между правительствами СССР и Польши о взаимной борьбе советского и польского народов с гитлеровской Германией (редакционная статья «Правды от 4/VIII-41 г.);
- б) политическое и международное значение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12/VIII-1941 года об амнистировании польских граждан.

Всю массовую политическую работу среди польских подданных направлять на возможное закрепление их по месту работы и вступление в гражданство СССР; следовательно, предоставить бывшим спецпереселенцам возможность изучить Конституцию СССР, выделив для этой цели политически развитых товарищей из коммунистов, беспартийных учителей, агитаторов; провести с бывшими спецпереселенцами специальные лекции на различные политические и экономические темы, о строительстве нашего государства, о политических правах граждан СССР.

Исполком райсовета и РК ВКП(б) вместе с этим обязывают вас обеспечить беспрепятственное устройство, особенно женщин и детей, бывших спецпереселенцев на работу в колхозах, приняв меры к созданию им материально-бытовых условий.

Председатель исполкома райсовета — Величко.
Секретарь РК ВКП(б) — Шмаков.
31.VIII.41 г.
г. Минусинск».

Правительство обязало органы власти в местах, где проживали польские граждане, оказывать им поддержку в ведении индивидуальных хозяйств.

В Советском Союзе была создана сеть доверенных польского посольства — делегатур.

По Красноярскому краю и Иркутской области доверенным польского посольства был назначен лейтенант Юзеф Мешковский, прибывший в Москву из Лондона, а затем командированный в Сибирь. В Красноярском крае было создано несколько таких делегатур: в Красноярске, Абакане, Черногорске, Усть-Абакане (здесь поляки строили сахарный завод) и Минусинске.

Минусинск в это время был буквально забит беженцами с оккупированных территорий Советского Союза. В городе не было бани, конюшни, сарая, подвала, где бы не ютились беженцы. Тем не менее, для конторы польского представительства было отведено вполне приличное здание, даже со зрительным залом.

Причиной потепления отношений с поляками, конечно, был договор о создании польской армии, которая, как предполагалось, примет участие в совместной с Советским Союзом борьбе против фашистской Германии. Полномочным со стороны нашего правительства был назначен генерал Г. К. Жуков, который в это время решал сверхважную задачу — организацию обороны Москвы.

Сначала дали согласие добровольно вступить в ряды польской армии 24 628 человек, за вычетом признанных не пригодными к службе и имевших судимости. Вопрос о формировании польской армии решался в тяжелейшее время. Советские войска, понёсшие огромные потери в сражениях под Киевом, Смоленском, Вязьмой, крайне нуждались в воинских частях для обороны Москвы. Генерал Жуков на основании имевшегося у него списка из 1658 польских офицеров, освобождённых из плена, полагал, что оперативно, в сжатые сроки, можно сформировать две лёгкие дивизии, которые так нужны были под Москвой.

22 августа 1941 года на основе согласованных с русскими положений генерал Владислав Андерс начал организацию двух пехотных дивизий по 11 тысяч солдат в каждой, запасного полка из 5 тысяч человек, офицерской школы, штаба и других служб.

Советское правительство брало на себя обеспечение оружием и питанием польских дивизий. Униформу и снаряжение солдаты должны были получить из Великобритании. Это всё, что взяло на себя правительство Великобритании, обещавшее во время советско-польских переговоров «не только одеть, но и вооружить до пяти дивизий польской армии в СССР».

В Минусинске в годы войны проживало 384 польских граждан, а в сёлах района — 365.

Любопытный факт из инструкции польских офицеров, проводящих регистрацию воинов: регистрации не подлежали призывники и добровольцы, которые обзавелись семьями в СССР. Право на единственного кормильца признавалось за сержантами по их собственному желанию. Такое право признавалось в любом случае, если речь шла о содержании даже дальних родственников, которые не могли себя прокормить. Представляю, как бы удивились, узнав о таких особенностях мобилизации по-польски, советские женщины, оставшиеся в войну с малолетними детьми без единственного кормильца.

Поляков, желавших добровольно вступить в польскую армию, было значительно больше, чем требовалось для формирования двух дивизий. Государственный комитет обороны СССР в постановлении от 25 декабря 1941 года сообщал, что в соответствии с соглашением между польским правительством и правительством СССР «в польской армии должно быть 96 000 офицеров, сержантов и солдат, сформированных в шесть пехотных дивизий по 11 000 солдат в каждой. Штаб армии, штабные службы, офицерская школа, части запаса и вспомогательные подразделения должны были иметь общую численность 30 000 человек». Советское правительство готово было вооружать и кормить эту армию.

Заметьте, это был уже декабрь 1941 года, когда Красная армия в кровопролитных боях несла огромные потери на фронте. Ситуация под Москвой была катастрофическая. Страна срочно формировала и вооружала воинские соединения, которые так нужны были для обороны столицы. А в тылу женщины, старики и дети надсаживались на непосильной работе, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. И в такое время (!) наша страна нашла возможность поделиться с поляками тем, в чём сама крайне нуждалась. И что в итоге?

Сначала поляки бурно обсуждали, в форме с какой национальной символикой им следует идти на святое дело — спасти многострадальную Польшу. Но вот они, наконец, облачились в нужную форму, присланную из Англии, и получили советское оружие. К 1 октября 1941 года было закончено формирование 5-й пехотной дивизии. Но когда Советское правительство обратилось к генералу Андерсу с просьбой направить дивизию на помощь нашей армии, истекающей кровью под Москвой, оно получило отказ. Андерс объяснил отказ тем, что польская армия ещё не готова принять участие в боевых действиях,

а на использование только одной дивизии польская сторона согласия не давала. Другие просьбы о помощи и вовсе оставались без ответа. Польское правительство направляло из Лондона инструкции, которые в корне противоречили соглашению о взаимной борьбе наших стран против фашистской Германии.

А кормиться между тем поляки, мобилизованные в армию Андерса, продолжали за счёт советского народа.

Самое поразительное в этой истории то, что армия генерала Андерса так и не выполнила союзнический долг — она ни разу (!) не оказала ни малейшего содействия советским войскам. О том, насколько высок был накал антисоветских настроений в армии Андерса, свидетельствует такой факт. Польский военврач сделал срочную операцию маленькой девочке — дочке советского командира. Он спас ей жизнь. Польские офицеры по этому поводу решили устроить врачу суд чести. Вот какая атмосфера царила в армии Андерса.

В начале 1942 года представители польского посольства и командование польской армии организовали переезд армии и части польского гражданского населения в Среднюю Азию — в Узбекистан, Казахстан и Киргизию. Командование армии разместилось в Янгиюле, воинские части — в разных городах, посёлках и на железнодорожных станциях. В Средней Азии была проведена ещё одна мобилизация в польскую армию. А в августе 1942 года, когда шли жесточайшие бои за Сталинград, нарушая все достигнутые договорённости с нашей страной, генерал Андерс по распоряжению эмигрантского правительства Польши вывел 75 тысяч солдат и офицеров через Иран в Ирак, где они были использованы для охраны британских нефтепромыслов. Это сведения из «Советской исторической энциклопедии» 1961 года издания. Современные исследователи называют другие данные: в Ирак перебравшись 115 тысяч военнослужащих и 37 тысяч членов их семей. Из Красноводска на советских судах польская армия переправилась в Пехлеви — иранский порт, а потом направилась в Ирак.

А как же многострадальная Польша?! За её освобождение пошли воевать другие поляки...

Дивизия имени Тадеуша Костюшко

После вывода армии генерала Андерса в Ирак был исчерпан лимит доверия Советского правительства к эмигрантскому правительству Польши, дипломатические отношения разорваны.

Но Государственный комитет обороны СССР 6 мая 1943 года издал постановление «О формировании 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко». За два года это была уже третья попытка создать боеспособные польские вооружённые силы на территории нашей страны. На этой попытке настаивала группа офицеров армии Андерса, оставшихся в Советском Союзе с твёрдым намерением идти на фронт, воевать за освобождение родной Польши.

Возглавлял эту группу полковник Зигмунд Берлинг — бывший начальник штаба одной из дивизий армии Андерса. Берлинг не испытывал симпатий к Советскому Союзу. Участник Первой мировой войны, он сражался в легионе Пилсудского, участвовал в советско-польской войне, где отличился в битве за Львов. И всё же, когда группа пленных польских офицеров 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на СССР, направила Советскому правительству письмо с просьбой позволить им воевать против нацистской Германии, там первой стояла подпись Берлинга.

В ноябре 1941 года, когда шло формирование армии Андерса, Берлинг написал в газету 5-й пехотной дивизии статью, в которой были такие слова: «Мы все любим Польшу и все, независимо от того, как мы себе представляем счастье страны, хотим идти в бой и победить. Это первая, общая для всех цель. Разум подсказал нам союзников; с ними честно и верно мы хотим рука об руку довести борьбу до победного конца».

Берлинг пошёл на открытый конфликт с генералом Андерсом и, невзирая на угрозу расстрела, остался с группой единомышленников в Советском Союзе с единственной целью — получить, наконец, возможность воевать за освобождение Польши. Он писал в статье «Наш долг перед Родиной»: «Когда Советский Союз очутился в чрезвычайно тяжёлом положении, армия генерала Андерса покинула союзника, выступая тем самым против возвышенных традиций польской верности. Торжественные обещания, данные союзнику, были попорчены. В рядах свободолюбивых народов, борющихся в защиту культуры против немецкого варварства, не может не быть действительно борющейся польской вооружённой силы».

Генерал Сикорский, узнав о решении Берлинга остаться в Советском Союзе, пришёл в ярость. Полевой суд, подконтрольный Сикорскому, признал Берлинга и двух его товарищей-офицеров, тоже решивших остаться в Советском Союзе, дезертирами, они были заочно приговорены к смертной казни за измену Родине. Вот такие польские коллизии. . . Впрочем, очень скоро к голосу эмигрантского правительства Польши перестали прислушиваться и США, и Англия, не говоря уже о Советском Союзе. А к концу войны оно и вовсе утратило легитимность.

Главной опорой в формировании польской армии стал Союз польских патриотов (СПП), работу которого возглавили известная польская и украинская писательница Ванда Василевская и её соратники. В 1939 году, когда немецкая армия оккупировала часть Польши, Василевская пешком ушла во Львов и приняла советское гражданство. В августе 1941-го Ванда обратилась с воззванием к польскому народу, призывая его к совместной с СССР борьбе против гитлеровской Германии. Союз польских патриотов поддержал группу Берлинга.

На этот раз непосредственное участие в формировании польских частей принимали командиры Красной армии. Для этого подыскивали

офицеров, имевших польские корни, владевших польским языком. По воспоминаниям красноярца Алексея Ивановича Федченко, воевавшего в составе этой дивизии, в ней вместе с поляками сражались более двух тысяч сибиряков — офицеров и солдат Красной армии. В марте 2020 года Алексею Ивановичу исполнилось девяносто пять лет, с чем его пришёл поздравить губернатор Красноярского края А. В. Усс.

В Красноярском архиве хранятся воспоминания Бориса Ивановича Бабанина, инструктора боевой подготовки 1-й польской дивизии имени Костюшко:

«Как командиру 1-й роты батальона, мне было приказано первым начать комплектовать роту прибывающими новобранцами. И я принимал около 200 человек. А ведь их всех надо было одеть, обуть, выдать каждому постельные принадлежности, различное снаряжение и даже винтовку! Ладно ещё, что я удачно разглядел одного повидавшего жизнь пожилого новобранца, назначил его старшиной роты. Он оказался расторопным. Быстро освоился со своей ролью и полностью экипировал весь личный состав роты».

Подобная экипировка была вынужденной и временной — нужно было в чём-то доставить добровольцев до Рязани, где в Селецких военных лагерях шло формирование польской дивизии. А там уже они получали всё необходимое. Бойцам дивизии выдали предвоенную польскую форму, но уже с новыми знаками различия. Они шли воевать под бело-красным национальным знаменем, на котором был начертан девиз «За вашу и нашу свободу». Среди тех, кто вступил в 1-ю польскую дивизию, был Войцех Ярузельский — будущий президент Польской Народной Республики. Его семья была депортирована на Алтай. В польскую дивизию он вступил добровольцем. После окончания военного училища в Рязани Ярузельский в составе польской армии принимал участие в важнейших сражениях, был не раз награждён за мужество и отвагу.

К сожалению, я не нашла достоверной информации о том, сколько поляков из числа бывших осадников добровольно записались в 1-ю польскую дивизию. Но думаю, что их было очень много, несмотря на то что у осадников были веские причины обижаться на Советский Союз. Насильственное переселение в Сибирь стало для них настоящей трагедией: среди переселенцев была высокая смертность из-за непривычно сурового климата, болезней, недоедания, тяжёлой работы, отсутствия тёплой одежды. Почти каждая семья похоронила на советской земле кого-то из близких. Никто из бывших осадников не мог забыть это. Но не забывали они и о том, что их родина гибнет под пятой фашистов. Они смогли пересилить свои обиды и пошли воевать за освобождение Польши.

Об одном из таких добровольцев нам известны некоторые подробности, о нём рассказал его сын — пан Ежи Левицкий, приезжавший

из Польши в Сибирь в 2008 году в Дни польской культуры. Он побывал в селе Малая Минуса, где во время войны жил в детском доме для польских детей. Судьба семьи Левицких сродни судьбам многим семей осадников.

Из воспоминаний пана Левицкого: «Нашу семью отправили куда-то в окрестности Минусинска. Сестра умерла почти сразу. Был декабрь сорокового, страшный голод. В Минусинске папа работал в столярной мастерской, в 1943 году он ушёл на фронт. Мать заболела и умерла в 1944-м. Остались только я и старший брат. А переезжала ведь целая семья... Отец мой дошёл до Берлина. Бок о бок с русскими солдатами воевал. Приближал Победу. В музее Малой Минусы есть его медаль. Медаль за победу над фашистской Германией. Я оставил её там».

При формировании дивизии возникла серьёзная кадровая проблема — нехватка медицинского персонала, который желательно было сформировать из людей, знающих польский язык. Как решалась эта проблема, можно судить по документу, хранящемуся в Минусинском архиве:

«Председателю Тесинского с/совета.

Минусинский райвоенком приказал выяснить проживающих на территории вашего с/совета гражданок, по национальности полячек, ранее проживавших в Польше, Западной Белоруссии и Западной Украине, врачей, фельдшеров и медсестёр, от 18 до 50 лет. Обеспечьте их явкой в райвоенкомат к 10 часам утра 25 мая 1943 г.

За неявку или опоздание будут привлечены по закону военного времени.

Минусинский райвоенком

гвардии майор Баранов.

Начальник 3-й части лейтенант Кодицько».

Вполне возможно, что женщины, которых набирали из спецпереселенцев, вошли в женский пехотный батальон польской дивизии. Да, был такой. В нашей армии были женские эскадрильи, подразделения зенитчиц, связисток. Но пехотных женских батальонов не было ни у нас, ни в других армиях мира. А у поляков был такой батальон. Польские девушки-добровольцы осваивали огнестрельное оружие, приёмы рукопашного боя, учились бросать гранаты и оказывать первую медицинскую помощь.

Дивизия имени Т. Костюшко была сформирована за короткое время: 6 мая 1943 года был издан указ о её формировании, а уже 15 июля воины дивизии приняли присягу. Боевое крещение дивизия под командованием генерала Берлинга получила в октябре 1943 года в Могилёвской области, в сражении под деревней Ленино.

В этом сражении проявила героизм стрелок женской роты автоматчиков Анеля Тадеушовна Кживонь. Она родилась в семье осадника на небольшом хуторе в Тернопольском воеводстве (ныне Тернопольская

область Украины). В 1940 году её семья была депортирована в Иркутскую область, а позднее переведена в Канск. Анеля добровольно вступила в польскую дивизию имени Костюшко. Девушку зачислили во 2-ю роту автоматчиц 1-го отдельного женского батальона имени Эмилии Плятер. Ей было тогда всего восемнадцать лет.

Из представления Анели Кживонь к званию Героя Советского Союза:

«...Автоматчица Кживонь А. Т. 12 октября 1943 года во время боя в районе деревни Николенки-Ленино (Могилёвская область Белоруссии) несла караульную службу при командном пункте дивизии. Во время неоднократных бомбардировок вместе с другими девушками-часовыми охраняла машину с документами и картами 1-го отдела штаба дивизии, проявляя при этом, несмотря на молодой возраст, полнейшее бесстрашие и презрение к смерти.

В 5 часов вечера 12 октября во время бомбардировки немецкая бомба попала в машину 1-го отдела. Машина с находящимися в ней документами и людьми загорелась. Невзирая на смертельную опасность, Анеля Кживонь бросилась в горящую машину спасать ценные документы штаба. Спасая военное имущество 1-го отдела и своих товарищей, погибла в горящей машине на боевом посту.

Достойна присвоения звания Героя Советского Союза.
Заместитель командира дивизии по политчасти майор Правин.
30 октября 1943 г.».

Представление подписал генерал-майор Зигмунд Берлинг. Гражданке Польши Анеле Кживонь было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Это единственная женщина-иностранка, удостоенная столь высокого звания. В городе Канске установлен бюст отважной героини, её именем названы улицы в Канске и посёлке Ленино.

Звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно командиру батальона Владиславу Высоцкому и замполиту 1-го полка Юлиушу Хибнеру (звание было присвоено посмертно, но герой выжил).

Сражение под Ленино стало серьёзным испытанием для польской дивизии, проверкой готовности сражаться за Родину. Не все выдержали испытание, часть поляков перешла на сторону немцев. Очистившись от предателей, случайных людей, дивизия лишь окрепла, обрела боевой дух.

Быстро росли ряды поляков, желающих вступить в дивизию. Это дало возможность сформировать на территории Советского Союза польский корпус, а потом и польскую армию. К концу войны численность Войска Польского составила более 330 тысяч человек.

Дивизия имени Тадеуша Костюшко принимала участие в освобождении Варшавы — поляки первыми вошли в родной город. Дивизия получила наименование «Варшавская» и была награждена орденом Красного Знамени. Она вместе с частями Красной армии штурмовала

Берлин. Польша — единственная страна, чьё знамя, наряду с советским, развевалось над побеждённым Рейхстагом.

Судьба послевоенной Польши решалась на Крымской конференции 1945 года. Руководители стран-победителей — СССР, США и Великобритании — достигли соглашения о способе урегулирования польского вопроса. Польша получила существенную территориальную «прибавку» на севере и западе — ей были возвращены старинные польские земли вдоль Одера и Нейса; граница на востоке устанавливалась вдоль «линии Керзона» с некоторыми территориальными уступками в пользу Польши.

Эмигрантскому правительству Польши не удалось привести в исполнение приговор о смертной казни Берлинга и его единомышленников. Но идеологические «наследники» Сикорского сегодня берут реванш: они уничтожают память об этом человеке — в Варшаве разрушен памятник генералу Зигмунду Берлингу.

Сегодня в Польше становится ненавистным всё, что связано с Россией. Накал русофобии столь высок, что нередко доходит до абсурда. Невольно вспоминается суд чести, который устроили офицеры армии Андерса польскому врачу. С годами всё меньше и меньше остаётся в живых поляков, которые могли бы рассказать нынешнему поколению о том, как воевали советские солдаты за освобождение Польши. И не только об этом. Ещё, например, о том, как в годы послевоенной разрухи, когда наши люди ещё не ели досыта, Советский Союз передал Польше 60 тысяч тонн зерна, спасая поляков от голода. Как наша страна помогала отстраивать заново Варшаву, превращённую немцами в безжизненные руины.

В своё время группа польских писателей работала над изданием трёхтомника «Память», куда бережно внесли имена 77 556 советских воинов, павших на польской земле. Планировалось уникальное издание, куда поляки хотели записать все 600 тысяч солдат и офицеров Красной армии, погибших при освобождении Польши. Сегодня говорят не об этом, а о том, что Красная армия освобождала Варшаву не так, как следовало, по разумению нынешних польских политиков.

Умалая вклад нашей страны в освобождение Польши, они одновременно ставят под сомнение роль поляков, поднявшихся на борьбу с фашизмом.



Слово прощания

Правление Союза российских писателей с глубоким прискорбием сообщает, что 29 мая 2020 года не стало известного поэта, прозаика, председателя Красноярского краевого представительства Союза российских писателей *Михаила Михайловича Стрельцова*.

Михаил Стрельцов родился в феврале 1973 года в городе Мыски Кемеровской области. В 1995-м окончил Кемеровский государственный институт искусств и культуры. Сменил множество рабочих профессий. В 2001 году переехал в Красноярск.

В Союз российских писателей Михаил Стрельцов вступил в 2003 году. В 2008 году его избрали председателем Красноярской региональной общественной организации «Писатели Сибири» и Красноярского регионального представительства Союза российских писателей. Михаил Стрельцов восстановил и продолжил дело Романа Солнцева. Организовал межрегиональный поэтический конкурс, которому в 2019 году исполнилось 15 лет, — «Король поэтов». За несколько лет издал сотни книг молодых красноярских писателей. Был одним из соорганизаторов литературного фестиваля в Красноярске «Книга. Ум. Будущее» (КУБ). Руководил семинаром прозы на Волошинском фестивале в Коктебеле.

Делегат IV и VI съездов СРП. Член Русского ПЕН-центра, Председатель Красноярского отделения Литературного фонда России. С 2008 по 2012 год — ответственный секретарь литературного журнала «День и ночь». Автор книг «Ладонь», «Окаянная осень», «Несостояние», «Балкон», «Фата», «Снеголёт-30», «Избранная публицистика 2009–2015», «Рассказы 2010–2014», «Воскресение», «Бурундуков, Мамедов и др.», «Узют-каны». В этом году написал новую книгу — «Туманность ковра-петов» (юмористические истории).

Правление Союза российских писателей скорбит о кончине Михаила Михайловича Стрельцова и выражает соболезнование его родным, близким и коллегам.

Первый секретарь правления Союза российских писателей Светлана Василенко

Сопредседатели Союза российских писателей:

Олег Глушкин, Юрий Кублановский, Михаил Кураев, Арсен Титов, Николай Шамсутдинов

Правление Союза российских писателей:

Геннадий Калашников, Валентина Кизило, Левон Осепян, Владислав Отрошенко, Борис Скотневский, Галина Умывакина

ТРУДЯГА И БЕССРЕБРЕНИК

Печаль! Горе! В Красноярске внезапно умер от инфаркта относительно молодой человек — Михаил Михайлович Стрельцов.

Его работоспособности, любви к литературе и жизни можно было только позавидовать. Бессребреник, он своим примером опровергал ходульные представления о конце литературы и торжестве бездуховности. За несколько лет с его помощью было издано немыслимое количество книг — и признанных авторов, и литературной молодёжи. Литература связывала его с писателями всей страны. Михаила любили все, даже самые заскорузлые, злобные и завистливые его коллеги. Стрельцов заслуженно был на виду. Десятки русских литераторов зажгли поминальные свечи. Мы скорбим вместе со всеми, кто был рядом с ним все его последние годы. Вечная память!

Русский ПЕН-центр

О САМОМ ВАЖНОМ

Если представить, что время не едино для всех, а его можно догнать или, наоборот, отстать от него, то когда Миша Стрельцов умирал в Красноярске, у меня в Кронштадте он ещё был жив.

Ещё четыре часа он был жив, пока я спал. А когда я проснулся, его не стало уже и на острове.

Но я уверен, что он ещё несколько часов был жив где-то в Америке. И мы даже могли бы ему позвонить, но Миша живёт бедно, как живёт большинство русских писателей, потому экономит на всём, а роуминг — это дорого. Да. Телефон отключён. А планета стремится обернуться вокруг невидимой оси времени ещё раз, и мир, в котором жил писатель Михаил Стрельцов, уже отделяется от нашего мира и летит куда-то в собственную бесконечность Вселенной. И мой друг остаётся в том мире писать свою вечную книгу «о нас обо всех, так чтобы было весело».

Мишка Стрельцов. Михаил Михайлович Стрельцов. Русский писатель, поэт и прозаик. Он родился в семьдесят третьем. На четыре года меня младше, и вдруг — инфаркт. Казалось, сил в нём в разы больше. Мы познакомились уже взрослыми людьми, кое-как состоявшимися, в возрасте, когда новых друзей уже не заводят.

Но он стал мне настоящим другом. Мне было важно, что хрен знает за сколько километров от дома, там, за Уралом, на берегу Енисея, есть Друг, мужик, с которым можно говорить о самых важных вещах. О каких важных? О самых важных: о том, как растёт трава, о том, как ловят рыбу на перекатах, о том, как любят дети, о том, как предают самых родных, о том, как важно успеть то, что никогда не успеть.

Миша большую часть жизни прожил либо в общежитии, либо в съёмном жилье. Своего угла в Красноярске у него не случилось. Да и какое своё жильё по писательским заработкам? Но он столько

сделал для сибирских писателей, сколько не могли сделать целые союзы. А теперь его нет.

Я его снял как-то на берегу Енисея. Говорю: мол, тебе нужен писательский портрет на фоне великой реки. Но был пасмурный день, а Енисей в том месте ещё не вскрылся ото льда.

Потому ему больше понравился другой снимок, тот, что я сделал в саду. Он его даже вставлял на заднюю обложку своих книг. Но на нём он какой-то грустный. А Миша Стрельцов был весёлый. Весёлый!

Даниель Орлов,

Кронштадт

ВНОВЬ УЛЫБНЁМСЯ ЕГО ШУТКАМ...

Смерть нелепа. Она подобна северному ветру, от дуновения которого нежные лепестки мгновенно превращаются в прах. Сжимаются губы над увядшей красотой — чаша смерти горька. Как для тех, кто остался, так и для тех, кто ушёл.

Боль утраты, тяжесть разлуки. Возможно ли привыкнуть к этим истёртым, как ступени вокзала, фразам? К словам можно, к боли и горечи — вряд ли.

Миша, укрытый погребальным покрывалом. Миша, чьи руки безвольно покоятся на груди. Как такое возможно? Но всему свой срок, своё время под солнцем. Пришёл час отбытия... в бытие...

Зал прощания напоминает причал. Провожающие тихо переговариваются. Последние минуты. Сейчас белый деревянный кораблик оттолкнётся от пирса, и Михаил Стрельцов — прозаик, поэт, Миша Стрельцов — друг и товарищ, плавно качнётся и заскользит вдаль, за горизонт.

А мы... Мы будем помнить и хранить в себе — пока есть дыхание: его голос — звучащий в книгах и на журнальных страницах, за дружеским столом и со сцены;

его взгляд, улыбку, жесты и всегдашнюю весёлую шляпу;

будем обращаться друг к другу: «А помнишь, как Миша помог... отстоял... поддержал?» — и, сидя за чаем или чем покрепче, вновь улыбнёмся его шуткам, оценим цепкие строки, иронию, грусть — всё то, чем жила эта светлая душа;

вновь подивимся его умению оказаться вовремя, отойти в сторону, никого не забыть...

Да, мы будем читать, перечитывать, спорить... И кто-то будет грустить. Кто-то — молиться. Кто-то — грустить и молиться. И мы будем говорить, говорить...

А он будет плыть — молча и одиноко:

художник — со всеми своими словами;

друг — со всеми друзьями и недругами;

человек — со всею своею любовью.

Светлая память, вечный покой плывущему вдаль.

Виктор Теплицкий

Виктор Теплицкий

Рассказы

Двойник

У писателя Сергея Петровича Груздеева иссякло вдохновение. Колодец заплесневел, река пересохла, небо не дождало — что там ещё?.. С метафорами было нынче трудно. Вот уже почти два месяца он не брался за карандаш. Мутно и уныло было в душе Сергея Петровича.

«Исписался,— вздыхал по ночам Груздеев, глядя в потолок,— пора на свалку. Хоть бы какой-нибудь неизбитый сюжетик». Но потолок безмолвствовал, насмешливо мерцали электронные часы, отсчитывая утекающее время, и совсем не хотелось на свалку.

«Декабрьское небо, смог, мёртвое солнце... шаблонно, бесцветно»,— подвёл черту Сергей Петрович, выходя из подъезда.

Грязный снег раздражал, прохожие злили, улицы напоминали декорации театра абсурда.

«Сколько можно?! Долго ещё меня будут мучить? Напьюсь, к чертям собачьим!» Алкоголь был ему противопоказан. Сердце давало о себе знать после долгих поддавонов в поисках смыслов и новых слов. Но сегодня... другого выхода нет.

Он заглянул в редакцию газеты, потрепался с коллегами, выяснил мимоходом, что и как. Наконец, облегчённо выдохнув, направил стопы в магазин. В магазине его и увидел.

У полок с макаронами стоял... он сам. Зеркало торгового зала не могло ошибаться. Оно отражало мужчину с корзинкой и Груздеева, застывшего, словно гоголевский городничий. Лица — как две капли воды, одинаковый рост, различались только куртки. Двойник наконец определился с выбором и, рассеянно осматривая товары, пошёл к кассе. Груздеев последовал за ним. Так они и вышли из супермаркета: впереди незнакомец, в десяти шагах от него — Груздеев. На остановке он спрятался за тумбу с афишами.

«Нет, всё-таки он выше и вроде моложе, да и походка другая...» — успокаивал себя Сергей Петрович, по-шпионски выглядывая из-за афиш.

Морозец начинал пощипывать уши; хорошо, что ждать пришлось недолго. Болтаясь в переполненной маршрутке, Груздеев, наверное, в сотый раз спрашивал себя, зачем он здесь.

И всё-таки, выйдя из автобуса, он продолжил висеть на хвосте у человека в кепке. Возле столовой Груздеев остановился.

«Вздор, дичь, нелепость!» — по привычке ворошил он синонимы. Хотел развернуться, но рука сама потянулась к двери.

Народу было немного. В конце раздачи скучала кассирша. Сергей Петрович взял компот, булочку и сел так, чтобы хорошо был виден закуток, в котором ужинал неизвестный. Отпивая из стакана, Груздеев поглядывал в окно и всякий раз качал головой. Когда он оторвал взгляд от стекла, перед ним стоял тот, за кем он следил. Груздеев закашлялся. — Что-то случилось? — спросил довольно вежливо двойник. — Вы преследуете меня от самого магазина. Мы знакомы?

— Нет, — промычал Сергей Петрович.

— Тогда в чём дело?

Груздеев указал пальцем на себя:

— Ничего не замечаете?

— Что я должен заметить?

— Пойдёмте.

Он подвёл мужчину к зеркалу у входа. Двое почти близнецов глядели на них из гладкого квадрата. Теперь пришла очередь изумиться незнакомцу:

— Потрясающе!..

— Вот и я про то же.

Растерянно ощупывая свой подбородок, двойник косился на Сергея Петровича:

— Мы, случаем, не родственники?

— Вряд ли. Я в семье один. Родился в Барнауле.

— А я местный до мозга костей.

«Странное, однако, сравнение», — отметил про себя Груздеев.

Они вернулись к его столику.

— Теперь вы понимаете, — сказал он, указывая на стул.

— Понимаю, — согласно кивнул незнакомец. — У вас, кстати, родинка на щеке и волос темнее.

— Это радует. А то даже как-то не по себе, — слабо улыбнулся Груздеев и протянул руку. — Сергей Петрович.

Бровь двойника странно изогнулась:

— Пётр Сергеевич...

Фамилии оказались разные.

Мужчины молчали. Пауза неприлично затягивалась. Наконец двойник вынул клетчатый носовой платок, вытер лоб.

— Душно, — произнёс он хрипло.

«И голос совсем не похож», — отметил про себя Груздеев, но неожиданно вспомнил о своём клетчатом платке в кармане рубашки и закусил нижнюю губу.

— Итак, мы точно не братья, — начал Груздеев, словно разматывая клубок твёрдой проволоки. — Чудес, как известно, не бывает, а случайностей на сегодня достаточно...

И тут... Пётр Сергеевич вскочил, словно ужаленный, рванулся к своему месту, вернулся с подносом, грохнул на столик. Звякнули тарелки, развеяв вмиг дремоту кассирши.

— Как не бывает?! — воскликнул двойник. — А это что, по-вашему? Не чудо? — его ладонь описала круг возле лица.

Он застрочил, жестикулируя, как сумасшедший регулировщик: — Да жизнь полна чудес! Она непостижима. Я уверен, каждый здесь сидящий нас принимает за братьев. Давайте спросим?

— Не стоит!

Груздеев ёжился под взглядами посетителей, пеняя на себя, что развёл эту дурацкую историю.

Пётр Сергеевич сиял, как юбилейный рубль:

— Жизнь — это шкатулка с тройным или пятерным дном. Это тайна тайн. Вы любите тайны? Я обожаю. С ума схожу от них. Вот чем вы занимаетесь, если не секрет?

— Да особо ничем. Газетки, журналы...

— А я писатель. Представляете?!

Сергей Петрович скрестил руки на груди.

— Не представляю, — легкомысленно усмехнулся Груздеев. — Честное пионерское. Фантаст?

— О нет! Зачем же? — поморщился Пётр Сергеевич. — Я работаю в жанре психологической прозы и магического реализма.

— Да вы что?! И много написали?

— Два романа и шесть повестей. Но пишу я в стол.

— А что так? Не берут?

— Не в этом дело. Я пишу, как бы это сказать... для души. Был такой писатель — Франц Кафка. Вот я — как он. Пока живу — прячу от мира. Кафка — мой кумир...

Пётр Сергеевич принялся распространяться о печальном немецкоязычном еврее, а Груздееву стало невыносимо скучно. Тоска возвращалась, словно отхлынувшая волна. Надо было как-то вежливо распрощаться. Он подыскивал слова, чтобы прервать нескончаемый поток...

На глаголе «развернуть» Груздеева осенило: «Ба! Это же почти готовый сюжет! Ничего так завязочка. Боковые линии — дело нехитрое, нужна концевочка. Что-то такое неожиданное».

— Вам неинтересно. Знаю, я как увлекусь — не остановишь... — услышал он обиженный голос. — Мне пора, — двойник поднялся.

— Нет! — вырвалось у Груздеева.

Теперь кассирша недобро покосилась на него. Плевать! Ему нужен финал, просто до зарезу!

— Давайте посидим... Может, отметим? — заюлил Сергей Петрович. — Такое чудесное совпадение. Как вы сказали: жизнь — это шкатулка?

— Да. Но... меня ждут.

— А можно ещё один маленький вопросик? Чтобы уж, как говорится, до конца. Да вы садитесь. Извиняюсь, вы женаты?

— Не довелось, — грустно ответил двойник и сразу потускнел.

— Простите. Не хотел... И никогда не были?

— Нет.

— Досадно. А я умудрился аж два раза окольцеваться. Там и там дочки.

— Везёт, — вздохнул Пётр Сергеевич и снова поднялся.

— Подождите! — мысли кружились, словно лопасти вентилятора. — Пойдёмте ко мне. Глянем фотографии: вдруг мы братья?

— Отчества-то разные. Вы же сами...

— Я вас умоляю: знаете, какие грамотеи составляют метрики? Человеческий фактор — тайна из тайн. Нужно убедиться, расставить точки и всё такое прочее. А вдруг мы что ни на есть кровные? Только вдумайтесь в это!

— Но мне надо...

Дальше Груздеев действовал по наитию. Наклонился, ухватил за отворот пиджака и зашептал:

— Пришло время рассказать вам всё. Но не здесь. Слишком много посторонних глаз. Одевайтесь. Жду на улице. Пакет не забудьте.

Груздееву был знаком писательский азарт. Это невыразимое щемящее чувство, когда персонажи вдруг начинают вести себя не по воле автора. Когда едва успеваешь записывать диалоги и ухватывать движения мысли, словно не ты ведёшь повествование, но тебя влекут по чистому бумажному полю. И ожидание встречи — чуть ли не экстаз...

Сергея Петровича почти бил озноб. Он совершенно не имел понятия об этом «всё», брошенном в отчаянном порыве. Оставалось полагаться на интуицию.

«Ну, Пегасик, выручай, милый», — топтался возле фонаря Груздеев. Он вздрогнул от осторожного прикосновения. Пётр Сергеевич напомнил ему испуганную рыбку из какого-то диснеевского мультлика. Груздеев набрал в грудь воздуха и пришпорил крылатого конька.

— Итак, правда в том, что моя жена любит вас до безумия. Кто знает, вдруг мы и впрямь близнецы и Зита с Гитой нервно курят в стороне? Но это другая история. Вопрос стоит иначе. Не помните девочку с каштановыми волосами? В детстве вы были её болью и счастьем. Вы! Не я. Она едва не вскрыла вены, когда её увезли из города. Я же стал всего лишь напоминанием. Сухарь, книжный червь, неисправимый циник. Вы — утончённая натура, ранимая, нежная. Именно таким она вас запомнила. Страдала. Но вот недавно случайно встретила. Честная душа, не умеет скрывать свои чувства. Я бросился на поиски того, кому она принадлежит. И — нашёл.

Груздеев ткнул пальцем в сторону двойника. Тот попятился в холодные сумерки:

— Бред какой-то...

— Не согласен, — наседали Сергей Петрович. — Это и есть та самая непостижимость. Мы добрались только до первого дна. Я не могу видеть её муки. Но и не могу без неё. Она всё, что у меня есть. Допишем финал этой трагичной истории. Ваши варианты?

— Так не бывает...

— Однако, бывает. Сейчас идём к нам, чтобы раз и навсегда разрубить этот gordiev узел. Тут недалеко.

Они шли друг за другом. У перекрёстка остановились. Долго горел красный. Когда оставалось несколько секунд до зелёного, сюжет окончательно сложился в голове Сергея Петровича. Персонажи обретали свои голоса, сюжетные линии завязывались в затейливый рисунок, события просились на бумагу. Нужно срочно закрыться в комнате, нельзя терять ни секунды.

— Переходим?

— Что? — Груздеев не сразу понял, что обращаются к нему. — Ах да... Мне направо.

— Мы разве не... — еле расслышал Груздеев сквозь уличный шум.

— Ох, голова садовая, чуть не забыл. Супруга-то в командировке. Вернётся через две недели. Давайте пока оставим всё как есть. Не возражаете? Удачи!

Пожав руку двойнику, Сергей Петрович развернулся и быстро зашагал к дому.

«Писатель — тоже мне! Бывают же чудачки на свете, — посмеивался Груздеев, мысленно потирая руки. — В стол он пишет, поглядите-ка на него, бумагомаратель хренов!»

Он почти бежал. Снег падал крупными хлопьями, налипал на плечи. Падал бесшумно из непроглядной тьмы, стирая грани видимого, преображая город в нечто сказочное, призрачное...

«Фантастика!» — ликовал Сергей Петрович. У подъезда он остановился, отдышался, вынул ключи.

— Фу, ну вы и скороход, еле угнался...

Вздвигнув, Груздеев резко обернулся. Перед ним стоял запыхавшийся двойник.

— Простите великодушно, я хотел...

Груздеев закатил глаза:

— Я же вам русским языком, пока ещё литературным, объяснил: жена в отъезде, и сейчас...

— Я не об этом, — перебил двойник. — Просто нужно уточнить. Вы там что-то говорили про девочку с коричневыми волосами. Можете повторить? Мне захотелось написать повесть. Не каждый день встречаешь двойника! Сюжет, прямо скажем, не новый, но... может получиться забавная вещица. Я уже наговорил, вот, — Пётр Сергеевич вынул из кармана диктофон. — Да! Я решил её напечатать. Надо же когда-то начинать.

— Напечатать?! — Груздеев постарался рассмеяться как можно естественнее. — Дорогой мой, да знаете ли вы, как сейчас трудно пробиться в самый захудалый журнал? Я уже не говорю — выпустить книгу.

В наше время это нереально. Поверьте, я не новичок в литературном деле. Про гонорары даже заикаться не стоит.

— Меня не интересуют гонорары. Я хочу имя.

— А как же Кафка?

— Всё течёт, всё меняется, — уклончиво ответил Пётр Сергеевич. — И притом, мой двоюродный брат — редактор. Кое-что видел, оценил и предлагал даже опубликовать. Я тогда отказался, но... всему своё время. Напомните, пожалуйста...

— Нет! — яростно замотал головой Груздеев. — Зачем вам? Не выдумывайте. Вам, вам... учиться надо. Графоман! — неожиданно взвизгнул Сергей Петрович.

— А-а! Я, кажется, понимаю, где собака зарыта...

Груздеев заметил, как холодно блеснули глаза двойника. Сергей Петрович сделал шаг назад, ещё... поднялся на ступеньку. Что-то зловещее виделось в фигуре, засыпанной снегом. Чеканя каждое слово, двойник медленно наступал:

— Только один из двоих может это написать. Только один. Это буду...

Груздеев кошкой метнулся к двойнику, сорвал с него кепку, швырнул на землю и кинулся к подъездной двери. Запищал спасительно домофон. Сергей Петрович взлетел к лифту с быстротой оленя и что есть силы надавил на кнопку...

Выйдя на площадку, осмотрел лестничный пролёт и громко выдохнул. Тускло мерцала лампа, несло холодом из приоткрытого окна. Груздеев прижался лбом к стене — колодец заплесневел, река пересохла, небо не дождало... С метафорами было трудно.

ИГРОК

На конечной светил единственный фонарь. Водитель «пазика» отмечал путёвки. Кондуктор зевала, провожая хмурых пассажиров. Только один, в джинсовой куртке с пёстрым шарфом, что-то бодро насвистывал. На вид к пятидесяти, гладко выбрит, одеколоном несёт за версту, сумка, похоже, кожаная. У дверей он улыбнулся и подмигнул кондукторше. Та прищурилась: «Распушил пёрышки. К кому он тут намылился?» Франт молодецки зашагал в темень дворов.

Редкие прохожие растворялись в переулках, исчезали за дверями подъездов. Мужчина вышел к скверу. Под ногами хрустнуло бутылочное стекло. Он остановился.

В нескольких шагах позади него, за стволом тополя, остановился другой человек, поправил арматуру в рукаве. Раскрыл ладонь — и железо, скользнув, удобно легло в руку. Оглядевшись, он вышел из тени...

Жадность глупа. Он думал, я его жертва, а сам был пешкой в моей игре. Я уже отчаялся. Какие только дыры не излазил. Хватит! На этот раз — всё! Вот и верёвку припас. Но — повезло. Как бы...

Начиналось всё отлично. Партия была продумана, не хватало только игрока. И вот он — собственной персоной. Наконец-то! Я чувствовал спиной его взгляд и благодарил небо. Конечно, я надеялся на нож. Но не суть. Главное, чтобы быстро...

Что делать, если ты — трус? Какое всё-таки это подлое свойство человеческой натуры — инстинкт самосохранения! Хотя я боролся. В детстве со второго этажа прыгал, и все эти единоборства... Толку-то? Вся отвага оставалась в раздевалке.

Проклятый страх! Вцепится пауком — про всё забудешь, на всё согласишься, только бы отстали.

Игорёк — вот кто настоящий боец! Всегда меня выручал, но я... я расписался в том списке. Как все. Снова обделался.

Он ушёл. Ни слова не сказал. Посмотрел только...

Временами казалось — отпустило. Но когда Жанка, уходя со своим любовником, бросила: «Трус!» — наступил предел.

Говорят, вскрыть вены — проще простого. Чуть собачья. Сколько я тогда просидел в ванне? Час, два?

Если сам не могу, значит... нужен кто-то. Как просто, оказывается. Тварь ли я дрожащая или право имею?! Провоцирую? Но это его выбор. Да и внакладе не останется.

Базарить тут не о чем. Невезучий я. С малолетства эта шняга тянется. Может, поэтому я сняк? Ни кола ни двора, всем должен. Круглый не сегодня-завтра на перо поставит — и поминай как звали. И тут этот, упакованный. Насвистывает, сука. Меня аж затрясло. Почему одним — всё, а другим — хер на блюде? А потом въезжаю: чувачок-то мне в жилу. Двинул я за модным. У самого мотор колотится — первый раз такая тема. Только в темечко наметил, а он возьми и обернись. Батя! Вылитый. Только причесон не тот. Не может такого быть! А вдруг?..

Я ещё шнурком был, когда у них с матерью не заладилось. За воротник любил закладывать, но руки откуда надо росли. За что ни возьмётся — игрушка. Да и сам — артист. Голосина — ух! Фуфырик, закусон — концерт обеспечен. Соседи с табуретками подтягивались. Короче, сопли на кулак я конкретно наматывал, когда он двинул. Говорят, на Север подался. С тех пор ни слуху ни духу.

И тут оказия. Этот глаза зажмурил. Я в непонятках. Брат? Мало ли где отец отметился. А пижон вдруг — раз — и на колени.

...Небо снова отвернулось. Всё пошло по другому сценарию. Остался-то один шагок...

Мужик замахнулся. Я глаза закрыл — только бы не закричать... Ноги подкосились. И тут слышу — железо звякнуло об асфальт. Ничтожество! Трус! Я орал во всю глотку: «Трус! Трус! Трус!..»

Баклан точно в «доме хи-хи» прописочку имеет. Я как тыковку его увидел, тут и дошло: не брат это, а хрен поймёшь кто. Он, видно, реально хотел, чтобы я ему кумпол продырявил. Оно мне надо? Я ноги в руки — и ходу. А клоун этот кипеж поднял на всю округу. Хотел я вернуться, да не стал с дураком связываться. По-тихому всё равно не вышло. Невезучий я.

Автобус возвращался в гараж. Фары выхватывали из темноты полосы бетонного забора. Шумно скрипели дворники. Вдруг в свете фонарей появилась фигура. Водитель узнал весёлого щёголя. Тот шёл, скрючившись, руки в карманах. Поравнявшись, водитель притормозил, открыл дверь. Человек, благодарно кивнув, опустился на сиденье. Лицо было мокрым, с куртки капало. Кондуктор приоткрыла глаз: «Обломался. Не дала, видать». Она улыбнулась, поправила шарф под головой и снова задремала. Пассажир молча глядел в чёрное окно.

АНЮТКА

Утром в телефон плакала женщина — просила о крещении дочери. В реанимации. Девочке несколько дней.

В кардиоцентре меня облачили в халат, надели шапочку. Худенькая темноволосая мама прикладывала к глазам платок; Анютка — второй ребёнок, они не местные...

Встревоженные лица родителей, строгие глаза медсестёр в повязках, гладкий сверкающий пол — это приграничная зона. Идём по коридору, кафель отражает наши фигуры. Входим в палату. Именно здесь проходит граница между двумя мирами — этим и *тем*.

Девочка лежит на животе. Беззащитный комочек, опутанный проводами. Кнопки, трубки, лампочки — это её сердце. Бегут по экрану изломанные линии — это её жизнь. Жизнь, застывшая в белом стерильном холоде реанимационной. Что дальше? Чаши весов замерли в напряжённом равновесии.

Маленькая женщина — волосы убраны в одноразовый берет — гладит пальчик, шепчет что-то ласковое на своём, материнском, языке. На пелёнке белеет крохотная ладошка. Что может быть беззащитнее и трогательнее? Ей бы самое место на тёплой маминой груди...

Я совершил положенное церковью.

Прыгал с треском чемоданчиком через лужи, спешил к машине, и юный апрельский ветер совсем не радовал.

Несколько дней молились с отцами на литургии о здравии рабы Божией Анны. Надеялись...

Дождливым серым днём звякнула эсэмэска: «Анюта умерла». Я почти слышал, как плачет она — не местная.

Говорить, что младенец стал новоиспечённым ангелом — не право и неправильно. Смерть не оставила свободного выбора. Без выбора нет любви. Без любви жизнь бессмысленна — и временная, и вечная. Тогда зачем? Кому это нужно? Змеятся каплями по стеклу вопросы...

Смерть несурозна. Любая. Тем более детская. Да, она преодолена Воскресением, но как горька её чаша! Без воли Господа не падает и волос с головы. И надо эту волю как-то принимать. Наверное, так рождается совершенная вера. Или совершенное неверие.

Я что-то написал по телефону. Хотя глаголы человеческие тут бессильны. Скорбь ими не исчерпывается — только Словом. Только Самим Утешителем. И временем.

Она ответила кратко. Как бы хотелось, чтобы это были слова веры...

Человечек пришёл в мир, прожил чуть больше месяца и ушёл в вечность. Бог молчит, но сказано навеки: «Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». Закрыта тяжёлой пеленой небесная синь, но скользит по мутным стёклам пробившийся луч: «Бог есть любовь».

Буди, буди.

ДВОРНИК

Жил-был дворник. По образованию — филолог, по призванию — учитель. Правда, учительствовал он недолго. Дело в том, что у дворника была тонкая организация души. Он не мог терпеть грубости, не выносил хамства, а от сквернословия чувствовал почти физическую боль. Потому в школах не задерживался. Открывая дверь очередного лицея или гимназии, он говорил себе: если найдётся десяток тех, кто не матерится, останусь. Через месяц-два в заявлении об уходе он писал: «Грубость учащихся превосходит степень терпимости, ибо слаб человек».

Так и мыкался бы, перебиваясь репетиторством, пока не повстречал друга-математика с метлой в руках. У математика было четверо детей. Друг описал все плюсы и минусы дворницкой работы, и филолог стал подметальщиком, не переставая, впрочем, оставаться филологом.

Его по-прежнему коробило от бранных слов, которыми швырялись прохожие, но со школой — никакого сравнения. Вполне терпимо, говорил себе дворник, да и работу сразу видно.

Через полгода у него открылась удивительная способность: он стал видеть... матерки. Грязные, колючие оборвыши, напоминавшие крупных гусениц, выскакивали изо рта на одежду, шлёпались на асфальт или висли на кустах. Пахли отвратительно. Выбрасывать в мусорный бак оказалось бесполезно — матерщина расплзлась довольно быстро. К счастью, в подвале имелось множество картонных коробок. Набив каждую доверху, заклеивал её скотчем. Но что дальше?

— Ума не приложу, — жаловался он математику.

— Сжигать их бесполезно, — рассуждал тот вслух. — А что, если травить?

— Чем? Дустом, что ли?

— Словом! Минус на плюс даёт ноль. Неси-ка, брат, классику.

Эксперимент превзошёл все ожидания. С первых же слов матерки начинали изгибаться, корчиться, потом дёргались и высыхали. Так началась Великая Чистка.

Читать приходилось много и разного. Забористые, особо устойчивые сопротивлялись, и сладить с ними было не так-то просто. Некоторых не брали книги девятнадцатого века, другие реагировали только на определённых авторов и, главное, быстро приспосабливались.

— Возможна мутация, — предупредил как-то грузчик-биолог из соседнего магазина.

А искусствовед, торгующая вязаными шапочками, добавила:

— Сейчас наблюдается смешение жанров. Рэп в сопровождении оркестра, эротизм в драматургии. О литературе я просто молчу. Когда ненорматив станет нормой, тогда уже ничто не поможет. Торопитесь!

И дворник торопился. Наспех прибравшись, читал до хрипоты романы и поэмы до поздней ночи. Друзья помогали: приносили книги, подметали, кормили. А матюги всё сыпались и сыпались...

Сколько бы ещё длилась война — неизвестно. Дворника уволили. Без объяснений.

Новый дворник-таджик принимая инструмент, улыбался, неустанно кивал и повторял одно и то же слово.

— Только не открывай коробки.

— Хорошо!

— Там древнее зло. Скверна.

— Хорошо!

— Русская скверна — самая скверная.

— Хорошо!

— Да что же здесь хорошего?!

— Говорить по-таджикски. Ругаться по-русски! Хорошо!

Филолог махнул обречённо рукой и вышел из подвала.

— *Tempus consilium dabit*¹, — пробормотал он и углубился в страницы объявлений.

ДЕВУШКА

Жила-была девушка. Симпатичная, энергичная, современная. У неё, как у всех людей, имелись тела и душа. Тело поселилось в квартире, душа — в телефоне. Только на ночь душа возвращалась в тело, когда девушка засыпала. Но, как только звучала бодрящая мелодия, душа тут же ныряла в плоскую коробочку. Там она радовалась и печалилась, общалась с друзьями, делилась впечатлениями, узнавала много

1. Время покажет (*лат.*).

нового. Изредка душа выпархивала — ненадолго. При этом тело от радости буквально не чуяло ног. Без души оно тосковало, ревновало не только к мобильнику, но и к другим устройствам. Душе без тела жилось спокойно.

У девушки был парень. Его душа тоже обитала в телефоне. Там они и познакомились. Там в основном и жили, пока их тела ели, пили, соединялись и делали всё необходимое.

Но случилось непоправимое — у девушки украли сотовый. Отвлёклась на минутку, забылась, сунула руку в карман — пусто. Перевернула сумочку — ничего! С телефоном пропала и душа.

Бродит тело по городу само не своё. Пытается девушка разрыдаться — не получается, рассердиться — не выходит: чувства все в телефоне остались. И вообще кругом всё какое-то чужое, незнакомое — страшное. Цвета блёклые, звуки тихие какие-то, нечёткие. А самое главное: как теперь жить? Без души-то?

Кое-как, не иначе — по наитию, отыскала дом, квартиру. Вошла. На диване парень. Кто такой? А тот водит пальцем по экрану, словно ищет чего-то, но только и слышно: «Абонент недоступен, перезвоните позже». Тело бочком-бочком — и на улицу.

Кружит, кружит, спросить бы кого, да куда там — все глазами в коробочках, будто собаки на поводках. Сверху крупа сыплется, мороз за лицо хватает. Замёрзла девушка. Хорошо, что тело дорогу запомнило. Вот и двор знакомый. На скамейке чувак сидит — тот самый, из квартиры. Увидал, бросился, смартфон протягивает. Девушка глянула на экран, а там... Душа! Целёхонька! В сетях запуталась, тем и спаслась. Тут всё на своё место встало. И краски заиграли, и звук в наушниках загромычал, и чувства вернулись. Слезы по щекам бегут, на губах улыбка сияет, телефон в руках скачет. Так, держась за него, парочка домой и отправилась.

Теперь у девушки две коробочки. Душа в обеих превосходно себя чувствует. Она ведь неосязаемая. Утончённая, ранимая... при соответствующих настройках. Тело больше не ревнует. Лучше короткие свидания, чем вообще никаких. Бойфренд тоже второй мобильник купил. Мало ли что может случиться?

МОЛИТВА РУКАМИ

Есть разные виды молитвы. На уроках Закона Божия объясняешь ребятам: благодарственная, просительная, покаянная... Написаны сотни, если не тысячи, книг о молитве умной, сердечной, о созерцании, делании и даже о молитве ногами. Мне вспоминается старушка, которая молилась руками.

Шла Светлая седмица. Распахнутое настезь весеннее небо, пасхальные звоны колоколов. Пир жизни. Победа!

Мне позвонили вечером: бабушка под сто лет хочется причаститься. Предупредили: она слепа, почти не слышит, в церковь не ходила.

Отказалась от пищи — готовится. Договорились на утро следующего дня.

Она сидела на кровати в одной короткой сорочке. Дочь повязала платок и несколько раз прокричала ей в ухо: «Батюшка приехал!»

Епитрахиль, поручи, требник — я готов. Наклоняюсь и как можно громче начинаю читать. Старушка повторяет за мной «Отче наш» и пытается натянуть рубашку на бёдра. Когда дочь вышла из комнаты, слепая заволновалась: беспокойно ощупывает спинку кровати, тербит простыню. Но вот находит мою руку — успокаивается.

Пальцы, словно тёплые ручейки, бегут по моей ладони — слепая едва касается. Кто я для неё? Поводырь к небу, проводник благодати? Мой голос с трудом пробивается сквозь пелену глухоты. Но, кажется, эта женщина чувствует сейчас присутствие ангелов, охраняющих Святые Дары. И не перестаёт благодарить Бога, поглаживая руку священника.

Спрашиваю о грехах. Она либо отрицательно качает головой, либо замирает и шепчет: «Каюсь», — и не отпускает меня до самого причащения.

И Бог вошёл в неё. Не мог не войти, потому что такую молитву нельзя не принять.

Ветхое тело под застиранной тканью, руки, ставшие голосом, Свет, озаряющий сердце, — всё здесь, на крохотном пяточке хрущёвки. Пальцы выводили на моей коже слова, которые тут же уносились вестниками к Престолу Вседержителя.

А в небе играло солнце — чистое, пасхальное.

ОТПЕВАНИЕ В СТАРОМ ДОМЕ

Всегда, когда попадаю в частный сектор, в груди что-то шевелится. Ветви древа памяти тревожит ветер, по коре воспоминаний бежит тёплая волна — от верхушки до корней, глубоко уходящих в детство. Палисадник, наличники, скамейка, клумбы...

Вот и сейчас: ворота, калитка, собака в конуре. Снова возникает ощущение другого измерения, другого пространства; но в доме, куда мы входим с Наташей, ещё и пространство смерти.

В углу под иконами красный гроб. Среди узких цветных половиков, ходиков с гирьками и русской печи он выглядит несуразной заплатой. Старушки в белых платках говорят вполголоса, словно боясь потревожить покой усопшей. Скрипят жалостливо половицы — проходим в какой-то закуток. Кто-то вслед за нами задёргивает шторы. Облачаюсь, вожусь с кадилом. Наташа листает требник.

В девяностых отпевание на дому было привычным делом. Покойный прощался не только с родными стенами, но и с родственниками — тихо, мирно, неспешно. Печаль смыкала уста живых и побуждала вспоминать об умерших только хорошее. Потом стремительно ворвались нулевые и десятые с их казёнными залами прощания — неживыми,

как грим на коже мёртвых. «Проходим, берём венки, не задерживаемся», — механически вещает женский голос.

Прихожан отпевают в храмах. Они уходят в небесные обители отсюда, где молились, каялись, принимали в себя огонь благодати. Эта женщина уходит из собственного дома. Здесь прошла её юность, здесь она зачинала и растила детей, воспитывала внуков. Здесь сподобилась перед уходом причаститься. Господь призвал в одиннадцатый час. И мне подумалось: вот она — уходящая эпоха. Советская? Русская? В любом случае — не нынешняя. Тут всюду незамысловатая красота, всюду чувствуется сила чьих-то заботливых рук. И всё кругом дышит этой силой и красотой, хотя уже не дышит хозяйка.

Выходим к гробу. Смолкает говор, зажигаются свечи. Дым тянется из кадила к потолку, обвивает тюлевые занавески, герань на подоконнике. Солнечные пальцы проникают сквозь ароматную пелену, нежно обхватывают гроб, вот-вот он качнётся и поплывёт...

Дом пел с нами — неторопливо, печально. Дом прощался — без надрыва, надеясь на встречу — где-то там. Слова погребального чина, словно грустные птицы, медленно кружили над той, которая сейчас устремлялась к горизонту и дальше, дальше... Что мы возьмём с собой? Только то, что любили.

За стеклом шумно проплывают машины, словно тяжёлые хищные рыбы. Мы тоже спешим в общем потоке. Нас ждут в храме. Бьёт по глазам сигнал светофора. И всё-таки не перестаёт звучать где-то внутри мотив — светлый, как сама вечность.

ПИСАТЕЛЬ

Жил-был писатель. Днём просиживал над графиками, ночью — творил. В основном рассказы. О романе даже не помышлял. «Не созрел», — отвечал он своим почитателям.

Его знали в городе и не только. Печатали в журналах, газетах. Но, как всякий писатель, он мечтал о книге. С книгой же было трудно. И всё же писатель не унывал, бился над каждой строкой, довольствуясь крохами сна; он не мог не писать. А писал он вещи грустные. Печаль так и сочилась из-под его карандаша. Именно это ставили ему на вид. Даже почитатели. «У вас хороший слог, — говорили они, — тонко выписаны персонажи, неожиданные развязки, но совершенно нет позитива». Друзья — и те требовали чего-нибудь повеселее: жизнь и так напрягает, а тут ещё ты сгущаешь краски. Но он не мог не сгущать. Слово «позитив» вызывало у писателя нервный тик.

И всё-таки он пытался. Честно брался за мажорное, но в конце непременно съезжал на минорные тона.

Он умел пошутить, но стоило ему сесть за стол...

Вот и сейчас, пробежав глазами исписанный лист, писатель вздохнул:

— Снова будут нос воротить, требовать веселухи. А где я её возьму?

Он глянул в окно. Уже светало. Писатель опустил голову на кипу черновиков и закрыл глаза...

Небо хмурится, по зелёным холмам гуляет ветер, шевелит ковыль и гривы коней. Два всадника всматриваются вдаль. Один — на огромном чёрном коне. На руке, сложенной козырьком, висит булава, в другой — копьё наперевес. Второй — безбородый, на коне белом, готов выхватить меч из ножен. Взгляды богатырей суровы, напряжены. — Глянь-ка, сколь вражины собралось, — молвит бородатый. — Сдаётся, Виктор Петрович, вдвоём придётся биться.

— Не думаю, Фёдор Михайлович. Он ещё никогда не подводил. Обождём малость.

Тут писатель вскакивает, несётся во весь писательский дух, кричит: — Вот я, вот я.

Но безбородый резко его останавливает:

— Ты откуда взялся, голозадый? Марш домой, пока мамка не отшлёпала.

— Беги домой, мальчик. Тут сейчас такое начнётся, — басит тот, что с булавой и копьём. — От горшка два вершка, а всё туда же. Подрости сперва, там поглядим.

Богатырь на белом коне оглядывается, восклицает радостно:

— Что я говорил? Вона, Исаевич спешит. Ну, теперь супостату-позитиву не поздоровится. Ох, раззудись, плечо, размахнись, рука!

По высокой траве скачет третий богатырь. Конь — огонь, за спиной лук, колчан со стрелами...

Писатель открыл глаза. Тонкий сон развеялся, в комнате висела тишина, ветер слабо играл занавеской. «Сами управятся», — улыбнулся писатель и нырнул под одеяло.

Татьяна Долгополова

Роза ветров

* * *

Я для вас пишу пару строк.
Ваш любой каприз, как приказ,
исполняю точно и в срок,
всё для вас, всё только для вас!

Я на перекрёстке миров
строю в вашу честь светлый храм.
Я срываю розу ветров,
чтобы подарить её вам!

* * *

Снова время повторяет
все узоры на песке.
Помню детство: мятно тает
леденец на языке.

Жизнь привычек не меняет,
мятный вкус ей так знаком!
Вот и снова мятно тает...
валидол под языком.

* * *

Напросился в гости:
сбился, мол, с пути...
А ему ведь просто
некуда пойти.
И не до вопросов,
ты его прости;
знаешь, ему просто
некуда пойти.
Все ушли трамваи,
пяточок в горсти.
Вот ведь как бывает:
некуда пойти...

* * *

Уже я скоро стану старой бабкой.
Любимый кот, гераньки на балконе...
А мне по-прежнему охота грабить банки!
И уходить дворами от погони.

Чтоб каждый день был как электрошокер.
И чтобы ночь смотрела пистолетом.
Как мне охота проиграться в покер —
чтоб в пух и прах! И не жалеть об этом.

Вот так пожить, забыв про все законы,
позволь ещё, судьба, хотя бы разик.
А мне судьба: «Гераньки на балконе!
Любимый кот! И ножки — в тазик, в тазик...»

* * *

Здесь уголок хороший, но заброшенный.
Ты выслушай, пока ещё не пьян:
как утро выпотрошит из ночи порошу,
ты уходи по заячьим следам.
Я тебе хлеба на дорогу дам
и яблоко румяное и сочное.
Ты уходи по заячьим следам.
Ты только их
не перепутай с волчьими.

* * *

Мне боржом, Рома-джан!
Или джина с тоником.
Здравствуй, лето! Рай — бомжам,
гибель — гипертоникам.

Прочь весеннее тряпье,
подавайте летнее!
Здравствуй, времечко моё
авиабилетное.

Быстро в море смоешь ты
все делишки тёмные.
Ах, как колются мечты —
пузырьки боржомные...

* * *

Когда глаза привыкнут к темноте,
сотрутся знаки званий и регалий,
ты разглядишь: с тобой совсем не те,
которые на верность присягали,
и уступали место в тесноте,
и в чёрный час бежали за советом...
Увидишь. Лишь привыкнешь к темноте,
которую ты называешь светом.

* * *

Как хорошо, что я не член союза.
Как хорошо: союза я не член.
И мне мою растрёпанную музу
делить не полагается ни с кем...

* * *

Чёрный с чёрным не сходен,
как ни взмахивай кистью.
Даже уголь не чёрен
рядом с чёрною мыслью.

Все слова — между прочим.
Повод явно надуман.
Что там — чёрные очи,
если — чёрное дуло.

Может, парюю были,
может, не были парой.
Мелочь — чёрные дыры
рядом с чёрною раной.

И в последней хвори
вспомнишь локон колечком...
Лужа — Чёрное море
рядом с Чёрною Речкой.

— Так не пишут картину:
только чёрные краски...
Но ушли все белила
На посмертную маску.

* * *

«Наш папа — кит?» — «Да, конечно, наш папа — кит».
Конечно, он кит, с какой стороны ни прикину.
Он так по-китовьи фыркает и трубит,
когда ему воду льёшь из ковша на спину.

И это сходство само за себя говорит,
и неуместен вопрос: «Извините, кто вы?»
Он — кит. Когда он спит и когда не спит.
Конечно, он кит, и ус у него китовый.

Он сам-то об этом, понятно, всегда молчит.
И мы молчанье его ни за что не нарушим.
Но помни, мой мальчик: твой папа — прекрасный кит.
Когда-то для нас он выбросился на сушу.

* * *

Перед сном больше делать нечего.
В голове одни только мелочи.
Ни с тобою, ни в одиночестве
править миром больше не хочется.
И совсем не хочу украдкой
доставать из памяти сладкое.
Всё обдуманно, перемечтано...
Перед сном больше делать нечего.

* * *

Не ходи на войну, не ходи.
Трусом стань, подлецом, дезертиром —
всё равно. Только не наследи
в стенах этого страшного тира,
где ты сам и мишень, и стрелок.
Нынче белый, а завтра лиловый.
И так близко, у глаз, потолок
неотёсанный, грубый, сосновый.
Не ходи, не ходи на войну,
не вступай в этот мрак, в эту скверну.
Даже если тебя не убьют,
я не верю, что это безвредно.
Не ходи! Тебя каждый поймёт.
Не ходи! И никто не осудит.
Знаешь, если никто не пойдёт,
то войны этой просто не будет.
Не ходи, не ходи на войну...

* * *

В параллельность миров не верю я
давным-давно.

А поедем с тобой в Карелию?

Снимать кино!

И закроем тихонько двери мы:

эх, экстрим!

Раскадрим мы с тобой Карелию,

закадрим!

И не надо здесь быть провидицей

суеты.

Кто там будет в пустой гостинице?

Я да ты.

И, конечно, не по сценарию,

сломав строфу,

мы откроем две новые Нарнии

в одном шкафу.

* * *

Мели, мели, Емеля,

Но только мне на ушко.

Ты пахнешь карамелью,

Тебя приятно слушать.

Ты пахнешь очень сладко

И врешь, как сивый мерин.

Я обожаю сказки.

Мели, мели, Емеля.

* * *

Прочь из дома, прочь!

В снеговую гжель!

Ну и что, что ночь,

ну и что — метель!

Чуть надел пальто,

чуть хлебнув вина...

Кто со мной? Никто?

Ну так я одна...

* * *

Всё так же трудно без нагана.
И всё не видно перемен.
Какую чушь несут с экрана!
Какую дурь поют со сцен!

А я ни в чём не виновата,
но хочется бежать, бежать —
«в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов!»
Косить траву, пшеницу жать!

Но помечтаю — и немею.
Тащу безрадостные дни...
Косу держать я не умею.
И нет в Саратове родни.

Ольга Гуляева

Все четыре колеса

*Ничего уже не жалко,
В перспективе — небеса...*

*Шевелись, моя качалка,
Все четыре колеса!*

Александр Ёлтышев

Глава 1

АННА, КАПУСТА, МОРКОВЬ

Капуста не эталонная, зато своя. Сочная, сладкая. Средней плотности капуста. Рассады десять корней купила Анна на базаре у женщины знакомой, а много и не надо — одной много не надо, но и вовсе без капусты картина была бы неполной. Убирать рано, пусть стоит до заморозков, но посмотреть — дело святое. Бледно-зелёные листья, слоями собравшиеся вокруг кочерыжки, похожи на устройство мира: сверху — разрежённая атмосфера, затем атмосфера уплотняется, переходит в почву, почва становится корой планеты, твердью её, и, наконец, ядро — кочерыжка и то, что возле. Это великолепие на земле растёт; земля не самая богатая, но Анна унавоживает её из года в год: когда мимо дома идут коровы или лошади, Анна выходит за ними следом с ведром, собирает золото коровье-лошадиное и тащит, тащит в огород, унавоживает. И пусть говорят что хотят — унавоживала, унавоживает, унавоживать будет. Галина Михайловна и Валентина Семёновна конкурируют с Анной за навоз — надевают спецодежду, ведра берут, совочки, выходят из дома за коровами-лошадьми, но нет Анне равных в деле унавоживания — ей всегда достаются лучшие лошадиные кучки и наитолстейшие коровьи лепёшки.

Об этом думает Анна, осматривая капусту. И пусть капуста не идеальна, она всё равно лучше, чем у Галины Михайловны и Валентины Семёновны. И уж тем более лучше капуста у Анны, нежели у дебилков: ни Лилька, ни дочка её дебелие навоза не собирают, у них вообще не капуста — так, кустики жидкие, пародия на капусту.

Мысли о дебилках — не самые приятные, и когда в толще одной из светло-зелёных планет раздаётся слабый писк, Анна, отвлекшись благостно от мыслей ненужных, приближается к пищащему кочану — надо

освободить из его недр глупую землеройку, решившую полакомиться её, Анниним, достоянием. Анна наклоняется, раздвигает хрустящие листья. Фокусирует взгляд и застывает в удивлении: там, где должна ворочаться в ужасе землеройка, землеройки нет. Розовый малыш, размером с молочный кабачок, болтает в воздухе ножками, болтает ручками и улыбается ей, Анне. Гулит и улыбается, гулит и улыбается. Анне шестьдесят, но маленьких она любить не разучилась. Анна берёт малыша, аккуратно берёт, в капустный лист заворачивает и домой несёт, дома достаёт пелёночку с антресолей, дочери своей пелёночку, дочери сорок уже, а пелёночку всё равно жалко, дочерина ведь пелёночка, ну а что делать — малышу она сейчас нужнее. Анна пеленает маленького мальчика, улыбается ему в ответ. Надо бы позвонить в полицию, но если туда позвонить — младенца заберут, отдадут в дом малютки — и каюк младенцу. Экзистенциальный каюк. Надо Ковалёвым его предложить: десять лет живут, десять лет Настя забеременеть пытается, но не может — то ли нервы, то ли резус-фактор, не может забеременеть, как ни старается. А живут Ковалёвы хорошо — врачи; в маленьком городе врачи хорошо живут.

Ковалёвы младенцу рады были. Васенька только сказал: — Мы вообще-то девочку хотели, но раз такое дело — давайте нам, Анна, его сюда, Егоркой будет, — и пошёл в универмаг, там «Товары для детей» до восьми работают.

Кроватку, коляску купил, смеси для вскармливания.

Настя на другой день на прогулку с Егоркой вышла, коляску тюлем занавесила. Катит коляску, проверяет, тепло ли Егорке, шапочку ему поправляет. А Марья Ивановна, не Трунова Марья Ивановна, другая — Хочу Всё Знать Марья Ивановна, подходит, носом своим любопытным водит, взглядом тюль отодвинуть старается — тюль ни с места. Сучит Хочу Всё Знать ногами от желания разведать, кто в коляске, откуда этот некто появился и что с ним далее делать будут. Настя смущается, как Егорку объяснить — не знает, она от счастья и себе-то его объяснить не может, да и вряд ли хочет.

— Настенька, а ты же вроде беременная не ходила, — Хочу Всё Знать хочет знать всё, это потребность её организма — насущная, непреодолимая.

Сколько раз давала она себе слово не вмешиваться — ни разу сдержать его не смогла.

— Марья Ивановна, — Настенькин инстинкт материнский может сейчас трансформироваться в агрессию, но Настенька этого не хочет, — Марья Ивановна, как бы объяснить...

Сивачиха, бодрая старушка, к которой идут лечить испуг, править голову, за травками для мужской силы и по другим нуждам, появившись в окне первого этажа шестнадцатого дома, тихонько зовёт:

— Маша, Маша.

Хочу Всё Знать оборачивается на своё имя.

— Маша, ну какое твоё дело? — Сивачиха взывает к тактичности Марьи Ивановны. — Вот ведь всё знать надо, бабка ты любопытная. Настенька ко мне всю беременность ходила. Всю беременность. Я ей и сказала: прячь живот, прячь живот — чтобы не сглазили. У Насти и платья все свободные, только слепой не заметил бы, что беременная. Настя, нельзя никому сыночка показывать, пока нельзя.

Хочу Всё Знать соглашается:

— А ведь и правда, и в баню не ходила ты, Настенька, давно уже, и душ Вася поставил, да.

Хочу Всё Знать, сделав вид, что не интересуется более младенцем, нехотя отводит взгляд от коляски, смотрит то на окна Шмуней, то на окна Анны, то на окна Надежды Филипповны, художницы, но нос её вращается подобно лопасти погружного блендера и стремится за тюль, в загадочные глубины коляски.

— А назвали-то как? — робко спрашивает Хочу Всё Знать.

— Егоркой назвали, — смеётся Настенька. — Подрастёт — покажу, а пока не надо — маленький ещё очень.

Не имея возможности расширить границы познания, но очень этого желая, Хочу Всё Знать всем соседям рассказала о нерядовом событии — о том, что Настенька ходила беременная, а она, Марья Ивановна Хочу Всё Знать, этого не замечала — наверное, оттого, что возраст уже. А все знали, что у Ковалёвых сын должен был родиться, все видели Настю беременной — они же не старые ещё, наблюдательные к тому же, — все видели, что Настя ребёнка ждёт — невозможно этого не заметить. Так Шмунь и сказал, когда пекинеса своего выгуливал: не заметить мог только слепой.

Анна, наименее общительная из всех, привыкшая держаться особняком, узнала новость, как обычно, последней. Валентина Семёновна за чашкой чая поведала ей о том, что все во дворе, оба дома, буквально все знали об ожидаемом пополнении в семействе Ковалёвых, одна Хочу Всё Знать не знала, хотя самая любопытная.

— Капусту надо убирать через пару недель, — улыбнулась Анна. — Конечно, я знала, — сказала она, обмакивая печенюшку в смородиновое варенье.

Анна печенюшки-то любит, и ватрушки любит, но фигуру сохраняет — платьев у неё красивых много. И с Марком вместе платья покупали, любил Марк жену наряжать, и дети Анне накупили разных платьев, чтобы меньше разницу она чувствовала — с Марком или одна. Но разницу-то эту никуда не денешь — одна теперь, как и Надежда Филипповна, как и Галина Михайловна, как и Валентина Семёновна. Но это не повод себя запускать, не повод про фигуру не думать. Она ведь не бабка какая, это бабкам без разницы, в чём в город выйти,

а она будет на каблуках ходить и в платьях красивых, по фигуре. Бабки однажды высказали ей: ты что, Анна, на каблучицах на таких ходишь, надо уже попроще туфельки, а то и вовсе тапочки, и чтоб на плоской подошве, на плоской. А то тяжело ведь — не молоденькая, неудобно на каблуках. Но Анна им: вот вам неудобно — вы и носите на плоской, если вам неудобно; а мне удобно.

Но если филей наесть — на каблуках действительно не слишком комфортно, поэтому Анна обычно велосипед из гаража выгоняет, садится на велосипед и едет — по Рабоче-Крестьянской (бывшая Большая), по Вейнбаума, по Бабкина, через стадион «Труд» до тюрьмы и обратно. На велосипеде, конечно, без каблучков, в этом случае каблучки действительно лишние.

Анна выгоняет велосипед из гаража, делает круг по двору, возвращается к воротам гаража, спешивается, открывает гараж, берёт велосипедный насос, откручивает ниппель, присоединяет насос к колесу, начинает качать — сдулось колесо, на таком далеко не уедешь. Сын приезжал в июле, накачал колёса, но это оказалось не навечно. Качает Анна колесо, но прокачать не может — то ли силы не хватает, то ли навыка. Но качает: фигура — это важно, следить надо за фигурой.

Иван Фёдорович Трунов, бодрый мужчина под восемьдесят, натирающий свою «шестёрку» возле своего гаража, заметив, что Анна не может прокачать колесо, подходит к ней:

— Давай, Анна, я сделаю, пять минут — и готово.

— Спасибо, — смущается Анна.

И действительно, пять минут — и готово, и едет Анна на полной скорости в сторону стадиона «Труд», в сторону тюрьмы, и собак не боится — знают её все собаки по пути следования; она не боится, они не лают, не облаивают, привычна им молодая женщина на велосипеде. Если смотреть сзади — точно молодая, если спереди не приглядываться — за молодую сойдёт.

Лида, сестра Анны, собак кормит. Кормит собак и Валентина Семёновна, и Надя собак кормит. Валентина Семёновна подходит к делу ответственно: помимо Грэя, фенотипического тойтерьера, живущего у неё дома двадцать четвёртый год, помимо лохматого Шарика, который сидит в будке за гаражами, охраняя их и калитку в огород, Валентина Семёновна кормит всех собак, которые обращаются к ней по этому вопросу. Лида кормит собак Ленки Костюченко, владелицы исторического дома, полуразрушенного. Ленка, уехав к детям, всегда забывает про условно своих собак, по принципу компьютерной игры: отвернулся — движок не тянет — собак нет. Белка и Милка, скамейкообразные суки, считающие исторический дом своим, охраняют его круглый год, а Лида, отодвигая прогнившую

доску забора, пробирается во двор и кормит Белку, Милку и их щенков, которых год от года труднее раздать. Анна собак не кормит, но участвует — отдаёт остатки еды Валентине Семёновне, та добавляет эти остатки собакам в кашу. Но собаки Анну уважают по факту. Иногда она их гладит. Ни травить собак, ни топить щенков никто не решается: мужчин на улице мало, а те, которые остались, не могут лишить жизни собаку или не хотят, несмотря на то, что собаки порой досаждают; но если идти по улице трезвым — просто подходят и любопытствуют.

Анна кормила собаку только однажды. Крупная, молодая, абсолютно чёрная Найдёна появилась на улице ниоткуда, шерсть её лоснилась. Найдёна не требовала есть, но никогда не отказывалась от чесания за ухом — напротив, настаивала. Найдёна увязывалась за женщинами в город без определённой цели, просто составить компанию, провожала до Кирова и возвращалась на свою улицу Иоффе, где её знали и любили. Найдёна была завидной невестой; когда она стала гуляться, кобели пришли и с Ленина, и с Тамарова, и даже с Перенсона. Свадьба была богатая. Найдёна похудела, шерсть её стала тусклой, но со временем собака выправилась, а через два месяца родила пару щенков, после родов прожила неделю. Анна больше не кормила собак. Но остатки еды продолжила отдавать Валентине Семёновне. Щенков взяла Надя: одного себе, одного внукам.

И вот едет Анна на велосипеде, и приятно ей оттого, что Иван Фёдорович колесо подкачал, джентльменом себя показал, в то время как толстый Шмунь, усмехаясь, смотрел, как она с насосом возится; едет Анна, воздуху радуется и листьям, которые скоро пожелтеют, пахнут жёлтым уже, но зелёные ещё листья берёз и тополей на её пути, едет к обочине ближе, по дороге утоптанной, а Найдёна рядом бежит, живая, охраняет Анну и от Шмуни, и от дебилков, и от прочих мыслей неуместных. И хорошо Анне, благостно от движения, от чувства защищённости — хорошо. Не следуя за мыслями, следуя только за своим дыханием, приятно уставшая Анна подъезжает к своему дому, притормаживает, прислушивается.

— Лилька!!! — Марья Ивановна Трунова, жена Ивана Фёдоровича, томагавком вылетает из огородной калитки с пучком моркови наперевес. — Лилька!

В окне первого этажа восемнадцатого дома появляется вечно заспанное лицо Лилии Адамовны, окно осторожно приоткрывается. Анна следует в гараж, будто бы ничего не случилось, а если и случилось — не расслышала.

— Ирка твоя всю ночь вчера по огороду ходила! Морковка! Морковка!.. У вас не растёт ничего, бичи вы, позорники, а ты Ирку отправила, а Ирка ночью морковку подменила на грядках: моя морковка крупная была, сладкая, Ирка её ночью повыдергала и к вам на грядки посадила,

а вашу, хвосты мышинные, ко мне воткнула! Лилька, верни морковку, а то хуже будет!

Вытянувшись лицом, напоминающим вымытую, но не очищенную картофелину, Лилия Адамовна захлопнула окно, а через минуту воплотилась во дворе, в прыжке поправляя несвежий платок на голове. — Вы в уме ли, Марья Ивановна? Ирка дома спала, Ирка очень порядочная, у нас хорошая семья! Приличная!

Тридцатипятилетняя Ирка, плохо выпавшаяся после ночной прогулки с недавно вышедшим на свободу Константином, смотрела из-за предварительно задёрнутой занавески. Кровь её стыла от ужаса: если мать узнает про Константина — дело плохо, хай поднимет, заподозрит, что не девочка уже, а если заподозрит — попрекать будет всегда, и не уйти ей, Ирке, от материнского гнева.

— Да точно тебе, Лилька, говорю: Ирка под окнами ходила, голос я её слышала, её голос противный ни с какими другим не спутаешь. И морковку она по одной перетаскала у меня, порядочная, — Марья Ивановна хмыкнула. — Всё, иду в полицию звонить. Я на вас управу найду. Порядочные выискались.

Недоуменно почёсывая под платком, Лилия Адамовна проследовала в подъезд; дверь, подтянутая пружиной, щёлкнула, как одиночный выстрел из ракетницы. Брусовой дом пошатнулся и кольхался ещё несколько минут. Валентина Семёновна, возмущённая до глубины души, поджала губы у себя на кухне, но приняла решение не вмешиваться.

Марья Ивановна пошла в гараж, где Иван Фёдорович чинил «шестёрку». Тыча морковкой мужу в лицо, Марья Ивановна, оскорблённая поведением соседей, ругала его за то, что он, мужчина, не может защитить их частную собственность. Иван Фёдорович слабо сопротивлялся, наконец рассердился и, оставив Марью Ивановну во дворе в полном одиночестве, завёл «шестёрку», выгнал её из гаража и поехал по делам, которых с утра не планировал.

Глава 2

СНЕГ И ЗАЯЦ-БАРАБАНЩИК

Марья Ивановна и Иван Фёдорович женаты очень давно, но никто не помнит того момента, когда они перестали жить дружно. В каждом коммуникативном акте, производимом Иваном Фёдоровичем, Марья Ивановна усматривает повод для недовольства, а то и вовсе для ревности. Ивану Фёдоровичу под восемьдесят — самое время давать жене поводы для ревности: и художница хороша ещё, и Галина Михайловна ничего себе. А уж Галка и Ирка дебилковские — профурсетки, с которыми Иван Фёдорович устраивает излишества, переходящие в безумства, каждую ночь. И ничего, что Иван Фёдорович каждую

ночь спит дома: когда Марья Ивановна засыпает (Иван Фёдорович специально подсыпает ей снотворное, чтобы она спала и ничего не слышала), муж её поднимается, принимает боевую стойку и марширует бодро — утешествлять Ирку с Галкой, Надежду Филипповну и Галину Михайловну, а также всех охочих до этого дела жительниц восемнадцатого дома. Успешно справившись с поставленной задачей, а иногда и перевыполнив план, Иван Фёдорович возвращается домой и делает вид, что всю ночь спокойно спал. Только к Анне не ревнует Марья Ивановна мужа — Анна строгая, недоступная, Анне богатый нужен. Марк вот богатый был, Анна дублёнку Марка продала Ивану Фёдоровичу, недорого. Если бы что-то было между ними — Анна бы дублёнку так отдала. А раз продала — значит, и не было ничего. К тому же Анна, когда Иван Фёдорович совершает для неё перевозки грузов (урожая с дальнего огорода), всегда на бензин даёт, а если Иван Фёдорович не берёт — бутылку самогона ему презентует. Марк, когда выгнал эту партию самогона, последнюю свою партию, сказал: на все поминки хватит. И на поминки хватило, и осталось ещё, и это даже не Анна самогон даёт Ивану Фёдоровичу, это Марк благодарит его за перевозку грузов в виде овощей с дальнего огорода. А раз Марк — то к Анне претензий быть не может.

Почему Иван Фёдорович живёт с Марьей Ивановной — на этот счёт было множество как теорий, так и простых предположений. Ксантиппа — она и есть Ксантиппа, бежать от неё надо подальше. Ивану Фёдоровичу есть куда, но он не бежит, хотя жизни нормальной у него с женой нет.

Три года проходит, пять лет, а самогон, выгнанный Марком в тот день, не заканчивается; Анна, в благодарность за перевозку овощей, даёт Ивану Фёдоровичу поллитровочку, и Марья Ивановна мужа к ней не ревнует.

— Баба Аня, а почему у художницы, у её кошки, всего один котёнок? — пятилетний Егорка любознателен чрезвычайно. — Почему у нашей Мурки пять котят родилось, а у художницы один? — Егорка вопросительно смотрит на Анну.

Анна, опершись на пехло, которым только что отгребла снег от гаража, строго смотрит на Егорку:

— Во-первых, я не баба Аня, я Анна Павловна. Бабой или тётей можно называть родственниц, а мы не родственники, так что обращайся ко мне по имени-отчеству. Во-вторых, почему котёнок один — надо спросить у кошки, я ничего об этом не знаю... или у художницы, — про себя уже говорит Анна и продолжает грести снег, расчищая территорию до подъезда — сегодня её очередь.

— Анна Павловна, — продолжает Егорка допрос с пристрастием, — а можно к тебе в гости?

— Можно, только ненадолго, — отвечает Анна, — а потом сразу домой, а то родители волноваться будут. Валенки обмети, — Анна протягивает Егорке веник, — а то снег растает на них, ноги мокрые будут.

— Анна Павловна, ты обмети — мне мама всегда обметает.

— Ладно, давай, — Анна берёт веник и тщательно обметает Егоркины валенки, штаны, пуховичок.

— Баба А... Анна Павловна, как у тебя чисто! — удивлённые Егоркины глаза блестят. — Как у тебя красиво! Ой! Аптека на картине! Наша аптека, только летом! А это твоя мама в аптеку идёт?..

— Да, — улыбается Анна, — моя мама. Ты только, Егорка, осторожно — не сломай ничего.

— О!!! — глаза Егорки становятся как чайные блюдца. — Какая кукла огромная!

— Это внучки моей, она приезжает, играет, — смеётся Анна. — А это вот дочь моя привезла, — Анна протягивает Егорке небольшого механического зайца, заводит его, заяц бьёт в барабан и пританцовывает.

Егорка смотрит на зайца с восторгом.

— А как зайца зовут? — спрашивает.

— Егорка, — отвечает Анна, — Егорка его зовут. Пойдём чай пить. С конфетами.

Пьют чай, беседуют. Картина, которая висит на стене Анниной кухни, — нарисованные кабачки — удивляет Егорку, но заяц удивляет больше. Особенно то удивляет, что зайца тоже зовут Егорка.

Допивают чай.

— Так вкусно, — не перестаёт выражать чувства Егорка, — так вкусно!

Заметив, что глаза его слипаются, Анна помогает ему одеться и ведёт домой. Настя и Василий, его родители, раздевают полусонного Егорку, укладывают спать. Анна говорит, что Егорка сначала помогал ей убирать снег, потом был у неё в гостях. И что завтра к ней приезжает дочь Софья.

Софье за сорок. Софья, когда приезжает, всегда спит. Ещё десять лет назад Анну это раздражало: как можно приехать в гости к родителям и спать так долго? Если Софью пробудить искусственно, Софья начинает орать. Смысл её ора сводится к тому, что разбудившие её ненавидят и стремятся уничтожить. Но всегда можно случайно уронить, например, ложку в раковину, потом вторую — тогда Софья проснётся как бы сама. А предъявлять претензии ложке — совсем уж смешно. Софья, приехав, должна помогать родителям, но сама Софья это категорически отрицает: ничего она никому не должна, а если мама хочет, чтобы Софья, приезжая в гости, мыла посуду, то пусть Анна, приезжая к ней, тоже моет. Заодно готовит борщ, а можно ещё пылесосить. Бельё утюжить не возбраняется.

Раньше Анна неоднократно приводила Софье в пример Наталью, дочь Лиды, свою племянницу: Наталья, как к матери приходит, за

мытьё посуды берётся незамедлительно, моет чистенько, каждую тарелку вытирает, в шкафчик ставит — загляденье.

— Как жаль, что не Наталья твоя дочь, а я, — смеётся Софья, смотрит на посуду как баран на новые ворота, приступает к мытью, моет, вытирает нетщательно, составляет хаотично.

— Ладно, — говорит Анна, — давай я сама сделаю.

Сейчас Софья спит. Анна терпеливо ждёт, когда будет двенадцать — тогда Софья проснётся привычным для себя образом.

Софья просыпается, завтракает. Гречневая каша у Анны лучшая в мире, так говорит Софья. Мёд у Анны лучший в мире, и вообще вся еда, которая у Анны, — лучшая в мире. Анна и без Софьи это знает, но получить подтверждение всегда приятно. Анна не меняется, это тоже говорит Софья. Анна действительно не меняется.

Софья приезжает редко, всегда ненадолго, дня на два. За это время надо продемонстрировать Софью по всем направлениям: спуститься на Кирова, пройти по Ленина до универмага, до музея, а если повезёт — зайти в гости к Лиде или к Наталье; и туда, и туда Софья точно не пойдёт — ей скучно. Зато в музей и в универмаг — всегда с удовольствием. Анна идёт быстро, Софья едва успевает за ней. В музее никогда ничего не меняется, но и не должно меняться — это ведь музей.

Софье с детства нравится экспозиция, в которой представлена сцена из жизни северных народов: мать с младенцем сидят в чуме, отец несёт рыбу (чучело рыбы). Одежды аутентичные, не позднее конца восемнадцатого века, чум аутентичный. Бисер, которым вышиты вставки на одеждах, немного (или сильно) потускнел, но не утратил ни цвета, ни значения. Бисер — это правда, которую знали уже в конце восемнадцатого века и пришивали эту правду на одежду: одежда с пришитой правдой помогает духам тепла проникнуть в тела отца, матери и младенца.

Рыбья игла протыкает оленью шкуру, сухая жила следует за иглой, следует бесчисленное множество раз; когда одна игла ломается, молодая женщина берёт другую и продолжает тянуть жилу за иглой. Бисер, взятый у пришельцев в обмен на песка, мелкий и крупный, цветной и прозрачный, по одной капельке падает на кожу, выделанную тонко, падает медленно, становится птицей, снежинкой, песней. Шаман, отец молодой женщины, бьёт в бубен и поёт эту песню, песня превращается в оберег, и миру спокойно от этой песни, пока поёт её шаман, едва заметно шевеля губами, сделанными в начале двадцатого века из папье-маше.

Анна любит комнату купеческого дома. Чистенькие шторы, маленькая аккуратная мебель, предметы быта зажиточных людей: комната-макет с двумя барышнями, вечно пьющими чаёк с пряниками, — это её комната, платья барышень — по фигуре. Каждый раз Анна сокрушается: почему сейчас нельзя носить такие платья —

по фигуре? Ведь и ей бы очень к лицу были эти кружевные накидки, эти яркие ткани и женственные фасоны.

Иногда в музее выставляют работы художников, живущих сейчас в маленьком городе. Анне нравится Харченков, вот получается у него: если аптека, то аптека, если дом, то дом — и это не сегодня, это всегда. А у Филипповны только сегодня получается, и не трогают работы Филипповны Аннинного сердца: вещь должна быть добротной, краски — чистыми, а свет должен быть таким, что если смотришь на картину утром — утро и на картине, если днём смотришь — на картине день, если вечером посмотреть — вечер. А ночью картина должна спать.

Анна с дочерью, получив впечатления, выходят из музея, идут в универмаг и в «Радугу» — и там, и там всегда есть интересные вещи, качественные, турецкие, не то что на рынке. Анна и Софья делают друг другу подарки. Анна привередлива, но всегда старается выбрать что-то, что ей подходит, — хоть платье по фигуре, хоть набор столовых приборов, хороший, английский.

Пробыв у Анны два дня, Софья уезжает, две коробки с соленьями и овощами увозит с собой.

— Мама, что-то в этот раз не хватает чего-то, — говорит Софья, собирая вещи, — не пойму чего, — Софья сворачивает свитер, складывает его в сумку. — С Валентиной Семёновой здоровались вроде, Галина Михайловна смотрела недобро... Ты не общайся с ней, нехорошая она женщина... Дебилки — вон они, ходят. Ирка беременная, что ли?.. От художницы скипидаром несёт, могла бы и форточкой проветривать, чего дверь-то открывать, — развоняла на весь подъезд... Сивачиху в магазине видели, Труновых с автовокзала слышно... Егор хулиганистый такой... Что я упустила? Гараж чей-то снесли? На нечётной стороне что-то изменилось?.. А где Хочу Всё Знать? За два дня никто ни разу окнами нашими не поинтересовался...

— Осенью Хочу Всё Знать умерла. А Ирка беременная, да. От Костика, от ээка. Лилька его жениться заставила. Теперь они вчетвером в однокомнатной. Весной впятером будут. А снег убираем всё равно по неделе. Вот их, считай, пятеро, а я одна, и Валентина Семёновна одна. Грэй месяц назад скончался, ему то ли двадцать семь, то ли двадцать восемь было уже. Может, это ещё изменилось — не лает. Охранял до последнего дня. Зубы выпали уже, Валентина Семёновна детским питанием его кормила, самое лучшее покупала. А снег по неделе убираем. Почему я за Костиком убирать должна?.. Не должна. И Валентина Семёновна не должна. Хочу Всё Знать убирала до последнего. Под девяносто ей было, а убирала. А эти лбы здоровые не хотят. Лилька убирает плохо, а Костик говорит: я здесь не прописан, и Ирка не прописана. Вы прописаны, вы и убирайте. А я когда возле гаража убирала, ко мне Шмунь подошёл и говорит: Анна, ты бы и возле моего гаража убирала, что ли. А я ему: только настоящий

мужчина может иметь образ мыслей, подобный вашему. Он отошёл, оскорбился, сказал, что я шуток не понимаю. А вот Иван Фёдорович, когда убирает у себя, всегда и мою территорию захватывает. За восемьдесят уже, а мужчина. Не то что Шмунь, Шмуню и шестидесяти нет, а хуже бабы.

Софья берёт механического зайца, заводит его ключом. Заяц барабанит и пританцовывает. Шаман из папье-маше в аутентичных одеждах из оленьих шкур бьёт в бубен, поёт песню. Песня, бликуя в каждой из стеклярусных бусин, становится оберегом.

Глава 3

КАРТОШКА И КАТЯ

Лилия Адамовна, крадучись, выставив пакет с мусором за дверь, вернулась на кухню, достала из-за батареи новый пакет, проверила его целостность. Новорождённая Оксанка, проснувшись от шуршания пакета, пискнула в комнате. Ирка, чтобы не разбудить сестру и Константина, пришла с Оксанкой на кухню.

Лилия Адамовна молча чистит картошку; картошка мелкая, тупой нож соскальзывает с кожуры; кастрюля с грязноватой водой, в которую Лилия Адамовна булькает очищенные картошки, — большая, семилитровая, алюминиевая. Ирка молча укачивает Оксанку. Световой день увеличился, но не настолько, чтобы не включать электрический свет в восемь утра. Свет, включённый на кухне, мешает спящим в комнате, как мешает каждый звук, но спящие продолжают спать, через силу продолжают — на работу никому не надо, хотя среда. Лилия Адамовна чистит последнюю запланированную картофелину, промывает очищенную картошку, стараясь шуметь не сильно, меняет воду в кастрюле, ставит кастрюлю на конфорку, поворачивает переключатель на максимум. Ирка идёт в комнату, укладывает спящую Оксанку в кроватку. Разбуженные Галька и Константин ворочаются, каждый на своём спальном месте, хотят поспать ещё, тянутся, не желая возвращаться из сна в бытие, но граница между сном и бытием беспощадно истончается — встать приходится. Запах картофельного пара проникает в ноздри жителей однокомнатной квартиры на первом этаже восемнадцатого дома по улице Иоффе, не намекая, но прямо указывая на то, что скоро будет завтрак. Ирка чистит луковицу, режет её настолько мелко, насколько позволяет постоянно соскальзывающий нож, сдвигает нарезанный лук по доске в раскалённое рафинированное масло, масло шкворчит, лук кипит в масле. Лилия Адамовна сливает воду из кастрюли с готовой уже картошкой, сливает в другую кастрюлю, накрывает её крышкой, чтобы не остыло, а картошку толчёт железной толкушкой с дырками,

толчёт, пока та не превращается в однородную массу. Вливает в эту массу горячий картофельный бульон, постепенно, чтобы не было слишком жидко. Берёт сковородку с обжаренным луком: финальный штрих, финальный аккорд — жареный лук. Заправив блюдо, обмыв луковую сковородку горячим картофельным бульоном, вылив смыв в кастрюлю с картофелем, тщательно перемешав ещё раз, Лилия Адамовна раскладывает картофельную массу по тарелкам. Семья завтракает, включив телевизор, который абсолютно не мешает спать маленькой Оксанке. Лилии Адамовне кажется, что, напротив, телевизор помогает ей спать крепче и спокойнее.

Стук в дверь прерывает трапезу.

— Лилия, опять ты помойку свою в подъезд выставила!

Валентине Семёновне пахнет, пахнет не только тогда, когда она проходит мимо двери дебилков, ей пахнет уже тогда, когда она выходит из дома. Запах резкий, Валентина Семёновна не для того намывает пол в подъезде, не для того просыпается утром, чтобы вдыхать этот запах.

— Лилия, мусорка приезжает три раза в неделю! Три раза! Вас четверо! Взрослые люди! Два раза уже прокараулили! — выражает праведный гнев Валентина Семёновна.

— Валентина Семёновна, — пытается возразить Лилия Адамовна, — мы только один раз не успели! У нас ребёнок маленький! Что, ребёнку нюхать прикажете?

— Ничего я не прикажу, — Валентина Семёновна могла бы приказать, но Константин из-за плеча Лилии Адамовны демонстрирует ей своё лицо. — Костя, хоть ты бы мусор выносил! Здоровый парень!

— Мужчины, Валентина Семёновна, мусор не выносят, — Константин сурово смотрит на Лилию Адамовну. — Вам надо — вы и выносите. Вам воняет — ваши проблемы.

— Это у тебя, Костя, проблемы скоро начнутся, — Валентина Семёновна сердится, но сердится максимально вежливо. — Я-то прописана у себя в квартире, а ты-то нет. И Ирка твоя не прописана. Так что у тебя, Костик, проблемы начнутся. Это я тебе обещаю, — Валентина Семёновна выходит из подъезда в состоянии, близком к гипертоническому кризу.

Лилия Адамовна и Константин медленно, смакуя, доедают остывшую картошку.

Доев, Константин пытается поговорить с тещей о прописке, но Лилия Адамовна делает вид, будто не слышит, переводит тему на регистрацию брака, его и Иркиного брака, который по сей день остаётся незарегистрированным, а посему Ирка не может получать с Константина алиментов на Оксанку.

— Лилия Адамовна, — слабо возражает Константин, — да какие же алименты, если я не работаю?.. А не работаю потому, что без прописки на работу не берут. И не распишут нас с Ирккой, если прописки нет.

— Ну, ты, Костя,— Лилия Адамовна — женщина умная, возможно, даже мудрая, из любого положения выход найдёт,— ты, Костя, в общежитии пропишись. Сходи в общежитие, поговори с кем надо и пропишись. А мне как быть? Я вот тебя пропишу, а потом без квартиры останусь. И Ирка, и Галька, и Оксанка без квартиры останутся. На улице. Ты же, Костя, хороший, конечно, парень, но уголовник. Уголовник! — Лилия Адамовна отчётливо проговаривает каждый звук в слове «уголовник» и смотрит на Константина сурово, со значением, как бы открывая перед ним не то ящик Пандоры, не то какую другую тайну мироздания.

Тайна эта, известная теперь им двоим, весомо плывёт по кухне — от плиты до раковины, от раковины к шкафчику, затем тайна проделывает обратный путь и удивлённо замирает у рта Константина.

— Лилия Адамовна, так я же того,— Константин смущённо трёт левый висок правой рукой,— я же не за людоедство... — разворачивается раздосадованно, опускает голову, идёт в комнату, делает телевизор громче.

— А хоть и не за людоедство — уголовник ты и есть уголовник,— Лилия Адамовна повышает шёпот, который становится почти голосом, но только почти.

Константин, свободный человек тридцати двух лет от роду, законопослушный гражданин, выпивал с приятелем Александром, тоже законопослушным гражданином, пиво. Вечер был летний, ничем не примечательный. Когда пиво в молодых организмах поднялось выше ватерлинии этики и морали, законопослушные граждане решили пройтись по берегу речки Мельничной под окнами общежития педучилища, в народе называемого «курятником», прогуляться с целью знакомства с прекрасными дамами, будущими преподавателями начальной школы. Заправив клетчатые рубахи в спортивные штаны, горделиво расправив плечи, Александр с Константином прохаживались под окнами общежития и обсуждали вопросы высокого порядка. И всё бы хорошо, но прекрасные дамы, будущие преподаватели, ещё не вернулись с летних каникул и были раздислоцированы по деревням района, ели домашнее, помогали родителям на огородах и занимались невесть чем. Раздосадованный Александр, поняв, что приятное завершение вечера возможно только в начале сентября, сказал:

— Вот куры.

— Куры,— подтвердил Константин.

Куры бабы Любы, только что посмотревшей программу «Время» и сладко задремавшей под ватным одеялом, её несущки, не ожидавшие от жизни ничего, кроме счастья, вострепнулись в курятнике за тонкой дощатой стенкой, которая выходила аккуратно на улицу Фефелова, по пути следования разочарованных кавалеров.

«Квота-квота-квота»,— произнесла одна из них.

«Куда-то, куд-куда»,— тревожно подхватили остальные.
— Куры,— несколько удивлённо сказал Александр.

— Вот куры,— сказал Константин.

Переглянувшись, приятели аккуратно отогнули два гвоздя на задней стенке курятника, отодвинули широкую серую доску и по очереди проникли внутрь. Куры, поднявшие гвалт, попытались спрятаться, трепыхались, хором задавались вопросом «куда». Схватив одну из птиц, белую немолодую Катю, Константин покинул курятник тем же путём, что и проник туда. Александр, наскоро приладив отчуждённую доску на место, проследовал за ним.

— Съедем. Бошку отрубим, ощипаем, выпотрошим, суп сварим,— сказал Александр.

— Съедем,— подтвердил Константин.

Принесли курицу в рабочую общагу, где на тот момент и проживали.

Александр достал из-за двери топор, протянул Константину:

— Руби голову, а я ощипаю.

— Сам и руби,— сказал Константин, минут пять намечавшийся топором на куриную шею.

— Чё ты как не пацан?— Александр нахмурился, занёс топор над курицей.

Курица издала жалобный звук и торжественно полупотеряла сознание.

Приятели решили сходить ещё за пивом, а также за вермишелью, чтобы было чем заправлять суп. Катю, пребывающую в состоянии стресса, закрыли в комнате.

Вернулись, поставили кипятить воду; когда вода закипела, посолили, закинули вермишель в воду. Катя, склевав полбулки хлеба, раскрошенных специально для неё, сидела под кроватью и не кудахтала. Но возилась.

Повязали Александра и Константина в тот момент, когда они открыли вторую двухлитровку.

Нет, не хотела Лилия Адамовна уголовного прописывать.

Весна между тем набирала обороты, и, озабоченная состоянием огорода, Лилия Адамовна, надев старую курточку, вышла из дома для осмотра своего земельного участка. Надежда Филипповна стояла у калитки и гладила свою кошку, недавно стерилизованную, вынесенную на улицу с целью получения впечатлений и порции свежего воздуха. Анна, стоя рядом с дождевой бочкой, прикидывала, куда лучше посадить настурции. Анна не обратила никакого внимания на Лилию Адамовну, политика игнорирования — лучшая политика, Лилия Адамовна вечно говорит ерунду, а ерунда не стоит того, чтобы тратить на неё время. — Здравствуйте, Надежда Филипповна,— робко сказала Лилия Адамовна.

— Здравствуй, Лиля, — ответила художница и с любопытством, с очень хорошо скрытым, но всё же любопытством, посмотрела на соседку. — Как твои дела?

Обрадовавшись вниманию, Лилия Адамовна возвестила:

— Тепло, лето скоро. А у нас всё кончилось: и свёкла, и морковь, и картошка. А денег нет: Ирка в декрете, Галька не работает, а Костик устроится скоро, устроится. Но у нас есть что есть — нам Сивачихи сын картошки мешок подарил, представляете, Надежда Филипповна, целый мешок, бесплатно! Подарил! Мелковатая картошка, но ничего. Представляете, Надежда Филипповна, — Лилия Адамовна скосила глаз в сторону Анны и, прибавив громкости, чтобы Анна непременно услышала, закончила свою речь, — а я картошки начистила, отварила, помяла, и мы толчёнки наелись, от пуза! Толчёнки!

Надежда Филипповна почесала кошку за ухом, погладила задумчиво и направилась домой — кормить животное специальным кормом для кастратов.

Анна расчистила клумбочку, на которой скоро должны взойти лилии, и тоже пошла домой.

— Софья, ты представляешь — Ванька Сивачихин дебилкам куль картошки отдал. А Лилька теперь ходит и всем хвастается, что они толчёнки наелись вдоволь. Нет, ты представляешь, как они живут, если для них это — событие!

Софья в телефоне задумалась:

— А почему бы им работать не пойти?

— Да потому что не любят они, не хотят работать, — Анна каждый раз, когда речь заходит о дебилках, рассказывает эту новость, — потому что на Лилькину пенсию живут и на пособие детское, им, наверное, хватает. — Ой, мама, ну чего ты считаешь? Как хотят, так пускай и живут, — Софье не слишком интересны дебилки. — Ты-то что делала сегодня?

Анна сегодня много чего делала. Ходила в магазин, расчищала лилии, замёрзла. Винегрет сделала, часть Валентине Семёновне отнесла — винегрета никогда мало не бывает, отнесла, пока свежий, чаю с ней попила — та булки стряпала, а сын Валентины Семёновны, Игорь, опять дверью громко хлопнул, когда пришёл, и они ругались, Анна всегда слышит, как они ругаются словами нехорошими. Слышит, хотя уходит специально в дальнюю комнату, когда они за стенкой ругаться начинают. Но Лилия Адамовна со своей картошкой — это что-то с чем-то. Анна бы им и помогла, у неё овощи остались, и огурцы солёные остались, но они же мусор в подъезд постоянно выставляют, и воняет этим мусором на весь подъезд, а если им что-то сказать — они агрессивные становятся. Анна как-то сделала замечание, а Ирка кучу навалила на лестничной площадке — из мести. Куча лежала неделю, Валентина Семёновна не выдержала — убрала кучу. Так что не будет Анна им помогать, пусть работают идут. А Егорка у Ковалёвых такой

хулиганистый, такой хулиганистый, но умненький. А завтра надо на рынок — там нерусские ей всегда скидку на фрукты делают, а фрукты у них хорошие, потому что гибкая система скидок, и раскупают быстрее. Вот у русской в магазине Анна фрукты покупать не станет — они там всегда залеживаются. Потому что дорого. А ещё они с Валентиной Семёновной и с Надей в баню в субботу собираются, а потом Валентина Семёновна с Надей пиво пить будут, а Анна с ними просто посидит — пиво невкусное, она вообще не понимает, как его люди пьют. — А в прошлую субботу, — продолжает Анна рассказывать о том, что она делала сегодня утром, — в прошлую субботу мы пошли в баню. Светка там Осинцева была, Сухаревы мать с дочерью, Ольга Ворсина — очереди не было, но народ был... И захожу я в парную, а там женщина присела на полку на корточки и делает свои дела, небольшие дела, и смотрит себе на ноги удивлённо. Другие женщины её стыдить стали, вытолкать из парной хотели, а она нездоровая психически, на учёте состоит. Ну я им и сказала: не кричите на неё, пойдёмте выйдем, потом зайдём. Она на учёте состоит, не надо на неё кричать. Ну, вышли мы, дождались, пока та женщина выйдет, уборщицу позвали, уборщица помыла, мы зашли, парились.

— Фу, — Софья морщит нос по телефону.

— Почему люди такие агрессивные? Всегда ведь можно и понять, и в положение войти, — продолжает Анна. — А женщина та, Морщинская её фамилия, раньше очень красивая была, блондиночка, кудрявая, фигурка точёная, как статуэтка. И семья у неё была, и дочка её сейчас на рынке одеждой торгует. И влюбилась Морщинская в лётчика. А лётчик попользовался и бросил её — она бегать за ним начала, караулила везде, громкая история была, больше двадцати лет прошло уже. Проходу она ему не давала. Он так и не женился на ней, уехал в Краснодар, родственники у него в Краснодаре. Она тогда умом и тронулась. В психиатрии лежала почти год, потом выпустили её, вахтёршей в порт на проходную взяли из жалости. Так она на проходной и ждала своего лётчика до пенсии.

Договорив, Анна вспомнила, что надо бы сходить в гараж, посмотреть, как там велосипед. Лето скоро, а бока её округлились за зиму немислимо.

После того как Анна попросила Светку, новую жиличку из первого подъезда, не ставить свою машину перед её гаражом, Светка перестала это делать, но всякий раз норовила захватить часть Анниной территории, перегородив Анне проход к гаражу. Светка делала это специально, чтобы показать Анне, что она тоже хозяйка, хотя она всего-навсего арендует квартиру, к которой не прилагаются ни гараж, ни парковочное место. Серёга, добивавшийся Светкиной любви, курсировавший периодически от неприступной Светки до всемогущей и всевидящей Сивачихи и обратно, стоял под Светкиным окошком

и настойчиво барабанил в стекло. Барабанил минут уже пятнадцать, но Светка не хотела ни смотреть на него, ни тем более впускать в квартиру. Светка никоим образом не желала обозначать своего присутствия ни в квартире, ни в восемнадцатом доме, ни на улице Иоффе, ни вообще на планете Земля. Сивачиха, которой надоело наблюдать за стучащим Серёгой, вышла во двор и направилась к огородной калитке. Увидев её, Серёга, подобно радостному Шарикуну, метнулся к ней. — Баба Феня, — Серёга переминается с ноги на ногу, — мне надо с вами поговорить, — лицо у Серёги красное, волосы прилипли ко лбу. — Светка не открывает, видеть, говорит, меня не хочет, никакой возможности не даёт, ни единого шанса. Не любит, говорит.

Сивачиха медленно движется в сторону огорода, Серёга и не замечает, как штыковая лопата оказывается в его крепких руках.

— Здесь пять грядок, — улыбается Сивачиха самой обаятельной из своих ведьмовских улыбок, — под картошку немного, под цветы вон там, у забора, и парник. Как перекопаешь всё, так и поговорим. Только хорошо копай, на полный штык.

Сивачиха неспешно подходит к Анне, которая нашла велосипед на месте, в рабочем состоянии, вышла из гаража и закрыла его на ключ. — Тебе надо вскопать? — смеётся Сивачиха.

— Не надо, — улыбается Анна в ответ. — Сын приедет на неделе, сделает всё. И в этом огороде, и в том, в дальнем.

— Ну и хорошо, — Сивачиха приостанавливается. — А мой сын старый уже, не может в этом году копать, а я так думаю — не хочет. А Серёжа и может, и хочет, — молодо рассмеялась Сивачиха и неспешно пошла домой, и маленькая птичка с неизвестным названием запела на берёзе, когда Федосья Захаровна Сивкова закрыла за собой дверь.

Поговаривали, что Сивачихе больше ста лет, но ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию никто во дворе не мог: в поликлинику Сивачиха не ходила никогда, медицинской карты там у неё не было, а специально интересоваться в пенсионном фонде годом рождения соседки было бы не вполне прилично.

Сивачиха появилась в райцентре после войны, до пенсии работала в чертёжном бюро, оттуда на пенсию и вышла, но было это задолго до рождения многих жителей городка. Большинству людей казалось, что Сивачиха всегда занималась травами, правила головы, прикусывала грыжи младенцам, лечила испуг, снимала слез, а также привораживала, но это неточно.

Глава 4

ТРАВЫ, ПЕРЕКУПЩИК И ПРОЧАЯ ДРЕБЕДЕНЬ

В июле Сивачиха пропала. Говорили, что она ушла, как обычно, в лес за травами. Ушла и не вернулась. Искали её с собаками, но ни

Сивачихи, ни тела её, ни философского камня, предположение о котором выдвинула Лилия Адамовна, сказав, что Сивачиха, подобно Гарри Поттеру, искала в этот раз именно его, не нашли. Сивачихе не было ста лет. Ей в ноябре исполнилось бы сто, если бы она не пошла за папоротником за этим. И на кой он ей сдался, говорили женщины. Приехали сын с внуком, окучили картошку Сивачихину, а квартиру её продавать не стали, и в аренду сдавать не стали — правнук её осенью планировал свадьбу, и квартира бабы Фени пришлась очень кстати. Квартиру всё равно невозможно продать, Сивачиха пропала без вести, продавать квартиру можно только через семь лет, но они и не планировали.

— Анна Павловна, — Егорка стоит между разноцветными лилиями и котом, который ходит пакостить в огород с нечётной стороны, но сейчас сидит тихо, внимательно прислушавшись, — Анна Павловна, а куда баба Феня пропала? Она же живая, раз её не нашли?

— Наверное живая, — Анна срезает лилию себе для букета, бордовую, цветы её огромны, нераскрывшиеся бутоны обещают быть ещё большими цветами.

— А где она там живёт?

Егорке интересно, где теперь живёт Сивачиха; она и в квартире-то когда жила, ему было интересно как. Когда дверь её квартиры приоткрывалась, впуская или выпуская очередного посетителя, Егорка, если шёл мимо, всегда старался проникнуть за порог краем глаза, но видел только краешек жёлтой плюшевой шторы, а пахло из квартиры, когда открывалась дверь, сухой душицей, смородиной и ещё чем-то непонятным, но невероятно интересным.

— Анна Павловна, — Егорка прибавил звук чтобы привлечь внимание Анны, которая срезала оранжевую уже лилию в тёмных крапинах, — а она, наверное, за воздух перешагнула, и там у неё теперь дом, за воздухом. Вот мы идём по лесу, грибы собираем, и проходим через поляну, а на самом деле проходим через дом через её. И огород у неё там есть, такой как здесь.

Анна любит букетом из трёх лилий — бордовой, оранжевой и жёлтой.

— Да, Егорка, теперь у неё дом из воздуха. И огород.

Анна идёт с лилиями по двору, идёт медленно, букет большой, Анна небольшая, эффектно идёт Анна по двору, а Настя Ковалёва, мама Егоркина, коляску катит ей навстречу, а в коляске Ульяна, сестра Егоркина. Спит.

Ульяна-то спит, а вот Марья Ивановна Трунова не дремлет — в окно второго этажа приглядывает за Иваном Фёдоровичем, который приехал из магазина. Вот ведь загадка: Марья Ивановна и Иван Фёдорович уже лет двадцать как в разных комнатах спят, еду готовят каждый себе отдельно. Но не разводятся.

Приехал Иван Фёдорович не один, на переднем сиденье его «шестьёрки» сидит Самсонов, перекупщик. Самсонов живёт тем, что скупает у людей предметы старины и перепродает их дороже на разных сетевых аукционах. Анна терпеть не может Самсонова — Самсонов конкурирует с ней на раскопках. Когда снесли старое здание музея, все, у кого есть задатки археологов, стали рыть там, где стояло здание. Находили фрагменты цветной мозаики, трёхсотлетние черепки, бусины стеклярусные и, самое ценное, старинные монеты — екатерининские, павловские, обоих Николаев и сибирские. А ещё ногаты серебряные, пробитые и не пробитые. Так вот Самсонов этот всегда приходит после того, как кто-то из копателей разрыл себе место, углубил его и планирует копать дальше, но не сегодня. А Самсонов приходит именно сегодня, роет по разрытому и обязательно что-то находит на разработанной другими территории. История эта повторяется из года в год весной, когда оттаивает почва на месте старого музея, построенного в давние времена там, где была главная базарная площадь уездного города.

У Ивана Фёдоровича есть что предложить Самсонову. Иван Фёдорович подымается в свою квартиру, достаёт из серванта фарфоровую балерину, маленького лебедя, которую им с Марьей Ивановной подарили на свадьбу, вытирает с неё пыль и выносит во двор. Самсонов, затушив окурок у палисадника Галины Михайловны носком ботинка, берёт статуэтку в руки.

Скол на одном из пуантов, на правом. Бисквитная, бывшая когда-то воздушной, пачка пошла мелкими трещинами. Кисть руки, в танце воздетая над головой маленького лебедя, отколота и приклеена к запястью.

— Ты в уме ли, дед? — Самсонов хохочет, точнее, жёлтые зубы его хохочут, глаза же и щёки выражают раздражение и сожаление о потерянном времени. — Сколько ты хочешь за неё? — издеваясь, спрашивает Самсонов и сам себе отвечает: — Она битая, она ничего не стоит. Вот хитрый дед — по-лёгкому денег срубить захотел, — хохочет Самсонов, а щёки его не перестают сожалеть.

Иван Фёдорович недоуменно смотрит то на балерину, то на Самсонова.

— К-как это — ничего не стоит? — Ивану Фёдоровичу неловко. — Нам же её на свадьбу подарили... Антиквариат...

... Хрупкая девушка Маша тащит вверх по лестнице мешок картошки. Механический завод всегда был в здании, оставшемся от Свято-Воскресенского монастыря. Столовая мехзавода находится на месте трапезной, на первом этаже, а вот кладовая, куда Маше необходимо доставить мешок картошки, временно, на период ремонта, оказалась на втором этаже, там, где раньше были кельи. Маша — работник столовой, её задача — доставить картошку на второй этаж.

— Давай помогу, — Иван, водитель, берёт у Маши мешок. — Пять минут — и готово.

Маша неловко улыбается.

Свадьбу сыграли тут же, в заводской столовой, через три месяца.

Иван Фёдорович аккуратно забирает балерину у Самсонова. Балерина действительно вся в сколах и трещинах. Тёплый воздух, поднимаясь от палисадника Галины Михайловны, закручиваясь в стволах берёз, колеблет их листья, потоком собирается между ладоней Ивана Фёдоровича. Поток становится гуще, гуще, гуще, обтекает балерину со всех сторон, шарообразно.

Балерина, висящая в воздушном шаре между ладоней Ивана Фёдоровича, делает па, потом ещё одно, раскручивается в танце, и по мере того, как она танцует, исчезает скол правой пуанты, трещины на пачке становятся малозаметными, затем и вовсе невидимыми, и пачка, бисквитная, воздушная, кружится в такт движению маленького лебеда. Кисть руки, воздетая над головой балерины в танце, трепещет, танцует, шрам на месте склейки затягивается, покрывается свежей глазурью, от шрама не остаётся и воспоминания.

Балерина кружится в танце. Когда танец заканчивается, Иван Фёдорович осторожно берёт статуэтку из воздушного шара.

— Ничего не стоит? — возмущённо смотрит Иван Фёдорович на Самсонова. — Ничего не стоит?.. Нам её на свадьбу подарили. Как это — ничего не стоит?..

— Ты чё, дед? — Самсонов смотрит на Ивана Фёдоровича. — Ты чё, дед? Я ж вроде трезвый, — испуганный Самсонов делает пару шагов в сторону.

Иван Фёдорович подымается на второй этаж, заходит в квартиру, ставит балерину обратно в сервант.

Самсонов быстрым шагом уходит прочь со двора.

Егорка носится за Санькой, который носится за котом, который приходит пакостить с нечётной стороны. Приманив диверсанта на «кис-кис», мальчишки тащат его на нечётную сторону.

Анна, поставив цветы в тяжёлую хрустальную вазу, которую им с Марком подарили на свадьбу, переодевается, идёт в гараж, выгоняет велосипед, едет кататься.

Валентина Семёновна с Лёвушкой, которого Валентина Семёновна завела по весне для огородных работ и прочих насущных дел, попадают ей навстречу. Лёвушка ведёт Валентину Семёновну под руку. Она хотела взять его домой и жить с ним, но в процессе эксплуатации Лёвушки выяснилось, что он эпилептик, теперь ему можно только в гости. Для огородных работ и прочих насущных дел. Жить с Лёвушкой Валентина Семёновна боится — и правильно. Пусть у себя

живёт, а к ней в гости приходит. Лёвушка возражений не имеет, но не упускает случая показаться с дамой сердца на людях.

И правильно, думает Анна, зачем ей эпилептик? Что она с ним делать будет, не дай Бог что?

Завтра у Анны вечер встречи с одноклассниками, ежегодный. Платье отглаженное висит в шифоньере, платье в горох, с белым воротничком, по фигуре. Туфли на высоких каблуках, начищенные, стоят в коробке, ожидая праздника.

Кроме Анны, в кафе «Сказка» на каблуках пришла только Светка Глазкова. Но все женщины выглядят хорошо, нарядные. Фигуры у всех не очень, только у Анны фигура идеальная практически. Мужчин мало: кто по другим городам, кого и вовсе нет. Борис Фёдоров приехал на вечер специально из Москвы. Борис при должности, у него дорогой костюм и часы как космический корабль. Светка Глазкова и Зинка Булкина танцуют с ним весь вечер, а когда вечер заканчивается, Зинка требует продолжения банкета:

— А пойдёмте на набережную? Шампанского возьмём — и на набережную!

Светка Глазкова соглашается, женщины поворачивают красиво уложенные головы в сторону Бориса.

— Наверное, надо проводить до дома Анну, — подумав, говорит Борис. — Не надо меня провожать, — улыбается Анна, — я знаю, как дом найти.

Пропустив реплику Анны мимо ушей, Борис настаивает на том, что Анна нуждается в сопровождении.

— Да, да, — наперебой щебечут Светка и Зинка, — надо проводить, надо! Сейчас Анну проводим и продолжим!

— Девочки, — Борис выдерживает паузу, — милые девочки! Вам не надо так далеко идти. Сейчас купим вам бутылку шампанского, вы пойдёте на набережную, а я Анну провожу и вернусь.

Девочки, недоверчиво переглянувшись, соглашаются.

— Анна, вот ты всегда себе на уме была, — Зинка старается не выдать недоумения, но недоумение врывается в её интонацию стихийно, как прохладный ветер со стороны реки врывается на улицу Ленина приятным летним вечером.

Анна пожимает плечами, «пока-пока» говорит Анна девочкам, и каблуки её выстукивают фокстрот по асфальтовому покрытию тротуара на улице Ленина. Борис следует за Анной, едва успевая. Борис говорит о том, что алкоголь вреден, рассказывает о том, что внучка поступила в МГИМО сама, и учится самостоятельно, хорошо учится. Несмотря на то что беременна, несмотря на то что скоро он, Борис, станет прадедом.

«Прадедом, — смеётся про себя Анна, — сомнительная тема, когда женщину провожаешь», — смеётся Анна, а вслух произносит:

— Прадедом — это хорошо. Ну вот мы и пришли.

— На кофе пригласишь? — Борис смотрит на Анну с оптимизмом.
— Нет, — смеётся Анна, — поздно уже, мне мама не разрешает, — смеётся Анна, — мне вставать завтра рано. К тому же тебя девочки ждут на набережной, забыл? — Анна делает акцент на слове «девочки».

Девочки нетерпеливо наблюдают на углу Бабкина и Иоффе. Борис нехотя прощается и идёт на продолжение банкета.

Глава 5

ТУРЦИЯ И МОНАХИ

Ни одна осень не бывает похожей на другую, ни одно лето, ни одна весна, ни одна зима. Чтобы Анна не скучала зимой, дети ежегодно покупают ей туры — то в Китай, то в Тай, то в Турцию. Анна может купить тур и сама, но в этот раз платит сын. Едут вдвоём с Валентиной Семёновной. Анне интересны руины храма Артемиды, Анна едет на экскурсию туда. Жаль, что раскопки здесь вести частным лицам нельзя, Анна бы точно выкопала античную монету.

— Ой, старье какое-то, развалины какие-то, — говорит Валентина Семёновна и едет на большой базар, там вещи — юбки, платья.

Но цель Валентины Семёновны — кожаная куртка, настоящая, турецкая, недорого.

Анна тоже идёт на базар, ей необходимо привезти детям сувениры, она покупает расписную пиалу у пожилого торговца и покупает статуэтку — турка, который молится Аллаху, покупает для дочери — дочь любит фарфор, у неё коллекция. Анна улыбается пожилому подвижному мужчине, мужчина на смеси русского и английского предлагает ей скидку в обмен на поцелуй. Торговец показывает на щёку — поцелуй за скидку предполагается в щёку, Анна соглашается, подставляет щёку, и мягкие губы пожилого торговца касаются её щеки. Анна забирает товар и идёт в отель.

Анна и Валентина Семёновна фотографируют друг друга, выкладывают фотографии в «Одноклассниках». Анна может себе позволить сфотографироваться на пляже — не зря на велосипеде всё лето гоняет. Пляжные фото производят фурор.

Загорелые, женщины возвращаются домой, на улицу Иоффе.

Дебилки убирают снег как попало, Лилия Адамовна недовольна тем, что ей приходится убирать снег три дежурства подряд. Тишайшая бабка из квартиры, в которой до неё жила Хочу Всё Знать, собралась помирать и в связи с этим снег убирать отказывается. Хотя к ней ходят и дети, и какие-то ещё родственники. Ходят, топчут, а значит, снег она убирать должна в свою очередь, и никого не волнует, куда она там собралась. Так Лилия Адамовна говорит, а шестилетняя

Оксанка, вышедшая помогать бабушке убирать снег, задрав голову, смотрит то на окна Анны, то на окна Шмуней, то на окна художницы, которая, живя на первом этаже, не имеет привычки закрывать шторы, и кошка её сидит на окне, отражаясь и со стороны квартиры, и с улицы, и множество её отражений в двойном стекле привлекают внимание маленькой Оксанки.

Егорка, увидев в окно Анну, одевается, выходит на улицу и терпеливо ждёт, когда Анна позовёт его к себе для вручения магнита. Из всех поездок Анна привозит Егорке магниты.

— Через час зайди, — улыбается Анна Егорке.

Десятилетний Егорка проверяет, на месте ли Шарик, идёт до церкви, потом до аптеки, потом до магазина, возвращается во двор. Час тянется невероятно долго, но Егорка дожидается, пока пройдёт этот час. Когда час проходит, Егорка заходит в подъезд, поднимается на второй этаж и звонит в дверь Анны.

Магнит в этот раз из Аланьи. Егорка пьёт чай, Анна рассказывает ему про Турцию, про то, что если бы там можно было копать, она обязательно привезла бы античную монету.

— А я фильм видел, там человек нашёл монету, а она, оказалось, принадлежала одному монаху, потом дух монаха ходил за этим человеком и требовал назад свою монету. Анна Павловна, вы думаете, дух монаха может требовать монету?

Анна задумалась. Её племянники Андрюша и Студент лет тридцать назад работали кочегарами в центральной котельной города. И вышел у них случай как-то.

— Ну, слушай, Егорка, — Анна решила рассказать Егорке, как всё было. — Андрюша и Студент, племянники мои, двадцать, а может, тридцать лет назад работали в кочегарке. Кочегарка тогда располагалась в полуразрушенной церкви, в Богоявленском храме. Храм старинный, с историей. Художники, поднимаясь на колокольню храма, писали виды города, но это летом, а зимой в храме кочегарили Андрюша со Студентом. Морозы тогда были значительно более трескучими, нежели сейчас: весь декабрь — ниже тридцати точно, бывало ниже пятидесяти, сорок — вообще не диковинка. Январь — потепление, ниже тридцати не опускался столбик термометра, а февраль — как декабрь. Ни Андрюша, ни Студент не были суеверны, никогда. Но история храма столь печальна, что не проникнуться невозможно: советская власть зверски убила священников, которые служили в храме, их убивали ужасно, вместе с семьями. У них не было ни возможности бежать, ни возможности сопротивляться. Об этом есть материалы в нашем музее. Андрюша не пил — не любил это дело. Но к Студенту пришёл Лось, и они в поросюшку употребили «Рояль», был такой спирт в продаже. Студент был на тот момент уже женатым человеком. Я иногда заходила навестить племянников. Когда в тот

вечер я увидела Студента пьяным, рассердилась сильно. Лось уже спал в комнате отдыха. Я сказала: «Вот вы пьёте тут, а душам священников это неприятно. Они погибли не за то, чтобы вы пили». Студент недовольно буркнул что-то себе под нос, налил, выпил. Меня поддержал Андрюша: «Да, — сказал он, — и души монахов явятся и накажут тех, кто в храме пьёт». Ну и стали рассказывать разные истории о том, как души наказывали пьяниц. Обменивались историями примерно час, а после истории с девушкой, которая не могла остановиться, танцую с иконой святого Николая, вытолкали несколько уже отрезвевшего Студента из алтарного помещения, отгороженного от приделов тонкой стенкой, в приделы, загружать уголь в топку — была его очередь. Вернулся Студент быстро и бледный. Минут пять его трясло, он не мог сказать ни слова — и так слегка заикается, а тут вообще: «Брдбдр», — и всё. Когда смог говорить, поведал: «Выхожу, нагребая тележку, а сзади — подходит, руку на плечо кладёт, я оборачиваюсь, а там глаза. Белые, страшные, огромные. Глаза-а-а-а!!!! И говорит мне: друг, дай закурить!!! Это монахи, души их!!! Глаза!!! Из темноты!!! Пить больше не буду!!! Клянусь, пить не буду!!!» Мы с Андрюшей переглянулись. Страшно, но идти надо смотреть. И уголь загружать, мороз — сорок на улице, не загрузить уголь — город заморозить. Выходим, трясясь, из алтаря, на цыпочках идём к печи. Из темноты появляются глаза. Белые. Большие. Следом за глазами прорисовывается едва различимый силуэт. Силуэт движется к нам. Силуэт произносит: «Ребята, не гоните меня, холодно на улице, у меня своё всё, папироской только угостите!» А это бомжик был, Равилька, по фамилии Худайбердин, с начала зимы тихонько жил в кочегарке. Поскольку кочегарка не закрывалась, днём он выходил добывать себе пропитание и окурки, вечером, перед пересменком, пока никто не видит, гнездовался в тепле, между печью и огромной кучей угля. Когда мороз стал несовместимым с выходом наружу, Равилька решил обратиться за помощью к работникам кочегарки. От тесного контакта с углём Равилька стал лицом чёрен, но душой остался добр. Подкармливали его до весны, весной он сделал документы и уехал в деревню, он оттуда к нам в город приехал мир покорять.

Егорка заворожённо слушал.

— Ну вот — целый храм отобрали у монахов, а отделались лёгким испугом, — сделал вывод Егорка. — Но могли и не отделаться, — подытожил деловито.

И пошёл Егорка, грея магнит с Аланьей в кармане, по своим делам, в стужу, пошёл в снег, прозрачно мерцающий в свете уличного фонаря.

А тихая бабка на первом этаже помирать собиралась, да никак собраться не могла. Сима её звали. Помирать вроде и надо, но страшно.

И вот взялась она не помирать — то до обеда доживу, думает, то расцвет увидеть, думает, хочу, то думает, что вечером помирать удобнее. Неделю не помирает, вторую не помирает, всё думает. То у неё два на ниточке, то два на волосиночке, а волосиночка висит и обрываться не желает. Извелась баба Сима: и страшно, и надо, и снова боязно. Две недели родственники прощаться приходили, устали уже. А в субботу к ней женщина пришла. Красивая, лет сорока женщина. Поздоровалась со всеми во дворе, кого увидела, в квартиру бабы-Симину постучала, баба Сима открыла ей. Говорили о чём-то долго, потом женщина в таз воды налила тёплой, пыль сначала вытерла с комода, потом полы вымыла, тряпку выполоסקала чисто, сушиться на батарею повесила и ушла. Родственники, когда в воскресенье пришли, нашли бабу Симу без дыхания, будто бы спала баба Сима спокойно в своей кровати, только без дыхания.

Во дворе никак не могли вспомнить, на кого похожа та женщина незнакомая, но на кого-то она была точно похожа.

А Галина Михайловна сказала:

— Это Сивачиха. Точно Сивачиха. Я когда маленькая была, она вот такая и была, как приходила. Я точно помню её. Это она была, только моложе. Она, когда потерялась, снилась мне. Вот такая, как приходила.

Глава 6

ДЕТИ, КОТОРЫХ НАХОДЯТ В КАПУСТЕ

Анна выгнала велосипед из гаража. Заднее колесо сдулось. Не так-то просто накачать колесо, когда тебе глубоко за девяносто, но Анна старается, качает. Ивана Фёдоровича давно уже нет, и Марьи Ивановны нет.

Анна вспоминает, как Иван Фёдорович подошёл и сказал: «Давай, это дело пяти минут».

Ворота соседнего гаража открываются, из гаража выезжает белая «шестёрка». Иван Фёдорович выходит из машины, закрывает ворота, запирает дверь своего гаража на ключ.

«Давай, Анна, насос. Это дело пяти минут», — говорит Иван Фёдорович. Он есть — велосипедное колесо тугое, Анна садится на велосипед, едет по Иоффе, сворачивает на Бабкина, на Рабочую, едет через стадион «Труд», до тюрьмы и обратно.

Егор Васильевич Ковалёв, человек восьмидесяти пяти лет, хирург на пенсии, опираясь на палочку, неспешным шагом идёт по заснеженной улице Иоффе. Рядом идёт Анна. Тень от пушистого капюшона шубы, которую подарил ей Марк, падает на её лицо. В слабом свете уличного фонаря непонятно, сколько Анне лет.

— Анна Павловна, — Егор Васильевич согревает в кармане пуховика магнит с Аланьей, — Анна Павловна, а правда, что детей в капусте находят? Меня в капусте нашли? Мне мама говорила, что меня в капусте нашли. А я и роды принимал, и кесарево делал, я больше двухсот раз кесарево делал, — никакой капусты не видел ни разу. Анна Павловна, правда, что меня в капусте нашли?

— Правда, Егорка, правда, — улыбается Анна. — Я пошла на базар, купила десять корней. У знакомой женщины. Рыхловатая была капуста, но сочная, а когда заквасилась — хрустела. Я её с тмином квасила. И с морковкой. Так ещё вкуснее. Морковка к тому же цвет даёт. А капуста круглая, Егорка, как Луна, — круглая, белокочанная. Смотри, Егорка, Луна на капусту похожа, — улыбается Анна. — Десять корней я тогда купила.

Анна с Егоркой идут по улице Иоффе. Снег, сгребённый у заборов, мерцает в слабом свете уличных фонарей. Найдёна, большая чёрная собака, подставляя ухо для почёсывания, радостно виляя хвостом, топает рядом с Анной и Егоркой. Густая шерсть её лоснится, переливается, освещаемая Луной.

Сергей Смирнов

Приют охотников

Охотники уже сидели в открытом кузове вездехода ГАЗ-66, дожидаясь запаздывающего егеря Сашку Ныркова, когда медленно и неотвратно повалил снег. Каждую снежинку размером с пятак можно было спокойно рассмотреть в вечерющем воздухе, пока она, покачиваясь, падала к примороженной к ночи земле, а потом лежала на рукаве телогрейки или на брезенте, прикрывающем охотников, искажаясь неуловимо, гася один за другим острые лучики неземного заоблачного света.

Время шло, второй машины всё не было, под брезентом лежали, тихо переговариваясь — звуки были приглушены падающим снегом; только водитель «шишиги» и начальник партии Ластовский, оба топографы, топтались, покуривая, возле кабины, похрустывали настом. За их спинами можно было разглядеть по-весеннему грязную улицу посёлка, по которой должен был приехать Нырков, серые двухэтажные дома и освещённую фигуру вождя с поднятой рукой. Издали казалось, что какой-то полоумный путник стоит у поворота вот уже битых полчаса, голосуя на дороге, которая заканчивалась в темноте за ближайшим фонарным столбом.

Авдюшин, задумавшись, тупо смотрел на эту хорошо знакомую картину, ничего не видя и не понимая, пока до него не дошло, что лежит он в кузове «шишиги», что идёт снег, что наступила наконец весна, что едут они с егерем Сашкой Нырковым на гусей к Лёхе Набатову. А ведь и погоды нет, и чего-то стоим, ждём, и левая нога затекла, а тут всплыла и основная гложущая сознание мысль, что вот этой уже весной нужно уезжать на материк. Не «пора», не «хочется», а «нужно» — и всё.

«Геология давно кончилась, — думал Авдюшин, — народ разъезжается. Сколько можно свиные туши таскать? Не жирно ли будет „Колымторгу“ грузчика с высшим геологическим образованием иметь?! У них, у торгашей, вместо мозгов — грузчики. Это перетащи сюда, а вот это на то место, где до этого лежало вот то. Тьфу... Дома жена пилит и пилит: едем, мало тебе, грузчику, платят, е-дем! Вот когда сам начальником был, никто куском не попрекал. Попробовали бы только. Всё ведь было! А уж сохатина-оленина, рыба там, нельмушка, чир озёрный, муксун, ряпушка, — на столе вместо хлеба. Да и сейчас есть... Ну а главное-то — не жена, не рыба, а вот снег этот последний. Или первый... в сентябре... тихо-тихо так ложится... что слышно, как скрипят по нему заячьи лапы, и вдоль чёрной воды белая полоска... Ну ты и сказал: главное!»

Тут Авдюшин вспомнил Большой остров, на котором они искали касситерит, по полгода не вылезая из снега и холода, и особенно тот сентябрьский закат, багровые отблески на косой поверхности снежника, сдуваемые отчётливо синим ветром. Они стояли тогда втроем, один на один с этим сумасшедшим закатом, до него, казалось, можно легко дотянуться, перешагнуть только забитый льдом пролив, мёрзлую лепёшку Малого острова и проскользнуть дальше по блистающему ледяному уклону моря Лаптевых к нестерпимо горящим холодным облакам. Вспомнил, как нащупал в кармане полевых штанов забытую с материка десятку, вынул её, невесомую, под этот пронизывающий свет и, глядя, как она бьётся на ветру, спросил: «Что они стоят здесь?» И неожиданно осознал, что всегда относил себя к той меньшей части человечества, которая знает ответ на этот вопрос. «Ничего они здесь не стоят». Разжал пальцы и едва успел проследить недолгий кувыркающийся полёт бумажного прямоугольника.

«А ведь если на самом деле отбросить все эти мелочи с работой, с зарплатой этой, с вороватыми торгашками, с тем, что и поговорить-то толком не с кем, заглянуть внутрь, туда, откуда вылезает постоянно чувство это — тоски и беспокойства, то ведь окажется-то... Что окажется, ну? А вот то и окажется, что уезжать не хочется. Не хочет-ся!»

Авдюшин посмотрел в сторону Колымы, закрытой завесой снегопада, и снова увидел голосующего вождя.

«Вот наваждение», — улыбнулся он и шевельнул затёкшей ногой. — Авдей! Кружку давай! Выпьем, иначе он вообще никогда не придет!

Как только Боря Клязьмин расплескал по кружкам американский спирт и поставил на заснеженный брезент котелок с десятком очищенных луковиц, сверху по улице прошёлся жёлтый луч фар, и второй «шишиган» встал рядом с первым.

Виновато улыбающийся Нырков в форменном бушлате, перепоясанном потёртым брезентовым патронташем, с рюкзаком и зачехлённым ружьём под мышкой, крикнув, залез в кузов и, перегнувшись через борт, сказал тонким голосом:

— Однаха, трогаемся.

Все, дружно запрокинув головы, выпили, Боря подхватил котелок и заёрзал, освобождая место Ныркову. Ластовский буркнул:

— Наконец-то, — и забрался в кабину.

«Шишига» рванул с места, буксанув всеми четырьмя колёсами, и пошёл, набирая скорость, вдоль реки, потом, у аэродрома, скатился вниз и в фонтанах смерзающихся брызг выскочил на лёд.

Машину слегка водило на гладком льду, в кузов забрасывало выхлоп, но охотники налили ещё по одной, Ныркову двойную — зимник был уже рядом. Впятером — двух мужиков Авдюшин видел впервые, но понял, что они из местной военной части, связисты, — в кузове было просторно. Снег немного поутих, развиднелся даже противоположный берег — чёрной полоской леса в двух километрах от них.

Зимник шёл посреди реки и зимой выглядел лучше иного шоссе, можно ехать быстро — и сто, и двести, только тормозить на нём нельзя. Сейчас, в мае, снежные брустверы осели, но талице некуда было деваться, истечь, пока не прогрызёт она, не проест двухметровую ледяную броню, и «шишига» шёл по двум чёрным колеям, казавшимся бездонными, пересекая иногда целые озёра воды.

Ластовский часто останавливал машину, заглядывал в кузов и просил налить. Прыщавое узкое лицо его было красным, то ли от спирта, то ли от страха. Он гугниво говорил:

— Фу-у, мужики, дайте перекурить. Я уж и дверку не закрываю, жду: вот сейчас, сейчас... На хрена я с вами связался?! Машина вот казённая. Если что — не расплачусь, — и тут же начинал смеяться, ухая, как филин: — Ну, давай по-топографически: али-да-да, али-нет-нет!

Но пересесть из кабины в кузов никак не хотел — под хмурым колымским небом было совсем не жарко. «Шишига» шёл дальше, словно катер, оставляя позади кильватерный след.

Авдюшина трясло вместе с кузовом, он привычно отрешился от холода и реальности и пьяновато думал о своём.

«Вот Боря Клязьмин. Что ему-то там надо, у Набатика? Гусей, что ли, пострелять больше негде? Хм, может, и негде... Сам-то ты зачем едешь за сто километров? Вот так-то. А у Набатика хороший участок, в лесной зоне, соболя там — хоть... Да и мужик он неплохой, юморной даже... Хотя на первый взгляд и несерьёзный. А что мы, один раз выпивали с ним в посёлке, и всё... А чтоб участок промысловый держать, сколько нужно вложить — и труда, и всего... Крутиться надо, сколько в совхоз сдавать, сколько налево. Бензин купи, запчасти достань, приваду заготовь, собак накорми, дров навози-напили... Ужас! А что Боря Клязьмин?... Пстой, он же в „Малиновой рыбке“ тогда...»

«Рыбкой» называли в посёлке магазин «Рыба». Небольшое, отдельно стоящее над обрывом здание выкупили у пошатнувшегося с перестройкой рыбозавода местные бандиты, или краснянская мафия — по названию порта Красный Яр.

В этом магазине было всё, кроме рыбы. Всё необходимое для северного человека, рыбака, охотника, да любого, кто не хотел ходить пешком на рыбалку и охоту и носить зимой и летом чёрную эковскую телогрейку. А краснянские относили её не по одному году.

На полках возлежали перестроечные символы: японский видеомангитофон, телевизор, видеокамера и — главное — лодочный мотор, сеть-кукла, болотные сапоги и, и, и... Всё в единственном экземпляре, обычный северный советский дефицит.

За прилавком сидел смурной нечёсанный продавец с вечной сигаретой в зубах и смотрел боевики, почти никогда не отрываясь от своего занятия — посетители заходили редко из-за сумасшедших цен. В основном посмотреть на огромный аквариум с живыми золотыми рыбками.

Секрет «Малиновой рыбки» заключался в том, что она работала круглосуточно, а подсобные помещения были забиты палёной водкой. Мужик за прилавком потому и был всегда смурным, что неделями не выходил наружу. Только краснянские и были постоянными покупателями и частенько устраивали там гулянки с музыкой, мордобоем и выпадением из окон.

«Малиновая» — это от слова «малина».

И вот однажды — Авдюшин слышал этот трёп практически из первых уст — краснянские пригласили материковского авторитета посетить забытый Богом и ментами прибрежный край. Перетолковать, понятно, о том о сём, как жить дальше и лучше. Уважение было проставлено, естественно, в «Малиновой рыбке».

Ну, деловой разговор: рыбка такая-сякая, и даже в пресервах, мяско, камушки, бивни, соболя, золотишко, — пошло-поехало! Братва окосела: водка — дармовая, а перспективы — доступные.

«Эх, пацаны! Развернись, судьба, вставлю!»

Давай показывать, на что отмороженные северяне способны. У кого наган гулаговский, у кого китайский ТТ, у кого тесак шириной с весло! Дело среди бела дня было, но стрельба началась как в тёмном Шервудском лесу — пуля в пулю. Народ в посёлке притих, сторонится «Рыбки», и всё тут. А напротив разгулявшейся харчевни, на берегу реки, находилась районная прокуратура. Вот как раз в окно ему, прокурору, пулю спьяну и всадили... А пуля эта была клязьминская...

«Шишига» замедлил ход, а потом совсем остановился. В сером сумраке виднелись снегоход без капота и силуэт человека, который размахивал руками и что-то кричал в их сторону.

— Колька Чижов, однаха. Забирать его нада, — сказал Нырков, как будто мог видеть сквозь брезентовый капюшон, накинутый на голову.

Авдюшин подивился, что Нырков не только узнал человека в темноте по фигуре или по снегоходу, но и точно знает, где этот человек должен находиться двадцать первого мая в одиннадцать часов вечера. Все, кто был в кузове, спрыгнули на лёд, а Колька уже подогнал «Буран» под красные огни «шишиги». Водила тоже помог, и снегоход ласточкой залетел в кузов. Ластовского же, видимо, совсем сморило, он даже и дверку свою прихлопнул.

Поздоровались, снова дёрнули спирта, перекинулись словом, словно мячиком.

Колька Чижов, начальник совхозного пушного цеха, — из ближнего окружения: муж подруги жены Авдюшина. Только Авдюшину до фени были пушные дела, да и скорняцкие, которыми занималась чижовская жена, шила ондатровые «обманки» всему посёлку, — всё-таки детей пятеро! Он к Чижовым и не лез, но общаться было интересно, особенно с Колькой. Чижов был всегда немногословен, невозмутим и независим, пустых разговоров не вёл. Все действия его были уверенны

и красивы: и печёнку жарил, и корову доил, и карабин держал, и кухлянку носил, и даже ходил как-то красиво.

Волевой мужик, одиночка — так о нём уважительно говорили в посёлке.

И ещё Колька разделял всё человечество на тех, с кем он здоровается, а с кем — нет. Но делал он это так естественно и необидно, что те, с кем здоровался, ценили любой знак внимания с его стороны, а с кем — нет, сразу понимали, что он спустился с других, заоблачных высот, и зла на него не держали, как журавль на лебедя, — разные стаи. И язык вроде птичий, да непонятный, и перо как перо, а любая пташка в шляпку бы воткнула.

«Ну и компания собралась, — думал Авдюшин. — Ай да Нырков! Якут-якут, а дело туго знает, организовал же, чёрт. Когда на Омолон ходили, сопровождал же нас до Первого камня, как и договаривались. А мог бы и бросить на полпути — дела, дела. При нём рука стрелять не поднимается, — вот, бляха-муха, государев человек! — а в заповеднике и подавно, даже мысли не пришло, а олень хар-роший был, Омолон переплыл как перешёл, рога метра на полтора тянули, вышел, отряхнулся, оглянулся так лениво, постоял и растаял, только попка белая мелькнула. . . А пожар когда был на том же Омолоне. Медведи от огня все на Колыму пошли. Сколько же их было! Зоопарк! Сашка сам все стойбища, всех рыбаков объехал, нашёл даже на протоках юкагирский пароход „Тэки Одулок“ и тех предупредил, чтоб не стреляли. А ведь у него детей-то шесть-семь, наверное, есть. А зарплата? Во-во, а на этом месте ведь озолотиться можно. А он как ходил в поношенном бушлате, так и ходит. А Колька Чижов — деловой, районное начальство мехами снабжает, сыт-пьян, и нос в табаке, и не подумает никто, что он — романтик и на весеннюю охоту ездит. Ластовский тот же — геодезист, нача-альник, пусть и себе на уме. А Лёха Набатов! Герой-добытчик! А мы с Нырковым что? А мы с ним — одной крови, нищие дети природы, — хохотнул про себя Авдюшин, — тайги и тундры».

И с особой теплотой посмотрел на Ныркова. Наклонившись к Боре Клязьмину, тот щурил узкие глаза, слушая негромкое Борино бормотание.

Меж тем кидало на зимнике уже прилично, а разводья становились всё шире и шире, и Ластовский увёл машину на целину, ближе к берегу. Снег пошёл гуще, береговые тальники с трудом ухватывались светом фароискателя. Возле чахлах кустиков спрыгнули в снег связисты.

— Может, сё-таки с нами? — крикнул Нырков.

— Да у нас всё есть, спасибо, не помёрзнем, — ответили из снега.

— На кой они тебе сдались, эти воины? — сказал Боря.

— Люди, однаха.

Ветер стих, в слабом лунном свете, бьющем через тонкие края облаков, Авдюшин увидел высокий заснеженный берег протоки и неизмерно

длинную избу с тремя маленькими жёлтыми окошками, тени от переплётов, крестами лежавшие на снегу. Контуры остальных строений были тёмными.

— Приехали!

В избе было сильно накурено, дым пластами висел над головами троих сидевших за столом у запотевшего окна: сам Лёха Набатов, его помощник Лёнька с хитрым длинноносым лицом и рябой Семён Васильевич Семёнов в казённых кальсонах и рубахе, начальник районной милиции. Поздоровался с Нырковым и Авдюшиным только Лёха, осторожно оторвав взгляд от засаленных карт, разложенных на клеёнке среди бутылок, стаканов и закуски.

Боря Клязьмин серой тенью промелькнул мимо стола.

Вдоль стены, уходящей в полумрак избы и завешанной залоснившимися телогрейками, по-тюремному, на корточках, сидело несколько человек, пуская к закопчённому потолку струи папиросного дыма. Никто из них не отреагировал на вошедших.

— Вот те на! — сказал вдруг Семёнов. — Никак охотнички! Вы что, не знали, что тут народу полно? Что здесь мы, и ночевать вам негде? Ты откуда, Нырков, свалился, с луны, что ли? Порядков не знаешь?! Или страх потерял?

— Думал, однаха, людей меньше будет, — Нырков стоял перед столом, как провинившийся школьник, теребя в руках шапку. — Нас и всего-то шестеро, по дороге Чижова подобрали, забичевал што-то, да двоих на косе оставили.

Услышав про Чижова, начальник нахмурился, хотел, видно, что-то сразу сказать, и рот уже открыл, но... передумал и бросил карты на стол. — И на чём же вы приехали? — тут же с угрозой спросил Семёнов, увидев проснувшегося в избу Ластовского. — На государственной машине?

Авдюшин отметил про себя, что судьба оставшихся в пурге связистов никак не взволновала сурового начальника, а вот то, что Чижов здесь, Семёнову совсем не понравилось...

— А чек на оплату предъявить можете? — продолжал рябой.

— Какой чек, Василич? Ты чё?..

— Как «чё»? Дело на тебя, Ластовский, завести — как два пальца в рот, понял? Ты знаешь, какие времена нынче? Вот то-то. Кончилась колымская вольница.

Нырков вскинул голову и сказал:

— Ну, што глядите? Айда в машину, щас выйду.

Ластовский выскочил первым, Авдюшин за ним.

— Вот попали, как сердце чувствовало, — заныл топограф.

— Да уж, гостеприимством здесь что-то не пахнет. А что это за мужики под вешалкой?

— Батраки. Не знал, что ли? Помнишь, Вовка Мартын, охотник с Анюйского тракта, кореш чижовский, утонул на Большой тонé, жена, двое детей? Там в живых один только бич остался, Лёнька этот носатый.

Представляешь, полчаса его по реке носило на куртке болоньевой, пока катер не подобрал. Тёмная история.

— Река плохих не забирает. . . Ещё бы мне Мартынова не помнить!

Авдюшин тогда, в июле, избородил с эхолотом всю Большую тону. Мартыновский «Прогресс» так и не нашли. Подняли несколько допотопных моторов, две дюральки — чьи они и когда потонули, никто и не помнил.

Мартын всплыл на второй день, заметили с вертолётки белый свитер и синие джинсы. Носатый Лёнька рассказывал, что Мартын нырял за детьми и женой три раза — Колыма его брать не хотела, на третий не вынырнул, решил с ними остаться. . .

А жена Мартына, из местных, из походских, так и ушла вместе с лодкой, не смогла руку разжать — там же дети малые сидели, в рубке. . .

Это особенно потрясло Авдюшина, и он до кровавых мозолей стёр руки о вёсла, перегребая течение Колымы, — так ему нужно было найти утонувший катер и убедиться, что виною гибели всей семьи был неизвестно откуда взявшийся топляк.

Ну не было, не было и не могло быть топляков на Большой тоне! Вся тonya в сетях и неводами пройдена от края и до края!

Хоронили всем посёлком. Родственникам мартыновской жены жалко стало обручального кольца на Вовкином пальце, хотели с распухшей руки снять или палец отрубить. . .

Колька Чижов не дал, не позволил друга позорить, ему и говорить ничего не пришлось, только глянул в их сторону — как выстрелил. Потом поднялся на холмик растаявшей мерзлоты и голову Мартыну разбинтовал, в глаза ему посмотрел. . .

«Что ж вы, люди. . .»

И стояли люди, молчали, смотрели и слушали.

Слёз своих не постеснялся, махнул рукой: «Опускайте! . . .»

На поминки не пришёл.

Катер все рыбаки-охотники хотели найти, не верили, что просто так у него транец оторвало, подпилит кто-то транец-то. . .

Авдюшин посмотрел на всезнающего топографа:

— А Боря что, тоже с ними?

— А то! Бригады-ир. У них, видимо, планёрка сегодня. Сколько чего добыли, кто куда повезёт.

— А этот, мент который?

— Так он же и есть хозяин в посёлке и всея тундры! Он и тут в правах — видишь, как наехал. Чего ему бояться? Но это, знаешь, у кого-нибудь другого спроси. . . я ещё пожить хочу.

Помолчали.

Вышел Нырков, взял рюкзак из кузова и вернулся в избу.

— Смотри, — сказал Ластовский, — у Лёхи рысь живёт ручная, вон там, за баней. Когда чужие приезжают, он её в клетку сажает. Для чужих она дикая и, знаешь, броситься может.

Топограф засмеялся-заухал и опасливо оглянулся в темноту.

...Наконец, собрались все в крохотной набатовской бане, затопили печку, разложили закуску, налили спирта.

Нырков невнятно матюкнулся, что за егерский постой на территории охотника плату стали брать, в данном случае литр спирта. — Эт ещё по-божески... — сказал кто-то из темноты; лампу не зажигали — в окно мертвенным светом свирепо была луна.

— Семён Василич, рябой, так дело поставил, что теперь и охотнику за всё платить надо, — сказал тот же голос, им оказался Колька Чижов, — а с нас — так, вечерок скоротать... С совхоза с пушного тоже крови попил, упырина, план по выделке еле-еле тянем, уже непонятно, на кого работаем — на государство или на отдельно взятую ментуру. — То-то ты ферму себе завёл, — нехорошо прищурившись, вставил Боря Клязьмин. — Две коровы, три козы, гусей целое стадо. Ты с чего завёлся? Тебе с левака мало перепадает или просто... жена не даёт?

Все замерли. В тишине шипела печка, подсвечивая багровым напрягшиеся лица.

— Эй, охотнички, хоп, хоп! — тонко крикнул Нырков.

А ствол карабина уже смотрел на Борю, из темноты донеслось еле слышно: клац-клац-клац.

— Я, Боря, кроме пушнины, ещё и оружейкой командую, у меня осечек не бывает, — Чижов выговаривал слова, покачивая головой, словно проверял угол прицела. — И с Мартыном я ещё не всё понял... Ваших поганых рук дело?

— Мартын! — деланно рассмеялся Клязьмин. — Что тебе Мартын?! Полез куда не надо, вот и...

— А детей зачем?

— Я за чужих детей не в ответе, — показывая зубы, ответил Клязьмин. — А своих у меня нет. И с чего ты решил, что это не случайность, не топляк, а?

— Да хватит вам, мужики, — Ластовский начал размешивать чай, громко стуча ножом по кружке. — Давайте выпьем, на охоту ж приехали!

Колька Чижов демонстративно задвинул карабин за спину и сказал: — У мёртвого Мартына в глазах прочитал.

Авдюшин уже держал бутылку со спиртом в руке, плеснул чуть-чуть Чижову, его и литром с ног не свалишь, а Клязьмину налил полкружки — чтобы забродившая кровь пополам со спиртом выбила дурь и злость из бригадировой головы. А то половина охотничков до утра не доживёт. — Ладно, будем!

...А утром...

Утром словно не было этой тяжкой бесконечной ночи.

Циклон ушёл дальше на север, сгруппировав армады снеговых туч над Холерчинской тундрой. Там, почти в ста километрах, возвышалась исполинская фиолетово-чёрная башня, соединяющая притихшую в ужасе землю с торжествующими небесами. Ослепительное утреннее

солнце подсвечивало клубящиеся лохмотья туч, закручиваемых в гигантскую воронку.

Тысячи птичьих стай, больших и маленьких, разорванных и перемешанных ночным ветром, кружили, метались с безысходным криком вдоль неприступной стены, закрывшей места гнездовых. Горячий весенний свет палил их уставшие головы и крылья, мелькающие белым пунктиром на фоне бушующей черноты.

Зелёный вездеход стоял у траншей полного профиля, выкопанных в снегу армейцами-связистами. Лица их были черны, шапки с кокардами сдвинуты на затылок, светились белые, незагоревшие лбы.

Они были пьяны и улыбались.

Один держал за шею тощую, измождённую тушку журавля со слипшимися перьями и старательно предьявлял её всем, кто, перевесившись через борт, зубоскалил по поводу единственного трофея.

Река искрилась под солнцем последним зимним снегом, накрывшим и зимник, и тальниковые берега, и далёкие чукотские горы. Авдюшин с Нырковым, стоя в кузове, смотрели на север, Коля Чижов красиво ехал на снегоходе, лицо его было по-индейски невозмутимым.

— Авдэй, кружку давай! За первую добычу пить будем! — крикнул из кабины Ластовский.

Но Авдюшину не хотелось ни пить, ни расчехлять ружьё и тем более стрелять: такая навалилась на него весенняя истома, так мощно и ровно грело спину и плечи, — и он, изо всех сил прищурившись, вглядывался, впитывал, втягивал глазами этот всем доступный, открывшийся для всех пейзаж, не понимая, что за слёзы текут из-под сомкнутых век.

Вверху, прямо над его головой, проскрипели три большие усталые птицы: лебедь, гусь и журавль. Они построились клином и тяжело шли в сторону Холёрчи, тоскливо крича каждый на своём языке...

Спустя несколько лет Авдюшин с напарником сплавлялись геологическим маршрутом на моторке вниз по реке к посёлку, до которого оставалось ещё километров триста, и остановились переночевать у заросшего травой зимовья. Утром, путаясь в космах тумана, они собрали палатку, закидали всё в лодку и сели, прикурив на дорожку.

Никто Авдюшина в посёлке не ждал — жена два года как уехала на материк. А его звезда по-прежнему отражалась в колымских плёсах и стремнинах...

По земляным ступеням с крутого берега спустилась маленькая эвенская женщина, одетая в детское пальтишко, застёгнутое на все пуговицы и перетянутое вместо пояса верёвочкой. Шерстяной платок был обмотан вокруг головы. Она вытащила из кустов брезентовую лодку-ветку и, увидев людей, всплеснула руками.

— Драстуй! Куда плывёте, нюча? Посёлок? Далёко, однако! Домов много! Людей много!

Она стояла, прямая и тоненькая, с детским сморщенным личиком, сжимая в руках мешок для улова. Туман киселём колыхался у её ног. Авдюшин с трудом разобрал, что она немолода.

— А Сеньку, Сеню Семёнова не встречали там?

Авдюшин сделал вид, что пытается вспомнить.

— Племянник мой, однако. Говорят, в милиции работает.

Тут его осенило: это ж Семён Васильевич Семёнов, рябой начальник милиции!

— Ох-ох,— запричитала она,— я ведь тётка ему и его мальчиком помню! Нянчила Сеню-то,— и тут же с печалью добавила: — Забыл он нас... забыл... и жив ли? Уже лет тридцать не приезжает, однако... Как давно это было... и было ли?..

«Да,— подумал Авдюшин,— был ли когда-нибудь Семён Васильевич маленьким мальчиком, помнит ли добрых и мудрых бабушек и тётушек, воспитавших его? Не помнит... Тогда зачем же оно было, то доброе детство?..»

И опять, в который раз, вспомнил тот лунно-холодный, не греющий душу приют охотников в том далёком далеке, когда собрались они все в неслучайной охотничьей компании со своими заботами и нерешёнными делами.

Вспомнил и дымчатую стремительную рысь, качающуюся в клетке из угла в угол, словно маятник, отсчитывающий отпущенное им время.

Никто не предвидел своей судьбы, как и те растерявшиеся в непогоде птицы.

Осенью того года Нырков провалился на озере под лёд вместе со снегоходом — тормознул, чтоб топор у майны подобрать, добрые люди с берега крикнули, лень им было самим идти.

«Было ли? Было, конечно, было! Да, никто судьбы не предвидел,— думал Авдюшин,— но ведь она уже была определена где-то и кем-то. Или мы сами её определили?.. Тогда, в набатовской бане...»

Следующей зимой умер Колька Чижов. Ни с того ни с сего запил на неделю, пил коньяк у себя на ферме, среди коз и коров. Авдюшин тогда подумал: тошно ему стало, Кольке Чижову, среди людей. На охалке сена нашла его жена, оторвавшись от шитья ондатровых шапок. Несколько часов Колька ещё полежал под капельницей — давление забрасывало кровь наверх, в бутылочку.

И жена, надеясь, говорила сквозь слёзы:

— Смотрите, он улыбается, он будет жить!

А через год, весной, вытаял из снега Боря Клязьмин с пулевым отверстием между глаз, под обрывом, на котором стоял магазин «Малиновая рыбка». Осечки и правда не случилось.

Авдюшин знал, почему улыбается перед смертью Колька Чижов: Мартын ждёт его и уже налил в кружки спирт, разбавив его колымской водицей...

Виктор Самуилов

Лесовичок

Сквозь сон, дрёму, состояние небытия пробивался чей-то голос:

— Не умирай... не умирай...

«С чего бы это я умирать собрался?..» — вяло думалось мне.

И опять настойчиво и ласково:

— Не умирай... не умирай...

«Да отвяжись, спать хочу!»

Казалось, что устал я безмерно, тело ни одной жилкой, клеточкой не ощущалось, и желаний никаких, лишь одно, робкое: голос противный исчез бы...

— Не умирай... не умирай...

Раздражение и досада горячей волной окатили всё моё существо.

— Умница, умница, теперь открой глаза... — повторял твёрдо и настойчиво голос.

«Да кто ж это такой? — сердито подумал я. — Кому помешал мой сон?»

И опять...

— Открой глаза, открой глаза...

«Ах! Ну, сейчас я тебя!..»

Веки, невероятно тяжёлые, как чугунные створки, давили на глазницы, и тяжесть эта от настойчивого понукания уходила, изворачивалась болью, проникала в мозг. И опять...

— Открой, открой глаза.

Я ощутило, зацепив, кажется, пальцами за ресницы, тащил их вверх, раздирал веки. И вот розово и больно ударил солнечный луч мне в зрачок...

— Не закрывай, держи, держи...

«Да кто ж ты такой? Держу!» — хотелось мне крикнуть, но, увы, темнота и покой снова окутывали моё сознание. Но голос, голос... вкрадчивый, настойчивый, не отпускал в сон.

— Не умирай, не умирай... — и сразу же: — Открой глаза... Открой...

Голубое небо с редкими пушистыми облачками за листвой, за зеленью, за ветками деревьев казалось близким, тёплым и ласковым.

— Смотри сюда, смотри мне в глаза... — вещал настойчивый голос.

Любопытство заставило меня шире распахнуть, раскрыть веки. Почти надо мной на толстом суку большого дуба сидел старичок: ноги свесил, деревянные башмаки на них. Сидел, поджав плечи, напрягшись, опирался руками в сук, сердито побалтывал ногами в смешных остроносых башмаках.

— Смотри в глаза! — резко произнёс старичок.

Но я успел заметить, что рта он не раскрыл. Глаза под густыми бровями буравили меня, сверлили, в груди стукнуло раз, другой. Я шумно вздохнул, сразу же улавливая мельчайшие запахи, обрадовался, по моему лбу щекотно ползла букашка, источая кисловатый резкий аромат. «Муравей...»

— Не отвлекайся, смотри в глаза...

«Но я же смотрю», — попытался разлепить губы, сказать что-то — не получилось; смотрел, думал, удивлённо выискивая привычные слова, складывал их во фразы, переворачивал и так, и этак, а наружу не вытолкнуть.

Старичок хмурил брови; сморщенное улыбочное лицо выражало озабоченность и сосредоточие. Седая, до пояса, борода подрагивала; седые волосы, по-видимому, длинные, завитками выбивающиеся из-под колпачка, пучком собраны на затылке; когда чуть поворачивал голову — видать, что стянуты зелёной верёвочкой; одежда тканая, редкой вязью похожа на дерюжку, куртка свободная, портки у щиколотки подвязаны, цвет всей одежды неяркий, однотонный, тёмно-зелёный.

— Теперь встань! — услышал я голос, резкий, гортанный, шевельнулись красные большие губы старика.

«Встань так встань», — попробовал, но — увы.

Старичок поёрзал. Глаза, пронзительные, строгие, неотрывно буравили мне мозг. Он ловко вспрыгнул на ноги, качнулся на суке, упёрся руками в колени, наклонился ко мне.

— Скажи «мама»! Скажи «мама»! — настойчиво повторял он.

«Совсем ты, дед, рехнулся. „Папа“, может, сказать?» — бурчал я.

— Скажи «мама»! Скажи «мама»! — бил мне в мозг противный голос.

«Да пожалуйста, только отстань», — кажется, вскричал я. Нет, не получилось крика, даже полслова из себя не выдавил. Как и веки до этого, губы чугуно давили на зубы, ломотой растекалась боль по лицу, пульсировала в висках острыми толчками. Я невольно вскрикнул:

— Ой, мама!

Старичок довольно хакнул, хлопнул ладошками:

— Ещё раз! Ещё раз!

И я повторил:

— Мама!

Оно вырвалось из меня, из моих губ, заполнило всё вокруг образами далёкого детства: пахнуло парным молоком, свежескошенной травой, земляничным вареньем. Я чуть не задохнулся от краюшки чёрного хлеба, которую мне подала мама... Её улыбка, её руки, её голос поднимали во мне желание жить. И я повторял и повторял:

— Мама, мама... — вслушиваясь и удивляясь, смакуя, лаская, целуя душой, сердцем, умом все образы, которые несло это слово.

— Умница! — дед переступил короткими ногами, побряхтывая, сел на сук, вытер пот с лица. — Встань-ка теперь, встань!

И я встал, не сразу, но встал, а так хотелось провалиться в сон, в немоту. Но старичок настойчиво твердил:

— Смотри в глаза, вставай... Вставай... руками о землю, на колени, рядом берёзка... обопрись, она поможет...

Я почувствовал шершавую, шелушащуюся твердь в руках. Странно. Казалось, что-то живое, горячее бьётся, пульсирует и проникает сквозь пальцы в тело, в сердце, заставляя его твёрже, сильнее стучать. Слабость и тошнота отступали. Я приник щекой к стволу. Быстро перебирая лапками, мчался по крапчатой белой бугристой коре озабоченный муравей. Покачивался на прозрачной шелушинке комар-долгоносик. За первым муравьём один за другим, как наперегонки, наклонив тяжёлые головы, пробежал с десятков деловитых рыжих его сородичей, некоторые несли зелёные кусочки листьев. Пахнуло на меня миром, покоем и волей.

Старичок засмеялся дребезжаще и грустно, приговаривая осуждающе:

— Вот чем возрадуется душа человеческая...

В тот же миг меня окутала волна запахов, едких, удушливых, животный страх ужасом сдавил мне горло. Крепче обхватив дерево, я осмотрелся.

Большая поляна, на противоположной стороне, метрах в ста, дымятся, источая непереносимую вонь, останки какой-то машины. Ужас и боль исходили от обгоревших поломанных деревьев, от земли, взрытой, выброшенной непонятной силой и разбросанной по кустам, траве; чёрными ошмётками висят на деревьях искорёженные куски металла. Я напрягся...

— Ну, давай, сынок, оглянись, прикинь, сколько жизней ты загубил! — старик непримиримо и даже, казалось, злобно вперил свой острый взгляд мне в лицо. В глаза он уже не смотрел. — А ведь для кого-то другого сотня, тысяча таких, как ты, всё равно что осенние листья на ветру...

Покачиваясь, я побрёл к вертолёту. Вспомнил, всё вспомнил. Лагутин где? Но можно и не задавать этот вопрос, через вонь жжёной резины натягивало горелым... Мне знаком этот запах...

Я долго бродил вокруг обломков, вокруг огромной раны в земле. Поднял окровавленный шлемофон, повесил на дерево. «Похороню, похороним, с силами соберусь, как подобает похороним...»

Старичок семенил сзади. Он молчал, молчал и я, вспоминая недалёкое.

Заклинило редуктор, высота приличная. Кувыркались, даже не пытаюсь что-то предпринять. Невозможно! Единственное, что я смог сделать, — расстегнуть ремень безопасности. Наверное, вывалился, упал на дерево...

— Так, родной, так, — старичок выглянул из-под руки. — Нужен ты, дела твои нужны...

— Повезло, случай.

— Дурачок, — старичок сморщился — нос красный, большой пуговкой, посинел — и оглушительно чихнул. — Ну и дух!.. Не дух — вонь смертная, — простонал дедок.

— Друг погиб. Я жив. Несправедливо.

— Не тебе судить, милоч, о справедливости.

Я внимательно посмотрел на старичка. С метр ростом, широкоплечий живой старик. Лицо хоть и в густой сетке морщин, но румянец на щеках здоровый, а глаза как шильца — острые, сильные. Маленький человек, лилипут. Как он сюда попал, в такую глушь?

— Дед, ты живёшь где? Пить хочу, всё внутри сгорело.

Старик сокрушённо покачал головой:

— Моя б воля, о камень тебе грохнуться, об острый. Лесовик я. Хозяин местного леса, окрестностей всех.

— Ну и грохнул бы, чего теперь переживать, радоваться надо, хоть кто-то жив, в этих обломках разберись теперь, из-за чего да как получилось... Ну а я расскажу.

Дед сердито махнул рукой.

— Что ты можешь рассказать? Железо для вас мёртвое, а оно живое, простудилось, заболело. Эх! — горестно вздохнул. — Учить людишек уму-разуму — время впустую тратить.

Лесовик, придерживая мою руку своей тёплой шершавой ладонью, повёл вдоль опушки. Шёл он так, что и трава не приминалась, кустики раздвигались, от нашего соприкосновения сами уклонялись.

— Дед, а ловко ты ходишь, ни травку не помнёшь, ни кустик не сломишь!

Старик дёрнул меня за рукав куртки:

— Ноги вам повырывать, чтоб хозяйку не топтали, безмозглые!

Я улыбнулся. Чудной старик, наверное, давно один живёт, из-за своей ущербности в глушь подался.

— Это ты ущербный, и всё ваше племя злокозненное.

— Ты, дед, и мысли, гляжу, читаешь: колдун, наверное? У меня тогда к тебе вопросы будут.

Старичок промолчал; мы распадком спустились к роднику, прозрачной струйкой он просачивался сквозь мшелые трещины гранитного уступа, заключённого корнями могучего кедра в крепкие объятия. Под уступом полнился влагой небольшой бочажок, через край ровно лилась прозрачная льдистая струйка, разбегаясь небольшим ручейком по дну распадка.

— Садись! — старик кивнул на лежащую колоду.

Мох плотным слоем ровно шерстился по верху дерева, солнце сквозь листву и лапы пихт и кедров пятнало изумрудное бархатистое покрывало яркими зайчиками.

Силы оставляли меня, не сел — упал на колоду, откинувшись спиной на тёплый гранит. Лесовик ворчал, снуя возле родника.

— Извести ваше племя с корнем. На днях двух кабанов подстрелили. Лучшие куски мяса вырубил, остальное бросили. Волков у соседа попросил, свои в бегах, спешил — не дай Бог завоняет, гниль да яд пойдут. У меня зверья совсем мало, — бубнил дед, шебурша кустами. — Нет возможности тут жить, кругом жильё, охотников да ружей больше, чем мышей. Всё поизвели. Ничего, — дед ехидно хмыкнул, — целый год два тигра жили, дак по домам сидели, — вздохнул. — Поднимайся, перекусим чем Бог послал. Медведь на что могуч зверь, а шкуру сберечь непросто: с вертолёта стреляют.

Я сел. Дед прав, конечно. Ну, азарт — дело понятное, а вот ради наживы — это плохо, даже очень.

— Подвигайся. Все вы так рассуждаете, а доведись деньгу получить за убиенного кабана или козу — не откажешься взять.

— Мне хватает зарплаты, платят регулярно, — я взял горсть синих с дымной поволокой ягод винограда, бросил в рот, слёзы брызнули из глаз — кислый-то какой...

Дед протянул мне туесок:

— Ничего, лимонник я тебе растолок. Попей, освежеет внутри, и башка окрепнет.

— Стол, дедуля, вегетарианский у тебя: лимонник, виноград, кишмиш, черемша, кедровые орехи. А это что? — я ткнул пальцем в серые сморщенные кусочки.

— Грибы сушёные.

— Что с ними делать, с неварёными? Это ж отравя.

— Жуй, водичкой запивай, не отравишься. Еда — не удовольствие, а необходимость. По сторонам смотри, дыши, вникай в мир, если тебя живым оставили.

— Это кто ж такой добрый?

Старик сердито стрельнул глазом, передразнил громко трещавшую в кустах сойку. Та села ему на плечо, с ладошки склюнула несколько кедровых ядрышек.

Насытившись под окрики и нравоучения Лесовика, я теперь щёлкал орешки, поглядывая по сторонам; старичок молчал, по-видимому, собираясь с мыслями. Блаженство и покой охватили меня; я чуть свистнул, глядя на сойку; она тут же порхнула ко мне на плечо, склюнула поданное ядрышко, радостно пискнув, сорвалась, громко хлопая крыльями, вниз по распадку.

Дед вздохнул:

— Остался б ты, сынок, тут, со мной. Стар я... Работы — ох как много, уже не успеваю везде. Сердце у тебя доброе. Чего вы ищете, в крови да в горе ныряя? Подумайте о душах, всё и всем воздастся по заслугам вашим. За всё, сынок, платить надо, только расчёт нерегулярный и не в зарплате меряется... — помолчал. — Ежели как след мозгами

пораскинуть, ничего ты не потеряешь,— обвёл руками.— Вот оно, истинное богатство, всё твоё! Хозяин!

Я сидел, слушал, думал; тело ныло, болела каждая живая клеточка. Мысли исподволь уходили в сторону уговоров деда. Заботы, проблемы... Зачем они мне сейчас? Начнут таскать, разборки, госпиталь, комиссия, выводы. А тут!.. Я обвёл глазами окружающий нас ландшафт. Мы сидели на середине длинного спуска к подножию гряды сопок, взгляд, пробиваясь сквозь вершины ниже растущих кедров, беспрепятственно скользил по необъятному простору седловины, пучившейся, как валки сена, тёмно-зелёными хвойными вершинами... Ни дымка, ни звука, ни намёка на цивилизацию.

— А семья? Друзья? Работа?

Дед крикнул:

— Так я и думал. Зря эта затея. Долбануть бы тебя об камень.

— Это что за затея?— удивился я.— И чего ты так, дед, меня всё долбануть хочешь? Вроде спас, помог?

— Помог. Через полтора года к Нептуну в гости сверзишься с небес. Там-то вспомнишь моё предложение. Ему-то хоть не перечь, он — дед суровый, насадит на острогу.

Я засмеялся:

— Спасибо, что предупредил, постараюсь не забыть твоего совета, а сейчас пора и честь знать, загостился, к дому выбраться желательно.

— Пошли, раз такое дело. С маршрута вы в полёте сбились, и ищут они в другой стороне. Я тебя выведу на лежнёвку, по ней и топай. Туесок возьми, ягоды лимонника там, устанешь — сядь отдохнуть, горсточку съешь, топай на закат — и дома будешь.

Поклонился я Лесовику в пояс, даже прослезился, хотел обнять его, но дед строптиво топнул ногой:

— Иди. Если надумаешь вернуться, дорогу найдёшь.

И руку не позволил пожать, потряс я своею в воздухе...

Я шёл, опираясь на палку, раздумывая о смысле жизни, извечном, не разрешаемом вопросе человечества; устав, присаживался у корней дерева, опершись спиной о ствол, закрывая глаза. Неясные, странные видения бродили по моему сознанию: говорящие звери, говорящая трава, ягоды, песни распевующие...

«Здорово треснул башкой,— расстраивался я.— Как медкомиссию пройти? Скажу, сознание не терял, выбросило при ударе вертолётá о землю на дерево».

Про старичка никому не рассказывал, до случая. Через полтора года, в октябре, загорелся правый двигатель, и в гости к Нептуну я наведалься. Но знакомства непосредственного не произошло. Пообморозили мы со штурманом выпуклости щёк, носы прихватило, пальцы и кисти рук, общее переохлаждение дало воспаление лёгких, суставы с тех пор скрипят и ноют ко всякой непогоде, но остались живы. В госпитале, отогреваясь под кварцевыми лампами

на поскрипывающем лежаке,— госпиталь со времён Цусимы — поведал штурману о Лесовичке-старичке. Он долго молчал, притих. Уже когда одевались, проговорил сильным голосом:

— Познакомь с дедком...

Я несколько озадачился, пробубнил растерянно, невпопад:

— Ты, мне кажется, и серое вещество застудил всерьёз. Треснувшемуся с высоты метров в двести померещится и не такое...

Тот пожал плечами, вроде согласился.

Туесок из коры ольхи я храню до сих пор. И не раз, в тяжкие минуты жизни, мысленно отправлялся к Лесовичку и прощался со всем, что меня окружало в прошлом, в настоящем, а шаг шагнуть... сил не хватало, желание и мечты... слабее опостылой действительности оказались. Тёплый туалет, ванна, старый «Жигулёнок», жена, сын, прожитое и пережитое; магазин через дорогу, пивной ларёк на углу и многое другое в этой действительности, видимое, ощущаемое желудком и другими органами, оно ведь настоящее, которое теперь навсегда со мной. Надеждой живу... Только тает она... И сердце моё...

А к берёзе спиной не прислоняюсь, даже и рукой боюсь дотронуться. Забылся как-то, по грибы ходил, оступился, зацепившись ногой о мшелый пенёк, руку выставил, ладонью оперся о белый шелушащийся ствол берёзы... Тут же меж веток недалёкой черёмухи борода седая мелькнула серебристой паутиной. В ветвях сосны, на взгорке, колпачок взъерошился, и башмачки деревянные дробно, сердито по бронзовому стволу простучали. Ознобом свело мне лопатки, отпрянул я от дерева, насторожился, испуганно всмотрелся, прислушался... Ах, дурак, это дятел клювом простучал, как пулемётной очередью прошёлся по коре усохшей еловой вершины. Вдохнул я облегчённо, веточку черёмухи пригнул к лицу и отпрянул... Глазки-шильца сквозь зелёные листочки сердито стрельнули на меня в осуждающем вопросе...

Таймыр, Старая Торопа, 2002–2020

Андрей Пучков

Красная незабудка

Семён медленно шёл по лесу и, опустив голову, выискивал в траве маленькие голубенькие цветы. Собственно, их искать не надо было, этих цветов было много, они росли повсюду, но Семёну нужны были особые цветы. Он не знал, по каким критериям выбирает их. Он и слова-то такого не знал, он просто чувствовал, что вот этот цветок нужно сорвать, а вот этот не надо. Ну вот и последний. Семён встал рядом с цветком на колени, невзирая на то, что трава с утра была ещё сырая, и, осторожно раздвинув кривыми покалеченными пальцами траву, сорвал растение. Да. Этот цветок понравится белому человеку, он будет рад ему.

Зажав маленький букетик в руке, Семён, улыбаясь, направился к дому. Он улыбался всегда и всем. Ему нравилась жизнь. Ему нравились белые люди, с которыми он жил в большом доме. Нравился лес, который окружал его дом, нравились голубые цветы, которые он срывал и дарил белым людям. Ему не нравилось только одно. Голубые цветы не росли постоянно, они уходили, когда становилось холодно. Но до того, как цветы уйдут, было ещё далеко, и Семён старался об этом не думать.

А ещё Семён любил Солнце. Очень любил. Он много раз пытался рассмотреть его, но у него ничего не получалось. Яркое жёлтое пятно быстро становилось ослепительно белым, и единственное, что он успевал увидеть,— это мелькнувший круг с чётко очерченными краями. На этом, как правило, всё и заканчивалось, у него начинали бежать слёзы, резало глаза, и он потом какое-то время почти ничего не мог видеть из-за мельтешивших перед глазами светлых пятен. Но Семён всё равно был рад, он вытирал ладонями слёзы, шмыгал носом и смеялся. Он любил Солнце. Он видел и чувствовал его.

Вот и сейчас, словно поняв, о чём он думает, светило, разогнав утренние тучки, обрушилось на него всей своей приятной мощью, и Семён, раскинув руки и задрав голову к небу, широко открыл глаза навстречу этому свету. Всё было как всегда. Почувствовав, как по лицу побежали невольные слёзы и заплясали в голове яркие круги, Семён счастливо засмеялся и, не опуская рук, начал медленно кружиться, представляя себя плывущим в этом ярком свете, приятно согревающим лицо и испаряющим с него слёзы радости.

Доктор стоял возле окна кабинета и смотрел, как Семён возвращается из леса, который рос внутри огороженной высоким забором

территории больницы. Даже с такого довольно большого расстояния было видно, что колени у парня были мокрые.

«Опять по траве ползал», — вздохнул доктор и посмотрел на часы. Время до начала обхода ещё было, и он опять перевёл взгляд на окно. Там, на выложенной жёлтой брусчаткой дорожке, подняв голову вверх, кружился его пациент, больной мозг которого перестал ему служить.

Доктор опять вздохнул и, взяв лежащие на столе очки, положил их в нагрудный карман халата. Вдаль он видел хорошо, однако читать без очков уже не мог: возраст, знаете ли. Доктор досадливо хмыкнул: «А ведь лет-то мне ещё не очень и много. А зрение уже подсело. Это в пятьдесят-то! А что в шестьдесят будет? Жуть, одним словом». Не успев додумать про неприятности со зрением, доктор чертыхнулся: «Ну надо же! Тоже мне жуть с кошмаром нашёл. Жуть — она вон там, за окном, задрала вон голову к небу и кружится, пуская радостные слюни. Вот уж где жуть так жуть!» Он постоял ещё немного, размышляя, и, решив нарушить традицию начинать обход с первой палаты, направился на улицу, где на жёлтой дорожке стоял и смеялся больной из седьмой палаты.

— Здравствуй, Семён! — улыбнулся доктор и, как всегда, внимательно стал всматриваться в глаза парня в надежде увидеть в них хотя бы маленький проблеск разума.

Семён не ответил. Он на протяжении вот уже трёх лет смотрел в глаза доктору своими глупыми счастливыми глазами и улыбался. И ещё он кивал головой, как будто бы соглашаясь со всем, что ему говорили.

— У тебя, я вижу, как обычно, хорошее настроение, — констатировал доктор и, показав рукой на лавку, очень кстати оказавшуюся рядом с ними, предложил: — Присаживайся, друг мой, в ногах, как говорится, правды нет.

И первым сел на лавочку, зная, что больной не сядет рядом с ним, — сколько уж раз пытался уговорить его сесть. Напротив, если Семён сидел, то, увидев идущего доктора, он обязательно вставал.

Семён увидел приближающегося к нему белого человека и перестал кружиться. Он знал, что белый человек сейчас подойдёт к нему и от него начнут доноситься гулкие и смешные звуки: «Бу-бу-бу-бу-бу...» Семён не знал, что это значит, но этот белый человек ему нравился, и для него он тоже постоянно срывал цветок. И он должен будет отдать ему этот цветок, цветок, который был именно для него сорван. И он не должен ошибиться, а то человек может обидеться, если Семён отдаст ему цветок, который предназначен для другого белого человека.

Доктор сидел на лавке и терпеливо ждал, когда больной выберет предназначенное ему растение. Однако на этот раз пациент, видимо, не сумел определить, который из них он должен отдать, и поэтому, усевшись прямо на дорожку, разложил перед собой семь цветочков и начал их перебирать покалеченными пальцами, беззвучно шевеля

губами. Наконец он выбрал нужный и, не вставая, по-прежнему улыбаясь, протянул его в сторону доктора, видимо, не понимая того, что с расстояния в два метра доктор не сможет до него дотянуться.

«Ну что же. Обход начался»,— грустно подумал доктор и, встав со скамейки, взял из рук Семёна незабудку. Проходя мимо сидящего на брусчатке парня, не удержался и погладил того по лохматой голове.

Семён был ровесником его сына. И когда доктор иногда представлял себе, что на месте этого парня мог оказаться его сын, он приходил в неопиcуемый ужас. И это было так страшно, что у него выступали слёзы на глазах, и он начинал лихорадочно звонить сыну. Звонить только для того, чтобы услышать его голос и понять, что у того всё в порядке. Он слушал голос сына и радовался тому, что этот кошмар произошёл не с его мальчиком. Ему было стыдно за эту радость, но он ничего не мог поделать с этим, он просто радовался.

Когда белый человек ушёл, Семён посидел ещё некоторое время на дорожке, радуясь тому, что нашёл и отдал ему именно его цветок, которому белый человек был рад. Потом он встал и пошёл в дом, где его скоро посадят за стол, дадут в руки ложку и покажут, что надо с ней делать. Семён в предвкушении приятного события, связанного с ложкой, опять радостно засмеялся. Его огорчало только одно: он постоянно забывал, что надо делать ложкой; он честно пытался об этом не забыть, но как-то так получалось, что всё-таки забывал.

Елена Сергеевна сидела в ординаторской за своим столом и благодаря удачному его расположению прямо напротив окна видела всё, что происходит во дворе больницы. Вот и сейчас она знала, что врачи ждут её команды, когда надо будет подниматься и начинать подготовку к обходу. И когда она увидела, что главный врач направился к корпусу, оставив за своей спиной сидящего на дорожке Семёна, она поднялась, одёрнула белый халат и сказала:
— Всё! Идёт! Пора начинать! — и первой направилась к выходу из ординаторской.

Их, людей в белых халатах, было семь человек: три врача-психиатра вместе с ней, врач-терапевт, старшая медицинская сестра, заместитель главного врача и собственно сам главный врач; остальной персонал был одет в синюю униформу. Два раза в неделю они все выходили в холл приёмного покоя и получали от улыбающегося Семёна по цветочку. И от этого своеобразного ритуала никуда было не деться. Если кого-то не хватало, Семён начинал ходить по всей больнице и, тревожно озираясь, искал того, кому он ещё не отдал цветок. Со стороны это могло бы выглядеть смешно: молодой мужик с длинными, совершенно седыми волосами ходит по больнице, вытянув перед собой руку, в ладони которой зажата незабудка. Но никто не смеялся. Напротив, усердно начинали помогать в поисках не одаренного цветком человека.

Елена Сергеевна очнулась от своих мыслей, приняла из рук Семёна причитающийся ей цветок и, поблагодарив улыбающегося парня, пошла сопровождать на обходе главного врача. И уже перед тем, как зайти в первую палату, обернулась и увидела, как старшая медсестра заводит Семёна в столовую.

Обход проходил как обычно, и Елена Сергеевна, машинально отвечая на стандартные вопросы главного, вдруг совершенно не к месту подумала, что Семён их всех выдрессировал! А как же иначе! Они все как по команде собирались в кучку и ждали, когда им раздадут по цветочку. И Елена Сергеевна улыбнулась, представив, как Семён, увидев белые халаты, начинает одаривать всех не цветами, а какой-нибудь вкусняшкой, а они, радостно улыбаясь, машут хвостами.

— О чём, Леночка, задумалась? — услышала она насмешливый голос главного. — Я так полагаю, что это как-то связано с Семёном и его цветами?

— А-а-а, а как вы догадались?

— Ну, это было нетрудно! У вас, моя хорошая, всё было написано на лице.

— Да, вы правы, я думала о том, что если бы это был не Семён, то мы бы к нему сами не сбегались.

— Да, Елена Сергеевна, — задумчиво пробормотал главный врач, — если бы это был не Семён, если бы не Семён!..

И он, не договорив, направился в сторону своего кабинета, но, отойдя шагов на десять, вдруг остановился и, обернувшись к Елене Сергеевне, сказал:

— Да! Чуть не забыл! Вы бы, Леночка, начали уже в порядок возможные непорядки приводить, а то, знаете ли, к нам через недельку какая-то комиссия намеревается нагрять. С проверкой, так сказать, нагрять.

И главный, задумчиво покачав головой, продолжил путь к своему кабинету.

Елена Сергеевна расстроилась. Нет, она не боялась, что комиссия может выявить что-то такое страшное, этого страшного попросту не было! Она была добросовестным и щепетильным работником в плане соблюдения всевозможных правил и инструкций при работе с бумагами и с историями болезней. У неё всегда и всё было в порядке. Но все эти комиссии отнимают уйму времени и нервов. Особенно когда в составе прибывшей команды попадает какой-нибудь особорьяный, неизвестно как попавший в её состав член. И Елена Сергеевна досадливо поморщилась, вспомнив комиссию, прибывшую в их богоугодное заведение полгода назад. В эту самую комиссию и затесался именно такой «член», которому это название очень даже подходило во всей объёмной красе этого ёмкого слова, несущего в себе несколько значений.

Елена Сергеевна вернулась в ординаторскую, села за свой стол и, аккуратно отложив в сторону стопку историй, невольно вспомнила, как этот пресловутый «член», увидев идущего по коридору Семёна, остановил его и потребовал к себе главного врача.

Главный не стал капризничать и сам пришёл к возмущённому представителю столицы. Пока прибывший «член» разглагольствовал о вопиющем нарушении санитарных норм, вокруг него и Семёна столпилось изрядное количество персонала. Как выяснилось, у больного были слишком длинные волосы, что никак не вязалось с «облико морале» их лечебного учреждения. Тыча пальцем в голову радостно улыбающегося Семёна, «член» потребовал немедленно остричь его седые лохмы. Возникшую ситуацию разрешила старшая медицинская сестра: она попросила подойти горящего праведным гневом проверяющего поближе и откинула с висков Семёна волосы, которые скрывали отсутствие ушей и безобразные, уходящие в череп тёмные дыры.

Бедный проверяющий замер с открытым ртом, не в силах отвести взгляд от этого страшного зрелища. Старшей сестре этого показалось мало, и она окончательно добила его тем, что до самой шеи задрала на парне казённую футболку, предложив осмотреть ещё и тело больного. Увидев, что находится под футболкой, «член» икнул и заметался возле запертых дверей туалета для персонала, куда его по доброте душевной эта же сестра и выпустила, оставив дверь открытой, чтобы все собравшиеся могли услышать, как блюёт столичный представитель. Такая реакция неподготовленного человека была, в общем-то, понятна.

На теле Семёна не было живого места. Остались только узкие полоски кожи, с которой он появился на свет. Остальные полосы кожи у него выросли уже потом, после того как её аккуратно срезали узкими полосками от шеи до ступней — одну полосу за другой. Спереди, сзади на спине, на руках, на ногах. Везде, со всего тела, у него была срезана большая часть кожи. Это было тяжкое, мучительное зрелище. Поэтому никто не смеялся над этим глупым проверяющим человеком. Нельзя над этим смеяться. И ещё пальцы — они у Семёна были все переломаны и выглядели расплюснутыми.

Доктор сидел в своём кабинете на втором этаже и просматривал статью, напечатанную в английском журнале. Проблема с языковым барьером перед ним не стояла. Он в совершенстве владел английским, чем и пользовался на полную катушку, выискивая в зарубежных медицинских журналах интересующие его статьи, посвящённые психиатрии. Закончив читать, доктор отложил журнал и задумчиво уставился в окно, обдумывая прочитанное. Он ещё не знал, согласен он с автором или нет. Для того чтобы прийти к какому-то решению, ему надо будет прочитать статью ещё раза три и обдумать каждое написанное в ней слово.

Из задумчивости главного врача вывела какая-то возня, происходящая возле ворот, ведущих на территорию клиники. Рядом с воротами стоял зелёный «уазик»-«буханка», точно такой же, какой был и у них в больнице. Отличие было только в том, что на этом автомобиле не было красных крестов. Ворота начали закрываться, и доктор нахмурился: до конца рабочего дня именно эти ворота должны быть открытыми, чтобы родственники их пациентов могли подъехать ближе к корпусам: какого-либо конкретного дня недели и времени для посещения родственниками больных не было. Очень сложно, знаете ли, объяснить их нездоровому душой контингенту, что такое тихий час и что после обеда надо спать согласно общепринятым в больницах правилам.

Ворота закрылись, и из будки охранника вышел какой-то человек в тёмной одежде, огляделся, после чего забрался в открытую дверь «буханки», и «уазик» поехал к главному корпусу. Это было неправильно, машина должна была остановиться на парковке недалеко от центрального входа! Однако, игнорируя знаки, автомобиль подъехал к самому крыльцу, и, подойдя ближе к окну, доктор увидел, как из него шустро начали выпрыгивать какие-то люди в чёрной одежде. Доктор насчитал восемь человек, и у четверых из них были автоматы.

Произошло что-то нехорошее, это главный врач уже понял, но пока не мог сообразить, насколько это плохо. Но когда внизу, в холле, раздались один за другим три выстрела, неожиданно сильно хлестнувших своим резким и гулким звуком по ушам, доктор понял, что это не просто плохо. Это — катастрофа. Внезапно задрожавшими пальцами он снял очки и положил их в нагрудный карман халата, потом поднялся из кресла и, обойдя стол, остановился напротив двери кабинета. Постоял несколько секунд, потом вынул из кармана очки и, вернувшись к столу, аккуратно положил их на открытый журнал. Однако, почему-то решив, что очки ему могут пригодиться, доктор опять взял их и, вновь затолкнув в нагрудный карман, решительно вышел из кабинета.

С двумя незнакомцами главный врач столкнулся, когда прошёл уже полпути от своего кабинета до лифта, из открывшихся дверей которого они и вышли.

«Большой и маленький», — машинально отметил доктор и остановился, ожидая, когда эта парочка подойдёт к нему ближе.

«У маленького автомат, а у большого пистолет. Хотя это не совсем логично, — почему-то пришла в голову несурзная мысль. — По логике, автомат должен быть у большого, а пистолет у маленького, потому что автомат больше пистолета».

— Кто здесь начальник? — неожиданно визгливым голосом спросил, обращаясь к нему, мелкий и направил в его сторону ствол автомата.

Доктор не ответил, справедливо рассудив, что этот визгливый просто не может быть тем, с кем надо вести беседы. Какой-то он

был весь кручёный и суетливый. Складывалось впечатление, что это создание не могло спокойно стоять на одном месте. Ноги этого человечка словно жили своей жизнью, они перемещались под телом маленькими шагками, словно пританцовывали, причём само тело не настроено было танцевать. Не может так вести себя человек, облачённый хоть какими-то полномочиями.

— Ты, штырь, не только тупой, но ещё и слепой! — хохотнул большой и, мотнув башкой в сторону доктора, обратился к своему напарнику: — Читай, что у него на халате написано.

Мелкий, как разболтанная кукла, подсеменял поближе к доктору и, прочитав вышивку на его халате, выдал:

— Это какой-то «глврач»? А старший-то здесь кто? — опять обратился он к доктору.

Доктор посмотрел на большого и, встретившись с ним взглядом, пожал плечами.

— Заткнись, придурок! — раздражённо рявкнул большой. — Это — главный врач. Это и есть старший. Он нам и нужен.

Доктор, посмотрев на кривляющегося человечка, не скрываясь, презрительно усмехнулся. А потом, переведя взгляд на большого, спросил:

— Куда я должен идти и что я должен делать в сложившейся, так сказать, обстановке?

— Давай, док, за мной топай, — пробасил большой и, повернувшись, направился обратно к лифту, всем своим видом показывая, что ни на йоту не сомневается в том, что его приказ будет беспрекословно выполнен.

Доктор обвёл глазами холл, в котором находились с десяток пациентов и несколько человек обслуживающего персонала. Машинально улыбнулся в ответ глядящему на него безмятежными глазами Семёну и вдруг почувствовал сильный удар в спину, который бросил его на пол, и услышал истошное верещание мелкого:

— Ты чё лыбишься, козёл, а?! Ты чё лыбишься?!

Удар был сильный. Сильный настолько, что у доктора перехватило дыхание и он долгие секунды не мог протолкнуть в лёгкие воздух.

«Ты смотри, как больно-то!» — удивился доктор и с заметным трудом поднялся на ноги. Постоял, нагнувшись, приводя в порядок дыхание, а затем, не обращая внимания на крики маленького человечка, ударившего его прикладом автомата, вытащил из нагрудного кармана сломавшиеся после падения очки, с сожалением покачал головой и, убрав их обратно в карман, повернулся к мелкому.

А потом произошло то, чего не ожидал никто. Ни тычущий стволом автомата в доктора мелкий, ни обернувшийся на шум большой, ни обслуживающий персонал. И, наверное, даже сами больные этого не могли бы предвидеть, если бы разум их был в порядке. Главный врач!.. доктор!.. интеллигентнейший человек!.. улыбнувшись, ударил

мелкого по лицу. А потом как ни в чём не бывало, отвернувшись от растянувшегося на полу своего обидчика, продолжил путь к лифту.

Доктор даже успел сделать несколько шагов. Несколько последних шагов в своей жизни. И даже успел подумать о том, что это, оказывается, приятно — ударить подонка по физиономии. Главный врач умер с этой не свойственной его воспитанию мыслью. Он просто не успел подумать о том, что всё-таки был не прав, когда бил по лицу человека. Его насквозь прошла очередь из автомата, выпущенная ему в спину поднявшимся с пола взбешённым мелким. Доктора не отбросило ударом очереди на несколько метров, как это частенько показывают в боевиках. Летящие с огромной скоростью пули, пройдя насквозь тело человека, унесли с собой его жизнь. Доктор осел, медленно опустившись сначала на колени, а потом, словно нехотя, завалился на бок и, вздрогнув последний раз всем телом, замер, перевалившись на спину.

Доктор уже не видел, как заорал и пнул мелкого напарник. Как закричала одна из медицинских сестёр, а потом замолчала, в ужасе прикусив зубами кулачок, и, не отрываясь, глядела на залитое кровью тело главного врача. Он не мог видеть, как на второй этаж по лестнице забежали ещё три вооружённых человека и стали сгонять всех вниз, в холл первого этажа. Он уже не видел, как Семён, глядя на его тело, вдруг начал кричать, протяжно и страшно, на одной ноте. Он, не переставая, кричал до тех пор, пока к нему не подошёл один из вооружённых людей и не ударил его прикладом автомата в голову.

Семён лежал на полу и с удивлением рассматривал синий цветок, который был почему-то красного цвета. Это было странно и непонятно. Он не знал, почему так произошло. Почему цветок лежит в чёрной луже, и почему белый человек, которому он подарил цветок, тоже лежит на полу? И почему белый человек стал красным? Страшным красным. Он не должен быть таким, потому что быть красным — это больно, это невыносимо больно. Это непрекращающаяся, нестерпимая боль. И эта боль становится всё сильнее и сильнее. Мучительнее и мучительнее. И от неё, от этой боли, умираешь. Он это знает. Он уже умирал.

Семён, не отрывая щеки от холодного мраморного пола, протянул руку и с трудом взял искалеченными пальцами цветок, лежащий рядом с телом доктора. Поднёс его к глазам и, не отрывая от растения взгляда, тяжело поднявшись, подошёл к белому человеку и протянул ему его цветок. Белый человек цветок не взял, он вообще не пошевелился. Белый человек лежал неподвижно. Семён постоял некоторое время над ним, потом аккуратно положил красный цветок на грудь белого человека и пошёл на звуки возни, раздававшиеся из кабинета главного врача.

Прошло уже часов шесть, как их захватили сбежавшие зеки. Елена Сергеевна поняла это сразу, как только увидела их одежду. Она уже

встречалась с такими. К ним их привозили под охраной на медицинскую экспертизу, и они содержались в специальном здании, похожем на тюрьму, под охраной. Там и сейчас находились несколько подозреваемых, с которыми они работали. Захватившие их люди не могли туда попасть, там была вооружённая охрана, и нападавшие, по-видимому, это знали, потому что даже не делали попытки приблизиться к ним.

Елена Сергеевна не видела, как убили главного врача, ей об этом рассказала заплаканная медицинская сестра, когда весь персонал и часть больных согнали в холл первого этажа. Их заставили усесться на полу, а потом задёрнули на окнах тяжёлые шторы и велели молчать. Она же шёпотом рассказала, что Семёна, наверное, тоже убили, так как она видела его лежащим на полу с окровавленной головой. — Эй, ты! Смазливая! — вдруг раздался хриплый голос одного из напавших, вольготно развалившегося в кресле, предназначенном для посетителей. — Ты! Ты! Чё ты башкой вертишь?

— Это он вас зовёт! — с неподдельным ужасом прошептала медицинская сестра, сидевшая рядом с ней, и вцепилась в её руку.

— Иди сюда, — поманил зек Елену Сергеевну и встал из кресла.

Елена Сергеевна выдернула свою руку из трясущихся рук сестры и, встав, направилась к довольно улыбающемуся зеку. Тот несколько секунд разглядывал её, а потом, кивнув головой в сторону дверей, ведущих на второй этаж, сказал:

— Пошли, мы ментам два часа дали, так что время порезвиться у нас есть! Да ты не бойсь, не бойсь, я не любитель бить женщин, я вообще-то нормальный мужик!

Он довольно хохотнул и, положив руку ей на грудь, больно сжал её. — Но, правда, есть одно условие. Девочка должна быть покладистой и послушной. А если нет, то вот он, — и зек ткнул пальцем в стоящего рядом с ним вертлявого парня, — будет тебя бить. Бить до тех пор, пока ты не станешь паинькой.

Елена Сергеевна была красивой женщиной, красивой той неброской, сдержанной красотой, которая заставляет мужчин оборачиваться вслед. И, чего греха таить, она гордилась этим. И вот сейчас, первый раз в своей жизни, она пожалела о своей внешности. С трудом переставляя ноги, она поднялась по лестнице на второй этаж и, повинувшись тащившей её руке вертлявого, пошла в сторону кабинета главного врача. Она знала, что её ждёт, и иллюзий не питала. Спротивляться она и не собиралась, так как понимала, что уже добравшиеся до сейфа с сильнодействующими препаратами зеки, войдя в раж, могут и до смерти забить. Терять им было нечего. Как она поняла, оружие они забрали при побеге у убитых ими силовиков. Проходя мимо тел главного врача и Семёна, Елена Сергеевна не выдержала и заплакала. — Заткнись! — взвизгнул тащивший её парень. — Успеешь ещё нареветься! — и он, запрокинув голову, противно засмеялся своим тоненьким голоском.

Семён медленно открыл дверь, из-за которой доносились приглушённые крики, вошёл и так же медленно закрыл дверь за собой, совершенно не беспокоясь о том, что на него удивлённо уставилось несущее красную боль существо. Это существо было страшным! Оно уже начало окрашивать в красный цвет лежащего на полу белого человека, и Семён вдруг понял, что, если он не убьёт *это*, оно полностью сделает красным белого человека, и тогда он тоже перестанет брать у него цветы. А это неправильно, белым людям цветы нравятся! Они должны их брать!

Елена Сергеевна лежала на полу в разорванной одежде и плакала от бессилия, от стыда, от боли. Ей было страшно. Она сразу же сказала им, что не будет сопротивляться. Но старший всё равно дал мелкому команду бить её, а сам сидел на диване и смотрел, как его подручный, повалив женщину на пол, уселся на неё сверху и методично наносил ей удары по лицу, разбивая в кровь губы и нос. Удары вдруг прекратились, и она, открыв глаза, увидела, как в кабинет вошёл Семён, закрыл за собой дверь и посмотрел на неё чужими мёртвыми глазами. — Ты чё, псих, берега попутал?! — хохотнул старший и, встав с дивана, подошёл к стоящему посреди кабинета Семёну.

Однако Семён, казалось, его совершенно не замечал. Он спокойно стоял, опустив руки, и не мигая смотрел на мелкого, который, сидя на груди доктора, короткими хлёсткими ударами бил женщину по лицу. — Ты чё, debil, не слышишь, что ли?! Я с тобой разговариваю! — уже раздражённо произнёс зек и, ухватив Семёна за ворот пижамы левой рукой, нанёс ему правой рукой удар в лицо.

Удар был быстрый, мощный, отработанный. Но произошло невероятное. Безвольно стоящий психически нездоровый человек вдруг как бы нехотя отклонил голову в сторону, и кулак зека ушёл в пустоту, заставив его покачнуться и потерять равновесие. И в ту же секунду Семён по-кошачьи скользнул за спину большого и, почти не размахиваясь, ткнул того кулаком в печень. Лежащей на полу Елене Сергеевне показалось, что удар Семёна не достиг своей цели, так как большой зек остался стоять на ногах, недоумённо оглядываясь. Но вот он вдруг охнул, скособочился и, схватившись за правый бок, упал на колени. Безучастно наблюдавший за зеком Семён не торопясь шагнул к нему и, вцепившись пальцами в глазницы, рывком задрал голову вверх, после чего нанёс удар ребром ладони в горло.

Удар был страшный, он сломал человеку кадык, расплющил гортань и впечатал её в шейные позвонки. Большой захрипел и, схватившись за горло, упал на пол. Семён скользнул ему на спину и, ухватив руками за затылок и подбородок, одним движением свернул шею, заставив смотреть мёртвыми глазами в потолок лежащее на животе тело. Потом он взял оставленный большим на столе пистолет, подошёл к успевшему забиться в угол кабинета мелкому и, одним резким ударом выбив тому зубы, вогнал ствол пистолета в рот и нажал на спусковой

крючок. Выстрела почти не было слышно, голова мелкого сработала как глушитель.

Елена Сергеевна торопливо вытащила из шкафа главного врача его запасной халат и, не глядя в сторону Семёна, сняла с себя остатки своего разорванного халата. Словно почувствовав смущение женщины, Семён отвернулся к окну, стал смотреть во двор, туда, где он всегда собирал цветы. Надев прямо на голое тело халат главного, Елена Сергеевна нерешительно прикоснулась к плечу больного. Семён понимал, что белый человек ждёт от него цветок, но больше у него цветов уже не было, и он в растерянности развёл руками.

— Нам надо уходить отсюда, Семён, — лихорадочно прошептала она. — Ты слышишь? Ты понимаешь меня? — встряхнула она его за руку.

Семён не ответил, он вообще никогда никому не отвечал. Он только смотрел на людей и улыбался. А сейчас Семён смотрел на неё тёмными провалами глаз, смотрел без улыбки, и это было страшно. В глазах Семёна больше не было глупой безмятежности. Елене Сергеевне показалось, что у него и глаз-то не было, только тёмные тоннели, не несущие в себе даже малейшего проблеска жизни.

— Идём, Семён, идём, — и она потянула парня за собой к выходу из кабинета.

Им не повезло. Когда они уже миновали дверь, ведущую на лестницу, из неё вышли двое зеков, и один из них, хохотнув, протянул:

— Ты глянь-ка! Бугор-то, я вижу, с тёлкой уже натешился! Может, и нам теперь угоститься?! А? — издевательски обратился он к врачу.

Елена Сергеевна понимала: если эти двое обнаружат своего старшего мёртвым, им с Семёном жить останется очень недолго. Преодолевая дрожание в голосе, предложила:

— Я не против, но давайте уйдём отсюда, а то здесь труп лежит, мне страшно, — она кивнула в сторону тела главного врача.

— Люблю разумных баб, — хмыкнул второй и, взяв Елену Сергеевну за руку, повёл её к ближайшей двери, ведущей в палату.

— Стой, стой, стой, — забеспокоился любитель угощаться, — а как же этот псих?

— А никак! Пусть бродит! Он и выход-то отсюда, наверное, не сможет найти, — и он, открыв дверь палаты, втолкнул туда Елену Сергеевну.

Халат Елена Сергеевна снимала сама, плакала и медленно растёгивала пуговицу за пуговицей. Но снять она его так и не успела: за спинами жадно разглядывающих её зеков скрипнула дверь, и вздрогнувшие от неожиданности мужики шустро обернулись.

— Да твою ж мать! Тебе-то чего здесь надо? — рывкнул один из них и ткнул стволом автомата в грудь Семёну. — Уведи-ка его к остальным, — обернулся он к напарнику, — а то он нам только меша...

Договорить он не успел. Спокойно стоящий перед ним Семён вдруг сделал неуправляемое движение руками, и зек удивлённо повернул голову в сторону кровати, на которой лежал выбитый из его рук автомат. Опять взглянуть на Семёна он не успел: тот совершенно безучастно поднял руку и воткнул зеку в ухо протирку, используемую для очистки ствола автомата. И теперь равнодушно наблюдал, как дёргается возле его ног умирающий человек с нелепо торчащим из уха металлическим прутком.

Второй зек, оправившись от удивления, отпрыгнул от Семёна, выдернул из болтающегося на поясе чехла нож, пригнулся и, выставив перед собой руку с тесаком, прошипел:

— Ну! Давай, урод психованный! Давай! Подходи!

Елена Сергеевна, запахнув на себе халат, с ужасом наблюдая за изменившимся пациентом, вдруг ясно осознала, что человек, размахивающий перед Семёном ножом, обречён. Он сейчас умрёт, шансов у него нет. Как будто услышав мысли доктора, Семён по-птичьему наклонил голову влево и шагнул под неминуемый удар клинка.

Елена Сергеевна так и не смогла понять, что же произошло, лишь успела увидеть, как рука с ножом метнулась в живот Семёну, но хищно сверкнувшее лезвие прошло мимо. Извернувшись немыслимым образом, Семен, крутнувшись вокруг своей оси, оказался сбоку от зека, перехватил его руку, резко вывернул её и ударом ладони сломал в локтевом суставе. Елена Сергеевна знала, что при такой травме боль должна быть очень сильной, но зек заорать не успел. Семён перехватил выпавший из покалеченной руки зека нож и вонзил его тому под нижнюю челюсть, пробив нёбо и убив мозг.

Елена Сергеевна, глядя на весь этот ужас, судорожно всхлипнула и прошептала:

— Нам надо уйти отсюда! Слышишь, Семён?! Уйти!

И она, зябко кутаясь в халат, начала судорожно осматриваться, уже понимая, что спрятаться им негде. Наверное, Семён её всё-таки услышал, а может, и нет, может, он просто захотел уйти из палаты. Но Елена Сергеевна вдруг увидела его уже стоящим в дверях. Однако до того, как закрыть дверь, он обернулся и внимательно посмотрел на неё провалами тёмных глаз. И она, словно повинувшись какому-то приказу, молча, не оглядываясь на убитых людей, пошла к ставшему совершенно ей незнакомым человеку.

Доктор торопливо пересекала холл, постоянно оглядываясь на идущего сзади парня. Она уже миновала кабинет главного врача, когда за её спиной неожиданно прогрехотали три выстрела. Они оказались настолько оглушительными, что она взвизгнула и присела, закрыв голову руками. Она сидела на корточках до тех пор, пока не услышала чей-то хриплый прокуренный голос:

— Ну что, дамочка! Бугра нашего, значит, завалили?! А теперь прогуливаетесь тут в своё удовольствие?

Елена Сергеевна, не решаясь отнять руки от головы, прошептала:
— Нет-нет, что вы! Я никого не заваливала!

— Руки от башки убери и сюда смотри! — повысил голос говоривший, и доктор, медленно опустив руки, посмотрела на стоящего перед ней человека.

Этот был другим, глаза у него были умными, Елена Сергеевна это сразу отметила. Он не стал зря рисковать, обнаружив трупы своих напарников. Он, выйдя из кабинета главного врача, сразу начал стрелять в самого опасного, по его мнению, противника. В Семёна, который сейчас сидел, привалившись спиной к стене, и смотрел на неё остановившимся взглядом.

— Я знаю, что его не ты завалила! — хмыкнув, проговорил зек и опустил руку с пистолетом, который держал направленным в её сторону.
— Встань! — наконец велел он. — Поговорим, время есть, не начнут они штурм, пока у нас заложников куча.

Елена Сергеевна встала и, опустив руки, обречённо посмотрела в небритую рожу зека.

— Он убил бугра и его шестёрку? — спросил небритый и кивнул в сторону Семёна.

— Я не знаю, — пролепетала Елена Сергеевна, — я не видела.

— Даладно тебе! — неожиданно рассмеялся зек. — Ты не могла! Значит, этот! — и он мельком глянул в сторону тела Семёна.

— Чтобы свернуть шею такому, как наш бугор, нужен такой же амбал, ну или псих. Я читал, что отсутствие мозгов у придурков компенсируется физической силой. Я прав? Или нет? — повысил голос небритый, с удивлением глядя, как докторша, подняв руку, закрыв себе рот ладошкой, смотрит широко открытыми глазами ему за спину, словно увидела там что-то страшное.

Он не успел узнать, прав он был или нет. Он не успел обернуться. Его шею пробило широкое лезвие ножа, уже однажды забравшее жизнь одного из зеков. Небритый ещё стоял несколько секунд. Его тело не хотело умирать, и затухающий разум заставлял руки хвататься за отточенное лезвие, разрезая пальцы и ладони.

«Странно, почему нет крови? — поражаясь собственному спокойствию, подумала Елена Сергеевна. — Кровь должна быть! Артерия явно перерезана!» И, судорожно вздохнув, доктор сделала шаг в сторону, чтобы не стоять перед умирающим человеком. И, словно поняв, что перед ним освободилось место, изо рта небритого хлынула кровь. И уже мёртвое тело, упав, ткнулось лицом в каменный пол.

Елена Сергеевна с трудом оторвала взгляд от быстро увеличивающейся лужи крови и метнулась к Семёну, который медленно оседал на пол. Она успела подхватить его под плечи и, понимая, что не удержит тяжёлое тело, оперлась спиной на стену и сползла по ней, не позволив парню упасть. А потом положила его голову к себе на колени и начала гладить по жёстким спутанным волосам.

— Я знаю тебя! — вдруг прошептал Семён и, открыв глаза, улыбнулся ей. — Я всегда тебя знал! Ты ведь Солнце?

Глаза Семёна были ясные и чистые, они не были безмятежными в своём больном спокойствии. Его глаза были живыми. Живыми глазами умирающего счастливым человека.

Елена Сергеевна сидела на полу и, укачивая голову Семёна, плакала. Она плакала навзрыд, не обращая внимания на ворвавшихся на второй этаж спецназовцев, которые, словно оберегая их с Семёном покой, обступили их полукругом и никого не подпускали, давая им время для прощания. Елена Сергеевна плакала, и слёзы, стекая по её лицу, падали на улыбающиеся губы Семёна и на его мёртвые глаза, как будто он оплакивал свою наконец-то закончившуюся жизнь. Нет, она не жалела этого мёртвого парня. Она сострадала ему. Сострадала тому, что ему пришлось пережить при жизни, когда его, раненого, захватили боевики, воевавшие в Чечне. Она страдала от того, что они сотворили с живым человеком, узнав, что он спецназовец. Она страдала от того, что он не умер сразу и хлебнул смертной муки полной мерой. Но самым страшным было то, что он, вновь обретя разум, умер. Улыбнулся и ушёл, ушёл туда, где нет ни страдания, ни боли. — Я тебя знаю! — опять повторил Семён, и перед его глазами ярко блеснул свет.

Но этот свет не вызывал слёз, он был мягким и нежным, он подхватил измученное тело Семёна и понёс его в голубую, словно цветы незабудки, высь.

— Я тебя всегда знал! Я знал, что ты есть! Я знал, что ты придёшь ко мне! Ты ведь Солнце?! Тебя ведь звать Солнце?!

— Да, любимый! — наклонилась над Семёном необыкновенно красивая девушка с золотыми волосами. — Я — Солнце! Я так долго тебя ждала! И ты пришёл. Нам пора!

Она взяла Семёна за руку, и его душа, раскинув призрачные крылья, смеясь, устремилась следом за ней, за своим счастьем по имени Солнце.

Из руки умершего человека выпал помятый, красный от крови цветок незабудки.

Марат Валеев

Невыдуманные рассказы

КУЗНЕЦ И РАЗБОЙНИК

То ли сразу после Октябрьской революции, то ли в первые годы Гражданской, когда во многих отдалённых уголках бывшей империи царили анархия и безвластие, у паромной переправы через Иртыш, ведущей к волостному поселению Иртышск Павлодарского уезда, разбойничал некий несознательный элемент по кличке Угрюмушка. Погоняло его, по всей вероятности, происходило от фамилии Угрюмов, и носители её, кстати, живут в Иртышске по сей день.

Угрюмушка тот обладал недюжинной физической силой, когда-то был каторжанином и, как принято говорить в наши дни, на путь исправления не встал, а предпочёл честному труду разбойный промысел.

В Иртышске, с тогдашним населением в пару тысяч человек, имелся большой базар, куда свозили на продажу плоды своего непосильного труда обитатели казахских аулов, жители переселенческих поселений, возникавших по всей Сибири и на территории нынешнего Казахстана в ходе Столыпинской земельной реформы, ну и казаки из ближайших станиц и укреплений казачьей прииртышской линии.

Угрюмушка всегда действовал один. Вместе со своим верным конём он прятался в прибрежных кустах раkitника на правом берегу, неподалёку от паромной переправы, выжидая свою добычу — тех, кто, расторговавшись на базаре и выручив какую-то денежку, возвращался из Иртышска домой, на высокое правобережье.

Паром тогда, понятное дело, был не таким, как сегодня — вместительным и на дизельной тяге. Это была платформа-плашкоут, на которую одновременно могли загрузиться максимум три-четыре подводы и с десятков пеших людей или тройка-четвёрка верховых. Угрюмушка, выждав момент, пускал коня в намёт, нагонял тарахтящую по просёлочной дороге выбранную им телегу, с ходу бил дубиной хозяина по голове и, угрожая остальным его спутникам, если таковые были, своим былинным страшным оружием, забирал выручку и всё ценное, что находил в телеге. Если же добыча казалась ему мала, он выпрягал ещё и лошадь, брал её под уздцы, садился на своего коня и был таков.

Грабил Угрюмушка нечасто, на промысел шёл только тогда, когда начинал чувствовать себя материально стеснённым. Он обладал поистине звериным чутьём, и когда на него устраивались засады, на «дело» не шёл.

Длился этот беспредел, говорят, года два. На счету Угрюмушки были уже не просто рядовые ограбления, но и несколько «мокрух»: двое или трое его жертв не выжили после страшных ударов тяжёлой дубиной. Так что по нему уже давно плакала не просто каторга, а петля висельника. Угрюмушка это понимал и был предельно осторожен. И всё же однажды он попался, причём вовсе не тогдашним стражам правопорядка. Но всё по порядку.

В один из тихих предосенних дней, когда в пойме Иртыша начинающая желтеть листва тополей и верб не шелохнётся, а воздух прозрачен и чист, Угрюмушка привычно сидел в засаде на полпути между паромной переправой и подъёмом луговой дороги на высокий песчаный берег.

Он пропустил громыхающую подводку с горляющей компанией из нескольких мужиков и баб — с такой оравой ему было бы трудно управиться. Не обратил внимания и на двоих верховых казаков — с теми вообще шутки были плохи, так как они не расставались с оружием.

А вот когда спустя ещё полчаса увидел из-за кустов раKITника неторопливо катящуюся подрессоренную бричку всего с двумя седоками — крупным мужиком и ярко разодетой бабой, в глазах его мелькнул азартный блеск: «С этими-то справлюсь на раз!»

Он вскочил на коня, перехватил поудобнее дубину и с места взял в галоп. До брички оставались уже считанные метры, когда попутчица мужика обернулась на топот копыт и испуганно закричала:

— Ваня-я!

Ваня оглянулся вовремя — в голову ему уже летела дубина. Но он как-то умудрился перехватить её огромными ручищами и дёрнуть на себя.

Угрюмушка с выпученными от изумления глазами полетел с коня наземь. А на него с повозки грузно спрыгнул и тот, кого перепуганная баба назвала Ваней.

Оставшийся без хозяина конь Угрюмушки дальше не поскакал, а остался стоять рядом с барахтающимися обочь дороги хрипящими мужиками. Бричка же, потерявшая управление, катила себе дальше, а без конца оглядывающаяся назад баба с белым от испуга лицом суматошно и неумело тянула на себя вожжи, пытаясь остановить меланхолично ёкающую селезёнкой лошадь.

Оседлавший Угрюмушку мужик оказался кузнецом, живущим в ближайшем казачьем поселении. Он время от времени ездил торговать в Иртышск всякими коваными изделиями, которые на базаре уходили просто влёт, потому что сюда, на окраину громадной империи, заводские и фабричные товары с началом великой смуты поступали всё хуже и хуже.

Если бы замысел разбойника удался, он бы неплохо поживился: Иван распродав всё своё железо и вёз домой хороший куш. Но, как всякий кузнец, Иван обладал большой физической силой и потому

хоть и не сразу, но смог скрутить разбойника и связать ему руки за спиной ремнём.

— Так ты, поди, и есть тот самый Угрюмушка? — отдышавшись и отирая пот с красного лица картузом, спросил поверженного супостата кузнец.

Он подобрал с земли дубину и с интересом вертел её в руках. Разбойничье оружие весило не меньше полупуда, рукоять была отполирована за долгий срок использования до блеска, на утолщённом конце темнели следы засохшей крови с прилипшими волосками.

Если бы жена Евдокия вовремя не заметила опасности, на этой жуткой дубине появилась бы и его кровь. Вон Евдокия, кстати, и сама едет к ним — сумела остановить и развернуть бричку.

— Ну хотя бы и он! — мрачно ответил разбойник. — Ты бы лучше отпустил меня, мужик.

— А то что? — насмешливо прогудел кузнец.

— Ванюшка, ну его. Поехали домой, а? — проныла с остановившейся рядом брички Евдокия.

— Да подожди ты! — цыкнул на неё Иван. — Так что мне будет, ежели не отпущу тебя, а?

— А то! — с угрозой дёрнул чёрными с проседью усами Угрюмушка. — Ну, отвезёшь ты меня к исправнику или сдашь казакам. А я сбегу и потом найду тебя...

— Ой, как страшно! — захохотал кузнец, показывая из бороды крепкие желтоватые зубы. И тут же посерьёзnel. — Никуда я тебя сдавать не буду — нужда была такое говно на своей бричке возить. А вот наказать тебя за твоё душегубство — накажу. Как наши деды дельвали.

— Ты чего это удумал, Ванюшка? — испуганно пролепетала баба из брички. — Не бери грех на душу!

— Да какой там грех, — отмахнулся от неё кузнец. — Вот на ём грехов — не перечести. Ладно, баба, ты пока побудь здесь. А я щас...

Иван крепко взял беспокойно зыркавшего по сторонам глубоко посаженными тёмными глазами Угрюмушку за шиворот и волоком потащил его в придорожные кусты.

— Ты чего, а? Ты куда это меня, а? — не скрывая испуга, забормотал тот, пытаясь поймать опору своими волокущимися по высокой траве ногами в тяжёлых сапогах, чтобы привстать.

Но Иван тут же развернулся и с размаху ударил его кулаком по лысеющему затылку. Угрюмушка обмяк.

— Только не убивай его! — опять заголосила с дороги Евдокия.

— Вот дура баба! — сплюнул кузнец.

Он бросил разбойника под шарообразным кустом ракиты, порылся в карманах поношенного пиджака, достал моток бечёвки и связал ею ноги всё ещё остающегося без чувств Угрюмушки. Затем подошёл к кусту ракиты и стал внимательно осматривать её упругие ветви, одну за одной подтягивая к себе.

— Вот вроде ничё,— пробормотал он и, вынув из кармана небольшой складень, раскрыл его и срезал нагнутую верхушку выбранного прута с несколькими ответвлениями.

Затем стесал эти веточки и в итоге получил палочку сантиметров в двадцать пять — тридцать длиной, с небольшими зазубринами на месте сучков, всего этих заусениц было три или четыре. Один конец палочки заострил и, сказав:

— Ну, Господи, прости! — шагнул к лежащему на траве Угрюмушке.

Тот уже пришёл в себя и враждебно следил за действиями кузнеца.

— Жить хочешь? — сочувственно спросил Иван.

Разбойник промолчал, обеспокоенно пытаясь понять, чего же удумал сотворить с ним этот бородатый увальень.

— Тогда не дёргайся!

Кузнец перевернул Угрюмушку на спину и, взяв за плечи, посадил. Потом расстегнул на нём ворот рубахи, легко порвал её, обнажая крепкие волосатые плечи, потянул трещавшую в его крепких руках ткань на спину.

— Ты чего, ты чего, а?

Не на шутку перепуганный разбойник ворочал белками выпученных глаз, нижняя губа у него дрожала.

— Сиди смирно, ушкуйник! — рыкнул на него кузнец.

Поразмыслив секунду, снова оглушил Угрюмушку ударом кулака по голове и опустил его на землю.

— Так-то вернее будет.

И, присев на корточки перед лежащим на боку разбойником, он оттянул у него на спине кожу меж лопаток и быстрым движением прорезал её лезвием складня. Угрюмушка глухо застонал. Кузнец, не теряя времени, взял приготовленную перед этим ивовую палочку и засунул её заострённый конец в кровоточащий надрез. Убедившись, что попал куда надо, он тут же резким движением затолкал под кожу всю палочку. Спина у позвоночника тут же взбугрилась от остатков сучков. — А-а-а! — отчаянно и сипло закричал от чудовищной боли окончательно пришедший в себя разбойник и, перевернувшись на живот, заскрёб сапогами по траве, задёргал связанными руками, замотал кудлатой головой. — Ой, сука, ты что сделала-а-ал?!

— Что заслужил, то и сделал, — почти равнодушно сказал кузнец.

Присев в ногах Угрюмушки, он разрезал опутавшую их бечёвку. Руки же оставил связанными.

— Вот теперь иди куда хошь, — хмыкнул он. — Хошь на разбой, хошь к фершалу. И запомни: ещё раз попадёшься, я тебе твоей же дубиной все кости переломая!

И он вернулся к покорно ожидающей его в повозке жене. Подобрал и закинул в бричку увесистое орудие разбойничьего промысла, следом залез сам, забрал из рук Евдокии вожжи и, пошевелив ими, бодро скомандовал лошади:

— Н-но!

Кобылка дёрнула хвостом и, уверенно управляемая хозяином, круто, почти на месте, развернула бричку и зарысила по накатанной дороге к подъёму с луговины. Кузнец и Евдокия сидели в повозке, покачиваясь, плечом к плечу, молча, почти торжественно, и ни разу не оглянулись назад. А там Угрюмушка, матерясь и стелая, с трудом встал на ноги и, выбравшись из-под куста на дорогу и очень прямо держа спину, ходко, почти бегом, зашагал в сторону паромной переправы.

Он хоть и был разбойным человеком, но, как и все, очень хотел жить и, как все, очень плохо относился к физической боли, которую ему сейчас причиняла засевшая в спине между лопаток и ниже небольшая зазубренная палочка.

А за ним, пофыркивая, покорно тупал копытами его верный конь, не понимая, почему хозяин всё время мычит и идёт пешком, а не хочет оседлать его и помчаться за какой-нибудь телегой...

Что было дальше с Угрюмушкой — я не знаю, как не знал этого и поведавший эту легенду мой газетный наставник Леонид Павлович. А ему эту историю, в свою очередь, рассказал внук того самого кузнеца. И он же поведал, что с той поры у паромной переправы больше никто не безобразничал...

ШАШКА ДЕДА ЛУКАША

Детство моё прошло в Северном Казахстане, в бывшем казачьем форпосте Пятерыжск. Для непосвящённых поясню, что Сибирское казачье войско было образовано по Иртышу в восемнадцатом веке, ещё при Петре Первом, и крепости, станицы и форпосты тянулись пограничной линией (отсюда — линейные казаки) от тюменских краёв до Усть-Каменогорска.

Казакам нравилась их служба, их жизнь с определёнными привилегиями, и они враждебно встретили Октябрьскую революцию. Сибирское казачество приняло активное участие в контрреволюционных действиях 1918 года, стремясь свергнуть власть ненавистных большевиков и в Павлодарском уезде.

Но набравшая силу Красная армия быстро справилась с мятежом и разобралась с самими бунтарями: кого в застенки, а кого и к стенке. Тогда многие не смирившиеся казаки примкнули к дутовцам, семёновцам и иже с ними. Печальна их судьба: многие пали в боях, другие навсегда остались на чужбине, в китайских землях.

Но немало было и таких, кто смирился и признал Советскую власть, служил ей, а затем вернулся в родные станицы, к мирной жизни. С казачеством было почти покончено как с неблагонадёжным классом. И иртышские казаки стали простыми крестьянами, тружениками колхозов и совхозов и вроде бы прилежно строили социализм.

Но вот уже в шестидесятые годы в Пятерыжске, в одну из годовщин революции, из слухового окна чердака старого пятистенка, стоящего

неподалёку от магазина, высунулся пьяненький дед Лукаш (ему было уже за семьдесят) и с криком:

— А-а-а, твою мать, не дождусь я, оннако, кады наши придуть! — выкинул на улицу сначала шашку, а следом и винтовку.

Был праздничный день, у магазина толпилось немало сельчан, и все они с изумлением видели, как на подмёрзшую землю с лязгом брякнулось всё это казачье вооружение, десятки лет дожидавшееся, да так и не дождавшееся своего часа.

Протрезвевшего деда Лукаша на следующий день увезли в район-центр специально приехавшие за ним штатские на неприметном «газике» с брезентовым верхом. А обратно он вернулся сам, на попутке. И, присмиревший и задумчивый, так же продолжал сидеть на завалинке у своего бревенчатого дома и смолить излюбленные самокрутки. Вскоре он умер, унеся с собой тайну хранившегося на чердаке и выкинутого им за ненадобностью арсенала.

Винтовку тогда вроде нашли сразу и сдали в милицию. А вот шашка пропала. Но ненадолго: когда пересуды про «затаившегося белоказака» деда Лукаша поутихли, шашка вынырнула. Она, оказывается, была в руках у братьев Таскаевых (старинное, между прочим, казачье семейство) — Генки и Ивана. Они первыми и увидели, как шашка упала с крыши, подхватили её и удрали.

Братья затем носились с ней по задмам села, в ближайшей роще, а с ними ещё кучка пацанов с горящими глазами. Был среди них и я. Братья Таскаевы давали всем желающим подержать настоящую боевую казачью шашку с потемневшим и местами поржавевшим, но всё ещё очень острым клинком. У самого основания его можно было разглядеть выбитые цифры и буквы, гласящие, что шашка выкована в тысяча восемьсот каком-то году в Златоусте.

Но потом шашка опять куда-то задевалась, и все про неё благополучно забыли, вплоть до наших дней. Пока я, не вспомнив эту историю, не списался с Геннадием Таскаевым (сейчас он на пенсии, а тогда был директором той самой восьмилетней сельской школы, которую и я закончил в своё время), чтобы выяснить, куда же подевалась потом старая казачья шашка.

Гена, оказывается, тоже помнил эту историю. Он написал мне, что шашку забрал с собой при переезде в соседнее село Бобровка его двоюродный брат Иван, тот самый, с которым они первыми увидели, как дед Лукаш скинул её с крыши тем памятным днём, а они тут же её подобрали...

В Бобровке Иван как-то не поладил с местными парнями, и они его побили толпой. И тогда он, разозлившись, заскочил в дом, схватил шашку и с гиканьем, как когда-то его предки, погнался за своими обидчиками. Те в ужасе бросились на берег Иртыша и заскочили в воду, так как Иван продолжал теснить их, со свистом вертя шашку над головой.

Ну а потом к нему домой наведалься местный участковый и конфисковал шашку. А спустя какое-то время её, говорят, видели в областном краеведческом музее, в разделе, посвящённом истории иртышского казачества. Ну что ж, теперь ей там самое место...

НЕМЕЦКИЙ КАЗАК

Действие происходит в семидесятые годы в прииртышском сельце Пятерьжск. Этот бывший казачий форпост стоит на правом крутом берегу Иртыша, а на левом, в пяти километрах, — крупный районный центр Иртышск. Там есть базар, и туда по воскресеньям на телегах, через паромную переправу, ездят многие пятерьжцы приторговывать помидорами, рыбой, картошкой, молоком, маслом — кто чем богат. Обрато возвращаются, накупив на вырученные деньги сахар, муку, соль, детишкам — школьные вещи. Мужики обычно уже поддатые: пока жёны расторговываются, они успевают не раз и не два смотаться за чекушкой, выцарапывая у своих супружниц мятые рубли буквально с боем.

Приехал с базара хорошо подогретым и дядя Саша Гергерт. Он был из поволжских ссыльных немцев, во время войны его мобилизовали в трудармию, он где-то валил лес, обратно вернулся с покалеченной ногой. Ходить дяде Саше было трудно, и он обзавёлся личным конным экипажем взамен инвалидной мотоколяски. Он прекрасно обучился обращению с лошадьми, бричка у него была подрессоренная, на мягком ходу. Всегда смазанная, она шла ходко и практически бесшумно, если не считать ёканья лошадиной селезёнки.

Поддав, дядя Саша любил с шиком промчатся по пыльным пятерьжским улицам, при этом разбойно гикая и отчаянно, с неистребимым немецким акцентом, матерясь. Ему бы цыганом родиться. Да он, впрочем, и был каким-то нетипичным немцем — смуглым, с громадным вислым носом, пегими от седины кудрями. Не хватало только серьги в ухе.

Высадив жену с покупками у своего дома, дядя Саша хлестнул в воздухе кнутом (лошадей, надо отдать должное, он практически не бил, только пугал) и покотил в дальний конец деревни. Потом свернул на параллельную улицу и помчался в обратную сторону, оставляя за собой клубы пыли, а нередко и раздавленных куриц. Продольных улиц в деревне было всего три, и потому дядя Саша через каждые пять минут возвращался на свою и проносился мимо скорбно стоящей у кленового палисадника жены — тётки Дуси.

— Саша, хватит, давай домой! — завидев его и вся подавшись вперёд, кричала она дяде Саше.

А тот, упиваясь захватившей его магией быстрой езды, уже не сидел, а стоял в бричке и, размахивая концами вожжей, орал что-то непотребное. Оскалившаяся лошадь была вся в мыле и громко храпела, но и её сейчас никакая сила не могла остановить: оба они, и лошадь,

и её хозяин, были во власти скорости. Мгновение — и сдуревший экипаж оказывался на другом конце деревни. И так — несколько раз. — Ах ты, фриц поганый! — бессильно проклинала своего непутёвого супруга тётя Дуся, поправляя сползший с головы платок и возвращаясь на угол палисадника.

Потом она всё же додумалась распахнуть ворота настежь и выбежать на середину улицы, когда в конце её снова показался лихой немецкий «казак» дядя Саша Гергерт.

— Саша-а! Сюда! Мы вот здесь, вот туточки живё-ом! — пронзительно закричала она, одной рукой вздымая вверх свой яркий, только сегодня купленный на базаре платок, а второй указывая на распахнутые ворота — ну чисто уличный регулировщик.

И, повинувшись этому властному и в то же время отчаянному жесту, экипаж на полном ходу влетел в распахнутые ворота, которые тётя Дуся тут же хлопотливо заперла, злорадно приговаривая:

— Ну, чёрт колченогий, сейчас ты у меня попрыгаешь!

И можно было не сомневаться: попрыгает!

Геннадий Соловьёв

Шуточки Дианы

В семидесятых годах, когда Фёдор работал в промхозе штатным охотником, они с молодым старове́ром Германом Угрениновым занимались отстрелом лосей для нужд промхоза. К ним в избушку, что стояла на высоком берегу у озера со странным названием Болваново, напросился, чтобы добыть для себя мясо, Геркин односельчанин, тоже старове́р, Мануил, а попросту Монка. В широкой пойме реки, которая впадала в Енисей по левому берегу, зверя было много, он собирался туда на зимний отстой. В пойме было намного меньше снега, чем на хребтах, и она была заросшая пихтовым подростком, а берега поросли густыми тальниками.

Вечером, когда Герман с Фёдором уже поужинали и пили чай, за дверью заскрипели лыжи подошедшего Мануила. Фёдор вышел встретить. Монка отхлопывался от снега. У зверовых охотников привычка: первый взгляд — на бродни. Они сразу покажут, удачный был день у охотника или пустой. У Монки они были чистые, не замараны кровью. Фёдор зашёл обратно и сказал об этом Герману. Тот ухмыльнулся: «Вот увидишь, сейчас будет рассказывать, как подошёл к сохотому и в последний момент что-то помешало».

После того как запоздавший охотник поужинал, он начал рассказывать, как следил зверя, и в какие заросли тот залазил, и как он увидел его лежащего и взвёл курки, но показалось далековато для ружья. И он для верности выстрела решил ещё немного подойти. И тут, будь оно неладно, прямо из-под ног — табунчик рябков: как растрещались! Ну, от лося только задницу увидел. Рассказывая, Монка входил в роль. Это уже был не рассказ, а мини-спектакль. Конопатое лицо Монки с аккуратной бородкой оживало, его голубые глаза, казалось, ещё более голубели. Спокойно он не мог рассказывать. Его стройное жилистое тело было всё в движении. Последовательно своим словам он вскидывал воображаемое ружьё и пригибался под несуществующие деревья. Герка слушал с серьёзным лицом, но глаза отводил в сторону.

Да-а-а, когда это было! Уже и Герки нет, а Фёдору — семьдесят лет. Фёдор вздохнул и плотнее укутался в спальник. Надо было вставать, но из тёплого, нагретого спальника вылезать не хотелось. По холодному воздуху, который находил незаметные щели, как ни укутывайся, и холодил струйками тело, чувствовалось, что зимовье выстыло основательно. После вчерашнего перехода на лыжах по мелкому снегу, где каждая кочка или торчащий сучок выворачивали ноги, тело болело.

Ныли плечи от лямок поныги. Приятная дрёма стала убаюкивать Фёдора, а он сильно не сопротивлялся — ещё темно. Мысли как-то вразной, ни с чем не связанные, перетекали с одного на другое, подсовывая картинки воспоминаний давно минувших дней.

Опять вспомнились Монка с Германом. Монка тогда так лося и не добыл. Через пару дней выяснило и подморозило, и охота с подхода стала невозможна. Поделившись с неудачливым охотником мясом, они вышли домой.

Интересно, врал тогда Монка про то, что помешали ему рябчики, чтобы скрыть своё неумение, или нет? У Фёдора тоже, наверное, пару раз такое при скрадыванье сохатого было. Трескотню рябчиков лось понимает правильно: тревога! Но у Монки слишком часто получались эти казусы. На следующий день он вроде подошёл к зверю, но когда стал целиться, задел какую-то ветку, и здоровый ком снега упал на ствол. Пока приводил ружьё в порядок, лось его заметил. Ведь есть же неvezучие люди! Или, как говорят, лукавый за ними ходит.

Эти воспоминания вернули Фёдора к дням насущным. Что-то у него нынче с добычей лося тоже как-то не получалось, хотя зверь был. Пару раз собаки облаивали лосей, но осень стояла на редкость тёплая. Боясь проквасить мясо, Фёдор их не добывал, хотя место было удобное для вывозки. Потом, когда ударили заморозки, пошло что-то непонятное. Только собаки начинали облаивать, как звери срывались и уходили галопом. Фёдор подозревал, что сохатые кем-то пуганные (потом это предположение подтвердилось — волки).

За стенкой заворчали собаки. Старого кобеля Фёдор оставил дома, а взамен взял на промысел двух молодых кобелей, по второму году, чтобы выбрать одного из них себе. Их мать, западносибирская лайка Шилка была зверовой собакой, и ей нужен был помощник. Эти два брата оказались на редкость драчливые, из-за каждой мелочи у них мгновенно возникали потасовки. Дрались с какой-то звериной злобой, до изнеможения, но ни один из них не уступал другому первенства. Фёдор прикрикнул на них, но рычание не прекратилось, а стало более громким и угрожающим. Пришлось стучать о стенку зимовья с обещанием выйти их успокоить. Распахнутый спальник мгновенно наполнился холодом, который разогнал приятную утреннюю дрёму. Пришлось вставать и затапливать печь. С вечера ночь была звёздная, и Фёдор надеялся, что плёса зашугует и заморозит, чтобы можно было переходить речку и срезать на ней кривуны. Но с утра посыпала снежная крупа, и мороз ослабел. Выйдя на берег, Фёдор понял, что сегодня его ждёт длинная дорога берегом, огибая все изгибы реки, скользя по косогорам и каменистым откосам. Речку напротив избушки перехватило льдом, но посередине были видны промоины, в которых, закручиваясь воронками от сильного течения, бежала и билась о края полыньи сжатая льдом вода. Собаки, выбежав на лёд и осторожно принохиваясь, ходили, смешно приседая, когда лёд под

ними начинал трещать. Не так пугала длинная дорога, как тяжёлый рюкзак. Плечи за ночь не отошли, и места, где натянули лямки от поняги, горели.

Тяжесть в поняге создавала в основном привада — подтухшая птица. Конечно, идя берегом, была возможность добыть глухарей, так как склоны речки были усыпаны голубикой, но каждый нормальный охотник знает поговорку про журавля и синицу и что количество дичи в тайге не гарантирует, что в этот день ты будешь с добычей.

Что бы Фёдор ни думал, он опять вышел с тяжёлым сидором, и вдобавок приходилось местами по камням снимать лыжи и нести их под мышкой. День народился пасмурный, и морозец совсем отпустил — хуже нет нести груз в тёплую погоду. Пот моментально пропитывает одежду, и как ты ни расстёгивай застёжки и пуговицы, он начинает струиться меж лопаток и со лба скатывается на брови. Оба кобеля убежали вперёд, а Фёдор с сучкой, привязанной поводком к поясу, потихоньку шёл берегом вверх по течению. Пройдя километра два, он неожиданно увидел одну собаку на другом берегу. Когда кобель перескочил, Фёдор просмотрел. Перехваченная льдом речка была только возле избушки, дальше тянулась открытая вода. Фёдор разозлился на собаку, и когда кобель выскочил из кустов напротив, стал его материть, прекрасно понимая, что тому «по фигу», а руганью он только срывает зло на себя, что проглядел, как тот перебежал на другой берег. Если собака найдёт что-нибудь, Фёдор не сможет туда перейти. Осень была дождливая, и вода поднялась почти до весеннего уровня. Когда придавили заморозки, она упала. Вдоль берегов карнизом навис примёрзший к земле лёд, и речка текла ниже его уровня. Если собака надумает переплыть, то на берег она уже не сможет выбраться, будет заплывать под лёд. А выскочить на него у неё не хватит сил, потому что вода была ещё довольно большая и ноги у неё не достанут до дна, чтобы оттолкнуться. Возвращаться назад, чтобы переманить собаку, не хотелось, и Фёдор решил идти дальше, надеясь, что выше по реке где-нибудь её перехватит льдом, и тогда он переманит собаку.

Где-то часам к двум он вышел на жировку сохатых. Они утоптали берег, кормясь тальниками. По чуть присыпанным следам было видно, что это происходило утром. Фёдор стоял в раздумье, что делать. Опытная охотница Шилка возбуждённо нюхала пропахший тальниками воздух и следы, всем видом показывая, что она готова тут же унести на поиски этих долгоногих. Хотелось добыть мясо, но неизвестно, где собаки их настигнут: может, они ушли далеко от реки, и он только потеряет время, и придётся возвращаться назад в покинутое утром зимовье. Постояв в раздумье, Фёдор решил, что если звери были бы недалеко, то молодой кобель как-нибудь это показал бы, потому что с матерью он уже лосей облаивал; а тут понюхал след и спокойно побежал дальше.

Одёрнув возбуждённо крутившуюся сучку, Фёдор пошёл дальше своей дорогой. Лосиные следы, идущие навстречу, были везде. Пройдя с километр, он начал жалеть, что не отпустил опытную собаку, потому что понял, что сохатые паслись здесь не один день. Видать, на днёвку просто отходили подальше от реки, а молодой и неопытный кобель не пошёл проверять по следу. Взлаял со щенячьим визгом второй кобель на другом берегу, и тут же заворчал соболю. Собака, азартно захлёбываясь, стала его облаивать. Хорошо было слышать недовольное ворчание соболя. Второй кобель на Фёдоровом берегу тоже с лаем бежал по кромке льда, намереваясь прыгнуть в воду, но его останавливало, что лёд высоко поднят над водой. Фёдор закричал на собаку и, схватив какую-то палку, кинул в него. Тот непонимающе отскочил от края, и Фёдор, подманив его, пристегнул к ошейнику сучки. Фёдора стали одолевать предчувствия, как бы не пришлось из-за собаки возвращаться, потому что он так и не встретил место, где бы речку перехватило льдом.

Что молодой кобель загнал своего первого соболя, радости у Фёдора не вызвало, наоборот, росло какое-то раздражение, что всё так нескладно получается. Хотелось остановиться, отдохнуть и вскипятить чаю, но до конца пути было далеко, и надо было спешить. Подзывая лающую на другом берегу собаку, он продолжил путь. Минут через тридцать кобель бросил соболя и, догнав их, побежал по противоположному берегу самой кромкой льда, явно испытывая желание перебраться в общую компанию. Фёдор отпустил пристёгнутого кобеля. Речка так и текла, нигде не перехваченная ледяным мостком. До поворота к избушке, которая стояла в пяти километрах в стороне, было глубокое и тихое плёсо с большим уловом на изгибе. Там река всегда быстро затягивалась льдом, и Фёдор сильно надеялся, что в том месте собака перебежит на их берег. Немного не доходя до этого места, Фёдор услышал хлопанье глухариных крыльев, потом недовольное скерканье птицы. Залаяла собака. Скинув рюкзак, Фёдор стал потихоньку подходить на лай. Подошёл удачно: глухарь сидел удобно для выстрела на высокой лиственнице, которая росла на берегу. «Донесу до сворота, а там подвешу, чтобы потом забрать», — целясь, думал он. После выстрела птица, отчаянно хлопая крыльями, стала подниматься вверх. Потом замерла и, раскинув крылья, спланировала вниз. Послышался всплеск воды. Выскочив на чистое место, Фёдор увидел бегающих по краю обоих берегов собак и плывущего серым пятном посередине реки между обломками мелкого льда глухаря. «Ну вот, нести и подвешивать не надо!» — ругнувшись, подумал Фёдор. Оттого, что зря загубил птицу, настроение стало совсем паршивое.

Дойдя до плёса, на которое Фёдор возлагал надежды, что оно замёрзшее, Фёдор увидел текущую ленту зашугованной воды, которая тянулась из-за далёкого поворота реки. Подойдя к густой ели, возле которой впадал ручей, Фёдор снял понягу и, смахнув с валежины

снег, сел отдохнуть. Здесь надо сворачивать от реки и идти горелой тайгой до зимовья ещё шесть километров. Фёдор достал кусок хлеба с салом и решил перекусить всухомятку. Подбежали собаки и стали крутиться возле, глядя в глаза в ожидании, что хозяин поделится, что он не замедлил сделать.

Медленно жуя хлеб, смотрел на нервно бегающего кобеля на другой стороне, который видел, что собаки что-то едят. Фёдор выговорил ему со злорадством: «Вот, смотри теперь, глотай слюни, чмо лохматое. Чего тебе не бежалось со всеми? Теперь из-за тебя, м... ка, придётся возвращаться». Фёдор серьёзно опасался, что если он продолжит путь от реки, то собака, кинувшись в воду, на берег без помощи уже не вылезет. Как-то стало безразлично, что день будет потерян. Он смотрел на заснеженные берега, на равнодушную воду, которая вяло несла по плёсу шугу и редко белеющие кусочки льда. Переведя взгляд на далёкий зубчатый хребет, по которому катилось тусклое солнце к закату, Фёдор подумал: «Всё в руках Божьих, день туда, день сюда, чему быть, того не миновать. Подвешу приваду на ёлку и налегке быстро добегу обратно до избушки. Завтра же опять налегке приду сюда пораньше».

Сказано — сделано. Подвесив приваду на ёлку повыше, Фёдор налегке двинулся в обратный путь. Без груза шагалось удивительно легко, как-то и настроение стало веселей. «Нет худа без добра, — шагая, думал он. — Может, как раз и сохатые подойдут к реке на кормёжку, и всё сложится». Сучка, натоптавшись за день за тихходным хозяином, носилась по тайге пулей, стараясь что-нибудь найти. За ней, вывалив язык, бегал также уставший за день кобель. Подойдя к тому месту, где неудачно стрелял птицу, услышал сучкин лай в стороне. Подойдя, увидел глухаря. «Добуду — отнесу в избушку, там с привадой плохо». После выстрела птица комом упала вниз. Уложив добычу в понягу и ещё не дойдя до берега, снова услышал лай. Подошёл — опять был глухарь. Один внутренний голос говорил: «Тяжело будет нести, а ты уставший». Другой нашёптывал, что добытая птица — это уже добытая. «Ну, попотеешь, но зато на них уже можно рассчитывать — они добытые». Второй глухарь тоже оказался в мешке, что сразу убавило охотнику прыги.

Пройдя пару километров, Фёдор уже пожалел, что добыл второго петуха. Давили они на плечи прилично. Подвесить, чтобы потом забрать, не получалось. Когда река встанет, он уже ходить здесь не будет. Оставить и завтра донести до сворота — тоже не годится. Как Фёдор ни мараковал, самое правильное, что приходило на ум, — нести до избушки сейчас.

Уже начинались сумерки, когда Фёдор услышал лай собак. «По зверю! Если остановят, то добуду и заночую возле него», — решил он, прибавляя шаг. Лай приближался к реке. Вот от Фёдора метрах в четырёхстах выскочила матка, следом цепочкой два тогуша, а за ними

бык. Собаки закручивали их, матка гонялась за собаками, остальные медленно шли к реке. Паберега была широкая, торчали кусты и трава, которую ещё не придавил снег, из-за этого не было видно сохатиных ног. Казалось, что лоси не бегут, а плывут над кустами, как надутые воздухом. Фёдор с открытого места подошёл к кромке леса, который стоял на обрывистом берегу. Вымытый весенней водой и пропаханный льдами во время ледохода, он чернел узкой лентой. На фоне земли Фёдора было не видно. Он быстро шёл, наблюдая за зверями, которые всё ближе подходили к воде. Потом они как провалились в яму. Фёдор видел только головы, которые передвигались над землёй.

«Неужели зашли в воду? Тогда дело хреновое», — думал Фёдор. Подойдя ближе, он убедился, что так оно и есть. Уже не прячась, он в открытую подошёл к ним, надеясь, что сохатые его напугаются и выскочат на берег, чтобы убежать, а он успеет выстрелить. Но лоси стояли плотным табунком. Телята жались с зада к матери, а их подпирал молодой бык с небольшими рогами. Фёдор подошёл к ним вплотную. Звери, повернув голову, тупо смотрели на человека. Животы у них обмёрзли сосульками, шумела шуга, натываясь на ноги и груди телят, которые были ниже ростом и стояли, больше погружённые в воду. Чувствовалось, что им трудно выдерживать напор сильного течения, вдобавок это ещё был пережат. Фёдор смотрел на них и материл старую лосиху, которая завела всех в воду. Он понял, что с добычей у него ничего не выйдет. Если застрелить в воде, он не сможет её вытащить на берег. Если их выгнать на другой стороне и застрелить там, то он не сможет перейти. Собаки крутились тут же и орали так, что их лай бил по перепонкам до боли в ушах. Кое-как поймав сучку, зачинщицу всего этого, он стал махать руками и кидать что попало в лосей, чтобы они вышли из воды на другой берег и убежали — ему было жаль мучить телят. Матка с телятами не трогалась с места, а бык не выдержал и пошёл к берегу. Под берегом глубина была больше, и вода скрывала у зверя полкорпуса. Когда он попытался выскочить, то второй кобель, находящийся на том берегу, стал его хватать за морду. Это повторялось несколько раз. Бык мотал головой, пытался ударить ногами, но кобель от этого только больше свирепел. Потом лось всё же выскочил на берег и сразу галопом с треском понёсся по склону. Визжа и взылаивая от азарта, собака унеслась за ним. Уводя сучку на поводке и маня второго кобеля, Фёдор пошёл от лосей. Те так же стояли, не двигаясь, только повернули головы вслед уходящим. Фёдору казалось, что у лосихи в глазах было торжество, которое говорило: «Что? Не получилось? Вот хрен тебе! Не дождёшься, чтобы мы вышли из воды!»

Фёдор шёл и оглядывался: звери так и стояли в воде, глядя ему вслед. На повороте реки ещё раз посмотрел назад: в сгущающихся сумерках среди белых берегов виднелось тёмное пятно из стоящих посередине реки лосей. Очень быстро стемнело, и дальше Фёдор

шёл с включённым фонариком. Диодный фонарик, светя лунным светом, освещал небольшое пространство земли под ногами. От этого казалось, что ты идёшь в никуда, потому что за краями освещённого пятна стояла густая темнота. Рюкзак невыносимо давил лямками. Вроде груз был не особенно тяжёл, но за два дня он основательно натёр плечи, и Фёдор перекидывал с плеча на плечо ружьё, постоянно подсовывая пальцы под лямки, этим немного облегчая давление на натёртые места. Спотыкаясь о присыпанные снегом камни и еле протаскивая ноги по спутавшейся высокой траве, охотник брёл к зимовью, отмечая по знакомым корягам, принесённым весенней водой, и по другим приметам, сколько пройдено, и высчитывая, сколько осталось до желанного зимовья километров.

В паре километров до избушки речка прибывалась к очень крутому берегу, заросшему густым ольшаником. Днём Фёдор прошёл это место, прижимаясь к самому яру, а сейчас, подойдя, увидел, что за день вода прибыла и его следы залиты водой. «Перекат забило шугой», — догадался он. От этого поднялась вода. Обходить по крутому и заросшему склону не было сил. Фёдор решил, чтобы не скользить в броднях по камням, скрытым водой, лыжи не снимать, что до избушки недалеко и если он промочит их, то ничего страшного — донесёт в руках. Хорошо прошитые бродни плохо пропускали воду, и Фёдор себя похвалил, что не полез на крутой и высокий берег и этим сэкономил последние силы. Когда он посчитал, что уже прошёл неприятное место, фонарик высветил упавшую довольно толстую лиственницу, она ещё и лежала очень неудобно, наискосок вдоль берега, загородив путь частоколом из толстых сучьев.

Подойдя к дереву, Фёдор подёргал один из сучьев, проверяя его на крепость, — тот был крепкий. Поставив одну лыжу на ствол дерева, оперев её задним концом в землю, он взялся за вершину сучка и рывком тела хотел поставить вторую лыжу на ствол. И вот, когда вторая лыжа оказалась наверху, вершина сучка отломилась. Фёдор, потеряв равновесие, пытался удержаться, но тяжёлый рюкзак утянул вниз, и он упал назад, спиной в воду. Сразу вскочить не получилось, мешали лыжи. Поднялся он, основательно вымокнув. Перевалив со следующей попытки злополучную валежину и выбравшись на сухое место, Фёдор снял лыжи и отжал сильно намокшую суконную куртку, которая стала просто неподъёмной. Как ни странно, всё это его встряхнуло, откуда-то взялись силы и бодрость. Подхватив лыжи под мышку, он быстро пошёл дальше, но силы как быстро пришли, так же быстро и оставили его. Последние сотни метров он с трудом передвигал ноги.

«Как хорошо, что я оставляю наколотые дрова с растопкой», — думал он, бороздя ногами снег. Со штанов в бродни натекла вода. Они разбухли и стали невероятно большими и тяжёлыми. «Сейчас, если дойду, наверное, и колун поднять сил не хватит». Дойдя до избушки,

он скинул рюкзак. Его качнуло вперёд, и плечам стало невероятно легко. Затопив печь, заставил себя сходить за водой. Поставив на уже гудевшую печь чайник, упал на расстеленную на нарах оленью шкуру. Борясь с подступавшей дремотой, лениво думал: «Уставал ли я раньше так сильно, как сегодня?» Он понимал, что семьдесят лет — это не тридцать и не сорок, даже не пятьдесят, но всё равно так уставать ему вроде не приходилось. Стал перебирать в памяти разные случаи, но это было всё не то, такой смертельной усталости он не помнил. И тут память ему подсунула случай из далёкой молодости, когда он был ещё полон сил и энергии.

...После новогодних праздников, девятого января, он заехал в тайгу проверять ловушки. Дорога была промята снегоходами, рекой — тридцать километров до базовой избушки. Погода стояла мягкая. Из-за новогодних морозов снегу почти не выпало, и поэтому лыжни были открыты, чуть присыпаны пухлячком. Ходилось легко и быстро, и он приходил с проверки капканов рано. Тринадцатого числа погода вообще стояла минус два-три градуса. Фёдор, придя в зимовье ещё засветло, ужиная, слушал приёмник. Там напомнили, что сегодня старый Новый год. «А что я тут буду сидеть один в тайге? — подумал он. — Дорога открытая, наледи вроде не было. Час-полтора — и я дома, а завтра с утра пораньше вернусь». Представил, какое удивление вызовет его появление у домашних, и как они просидят дома за столом с ребятишками, и он им расскажет, что встретился в лесу с Дедом Морозом, и тот сказал ему, что это не дело — оставлять ребятишек на праздник одних, и он его послушал и приехал, чтобы передать от него привет и провести праздник вместе.

Улыбаясь своим мыслям, стал быстро собираться. В тёплую погоду «Буран» легко завёлся и, высвечивая фарой присыпанную снегом буранницу, шустро покатил в сторону деревни. Сперва дорога была твёрдая, потом перед перекатом стала проседать. Фёдор остановился и шагнул в сторону от дороги. Там хлюпнула вода. «Та-а-ак, значит, наледь пошла, наверное, надо вернуться», — подумал он. Но какой-то голос нашёптывал: «Ну проседает снегоход, но дорога-то накатанная, а „Буран“ пустой, без груза и без прицепа, так что на скорости должен проскочить». Так не хотелось нарушать иллюзию семейного праздника, на которую настроился Фёдор. Потоптавшись в нерешительности, он прошёл пешком по дороге метров двадцать — она держала. «Раз настроился на дорогу, значит, поеду», — решил он.

На перекате снегоход заюзил, хорошо чувствовалось, как под гусеницами проседает дорога, но благодаря скорости пролетел опасный участок. «Раз этот гнилой перекат пролетел, должен нормально доехать», — с облегчением подумал он. Держа скорость километров сорок в час, он крепко держал руль, вовремя выравнивая заваливающийся с дороги в сторону «Буран». Синеву наледи он прошёл метров десять и, спрессовав носом кочку снега, елозил гусеницами по льду.

Проковырявшись в снегу и в воде где-то с час, Фёдор нарубил жердей и выгнал снегоход на крепкую дорогу. Праздничное настроение было подмочено. «Как раз середка пути, — подумал он, — что назад, что вперёд, расстояние одинаковое». Какой-то чёртик внутри нашёптывал: «Что, слабó? Сразу назад? А праздник с детьми? А рассказ про Деда Мороза?» И Фёдор, что называется, закусил удила: доеду! Ещё пару раз попадал в наледь, потеряв много времени и сил.

Было уже три часа ночи, до Енисея оставалось километра три, когда он на обмёрзшем «Буране», с забитой сырым снегом ходовой, заехал снова в наледь. Обессиленно посидев на снегоходе, он какое-то время соображал, что делать, сил уже не осталось никаких, потом стал потихоньку засыпать, поплыли какие-то видения, полусны. Очнувшись, он встал на край снегохода и попрыгал, стараясь раскатать технику. Снегоход стоял мёртво. Фёдор понимал, что на этот раз у него не хватит сил выгнать из наледи отяжелевший от набившегося в гусеницы мокрого снега «Буран».

Кое-как надев на обледенелые бродни лыжи, медленно побрёл в сторону деревни. До неё оставалось восемь километров. Речка была в высоких обрывистых берегах, и ветер сильными порывами врвался в неё, как в трубу, ощутимо толкая в спину и пронизывая через мокрую одежду холодом. «Верховка, — думал Фёдор, — на Енисей выйду — будет дуть навстречу, а я весь промокший, могу простыть». Широкие суконные штаны, надетые сверху для тепла, застыли обледеневшими трубами и очень мешали шагать. При каждом шаге штанины, стучаясь друг о друга, издавали скрипуче-шаркающий звук. «Ни хрена себе, — думал он, автоматически передвигая ноги, — устроил я себе праздничек. Наверное, долго его не забуду. Ничего, будет тебе наука наперёд», — с каким-то странным злорадством издевался он сам над собой.

Хоть было совсем темно, но простор Енисея почувствовался на расстоянии, небо стало как будто шире. Выйдя на Енисей, Фёдор из-за густой темноты не видел хребтов на другой стороне реки, только белое полотно снега под ногами уходило в разные стороны и постепенно исчезало в ночи. Ощущение, что стоишь где-то в замкнутом пространстве с занавешенными тёмными шторками. Лишь далеко видны были тусклые звёздочки уличных фонарей в деревне, обозначающие, в какую сторону надо идти. К радости Фёдора, ветер на трёхкилометровой ширине Енисея оказался не очень сильным и не таким жгучим, как в узком канале небольшой речки. Держа направление на далёкие огоньки, Фёдор продолжил путь. Уже совершенно ни о чём не думая, глядя на далёкий ориентир, он тупо из последних сил передвигал лыжи. Неожиданно светлячки далёких фонарей стали как-то тускнеть, а то и вовсе пропадать. Фёдор непонимающе остановился: в чём дело? И тут налетел порыв ветра со снегом. И каким снегом! Если снежинка попадала на глаз, то залепляла его целиком.

Фёдор включил фонарик. Свет пробивал снегопад метра на полтора, а дальше — стена падающего снега. Он посветил назад на лыжню, она исчезала на глазах. Страх, зарождающийся где-то внутри, медленно пополз по спине. «Всё, замёрзну! Компаса нет! В какую сторону идти? Закружусь, выбьюсь из сил и сдохну! Занесёт снегом, и только весной по воронам найдут», — мгновенно промелькнуло в голове. Фёдор, опершись на карабин, стоял на месте, не шевелясь. Зачем идти, не зная куда, терять последние силы?

С невесёлыми мыслями он стоял, не шевелясь. Он стал чувствовать тяжесть облепившего его снега и как разгорячённое ходьбой тело покидает тепло. Фёдор стоял, закрыв глаза. Ласковая дремота убаюкивала, стало казаться, что не так уж сильно и холодно. Потом он почувствовал, что на лицо перестали падать снежинки. Открыв глаза, он увидел весело подмигивающие огоньки деревни.

Когда он подошёл к дому, на него выскочили с лаем его оставшиеся дома собаки. Он прикрикнул на них каким-то чужим сиплым голосом, они стали наседать ещё сильнее. Долго стучал в запертые двери. Наконец-то дверь скрипнула, и жена сонным голосом спросила, кто там. «Открывай, это я», — ответил Фёдор. «Кто ты?» — последовал вопрос. Его не узнавали ни его собаки, ни его жена. Но когда он их всех обложил крепким матом, что сейчас объяснит, кто он такой, всё пошло в нужном направлении. Первые слова, произнесённые уже дома, были: «Всё! Охоту бросаю!»

Фёдор усмехнулся: «До сих пор бросаю!» За ночь подморозило, и утро было ясным. Потихоньку раскачавшись и размяв ноющее тело, Фёдор позавтракал и собрался повторить вчерашний путь. На речке был слышен игривый лай собак, молодые кобели гонялись друг за другом по окрепшему за ночь льду. Собранный в дорогу, Фёдор вышел на берег и, крикнув собак, пошёл по вчерашним своим следам вверх по реке. Собаки играючи большими прыжками обогнали его и, пробежав метров двести вперёд, резко затормозили, уткнув носы в снег, потом дружно рванули на другой берег. Фёдор крикнул, но они, не обращая внимания на окрик, скрылись на том берегу. Подойдя, он увидел, что собаки ушли по свежему заячьему следу. День начинался.

Юлия Старцева

Татьянин век

Единственным нарядным платьем — розовый тюль каскадами, узорчатый атласный чехол — Танька разжилась, обманув советское государство. С молодым соседом они записались на регистрацию брака: в отделе для новобрачных он купил себе чешские ботинки, а Таня среди стандартной кроткой белизны кринолинов отыскала единственное цветное, интересное, в талию. Золотые кольца они выкупать не стали, о чём крепко пожалели, когда рубль стал дешевле туалетной бумаги. Замуж Танька не вышла никогда.

Во втором классе я оказалась за одной партией с насуспенной — из-за фамильных густых тонких бровей — русой девочкой, неулыбчиво-тонкогубой. С восьмого по десятый класс Таня успевала, сделав свой вариант контрольной по математике или физике, решить кое-как задачи и моего варианта, на троечку — лучший результат показался бы подозрительным нашей классной. Я же тем временем поглощала очередную пухлый том русских классиков, держа книжищу под партией. Впрочем, баловавшие меня учителя всё знали.

Такой же угрюмоватой, как в ненавистной коричневой школьной форме (фартук чёрен, по советским праздникам — бел и в воланах), юная Таня оставалась и в своём сложном тюлевом платье на розовом чехле, подсказывал босоногий классик, хотя *платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались*. Но бедная Танька не читала «Анны Карениной». Неясные мечты погнали младую деву на курсы балльных танцев при ДК, но пластические искусства стать сильфидой помогли ей столь же мало, сколь платные курсы английского — овладеть английским, курсы юридической грамотности и работа машинисткой в городском суде — поступить на юрфак (она проваливалась на вступительных экзаменах восемь лет подряд), а попытка сдать экзамен на вождение мотоцикла закончилась переломом ноги у зверски матерящегося инструктора.

«Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос!» — приветствовала я подружку, когда на любой тусовке или девичьих посиделках являлся голенастый фламинго, бедная Золушка, вся слух: не бьют ли часы. Однажды какой-то кавказский принц всея Арбузии, Банани, Гранатии и Мимозии (знакомство составилось на норильском рынке у автовокзала), с которым она уныло топталась в «медляке» (нет, не в вихре вальса), уронил пепел горячей сигареты на розовое

кружево, и Танька причитала, штопая дырку: «Единственное у меня было платье, какая же я кулёма!»

Починка кружева изломала и исказила нежный тюлевый узор: «Я бабочку видел с разбитым крылом», — да и так никакой гармонии в её коротенькой сумрачной жизни не было.

Её совсем не жалели пролы-родители: продавщица винно-водочного магазина и шофёр норильской автобазы, пенявший жене, что не могла принести первенца-наследника, даром что после Тани появились сыновья-погодки. Да и подгадала она одну из самых неудачных ночей, чтобы выпростаться на свет Божий, — ночь, когда акушерки и докторицы чокались медицинским спиртом под строганину из чира или сига, встречая в роддоме заполярного города старый Новый год; на вопли распяленного шире утробы рта никто из них не спешил. Зато днём раньше вершины Путоран порозовели — полярная ночь кончилась. Хейро! «Удачное совпадение — дважды стол к празднику накрывать не надо, удобно», — говорила сама Таня.

Родиться в этот лютый холод и тьму, в вечную мерзлоту снеговых полей и скалистых гор — зачем, для какой миссии? Слиться с мрачным ландшафтом и, не зная радостей, покинуть его лишь бездыханным телом — во искупление прародительских грехов? Самой рожать?..

Мать не пожалела — назвала Татьяной.

Разнополые дети — советский выигрыш; у девочки в трёхкомнатной квартире оказалась своя комнатка, куда родители составили весь домашний хлам, урезав жизненное пространство дочери до минимума, к узкой жёсткой кушетке она пробиралась по одной половине. Свои вещички, например, подружка моя хранила в сломанном холодильнике «Бирюса».

...И сладенько мурлыкало радио: *«Распрощались с Танею, с Татьяною, с Татьяною, не забыть её мне никогда, никогда...»; «Татьяна, помнишь дни золотые? Весны прошедшей мы не в силах вернуть»; «Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой: служила наша Танечка в столовой заводской. Работница питания приставлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал»; «„Татьяна плюс Сергей“ — и больше ничего... Татьяна день! Татьяна день!»*

Страдальческое имя так и воспринималось по воле «нашего всего»: несчастная любовь, долг и совесть.

(В епархиальном управлении главбух и кассир в Татьянин день накрывали столы с красной и чёрной икоркой; «надо же — такие выдры, а тоже Татьяны»... Обе православные тётки с партийно-заводским прошлым оказались прожжёнейшими мошенницами: безмятежно подделали мою подпись на платёжной ведомости, покорыстовались моей зарплатой за два месяца плюс отпускными надбавками. Дай Бог здоровья советским Татьянам, а нам — терпения.)

Норильск, малая родина наша.

Чёрная пурга, когда стена колючего снега неделями стёсывает черты лица несчастных прохожих, и пурга обычная, бодрящая; ветер известных направлений — из-за каждого угла, и мороз терпимый, *плящий* («так поди-ка попляши!») — градусов в двадцать, и мороз лютый — градусов в сорок, и страшный — за пятьдесят, когда лопаются металл, а люди ничего, люди спешат на работу. Тугой стылый воздух нельзя вдохнуть полной грудью, а лишь маленькими глоточками, спрятав нос до самых глаз (ресницы смерзаются) в шарф. И тьма бесконечной зимы. И безумное солнце полярного дня.

И северное сияние, сверкающие звёзды Арктики, в дивных сполохах-переливах авроры бореалис.

Было в кротком и правильном, с точёными чертами, лице Тани что-то наводящее уныние. Глаза её были зеленоватой воды, русалочьи очи. «Ундино» Жуковского с замечательными иллюстрациями Ивана Бруни моя подружка зачитала в местной библиотеке. Её уже не было на этом свете, когда запустили по отечественному телевидению сериал «The X-Files»: кабы нашей Тане вместо её жидковатых, слабых, прилизанных волос — пышную причёску, да подсветить яркой хной, и рот чуть пухлее, — явилась бы копией той заморской актрисы, что играла напарницу агента Малдера — агента Скалли. Из мазохистских побуждений, узнав на экране подругу детства и юности, я не пропустила ни одной серии первых сезонов. А кабы ей другую родину и другую судьбу...

...Я просто пускаю бумажный кораблик по сточной канаве Леты, дорогая Таня. Плыви же, плыви! Милая, милая, кроткая, бедная. Мы таскали у твоей матери бледно-соломенный токай и очень веселились на вашей кухоньке — помнишь? Над кухонным столом висела керамическая рогатая голова Мефистофеля или сатира с высунутым языком, и я всё уговаривала разбить её или выбросить.

«Когда это было, когда это было? Во сне? Наяву? Во сне, наяву по волне моей памяти я поплыву», — заигранная родительская пластинка.

«Исчезая в этих волнах, исчезая в этих волнах...»

Но ты вечно напевала или пританцовывала, русая простоватая русалочка.

На полпути из Норильска в Талнах (или из Талнаха в Норильск), рядом с речкой Норилкой, стоял деревянный домище трёхэтажной турбазы, где работала моя матушка. Злющая овчарка Дайна, исходившая слюнявыми поцелуями при виде нас с Татьяной, охраняла террасу.

Морошка, голубика, брусника — отмахиваясь от рыжих громадных комаров и гнуса, мы с подружкой набирали в пышных мхах по стакану северных ягод, зная по слухам, что они, по всей вероятности, опасны из-за радиации. «Мы-то в Конаково — о-о-о, по смороду хаживали!» — радовалась Татьяна. Отравленные ягоды памяти: медово-жёлтая, сизо-голубая, бордовая, один бочок бел, скудного заполярного

солнца не достало. Карликовые берёзки, причудливо исковерканные морозом и ветрами, пихточки с нежными осыпающимися иголками.

Купались нагими нереидами в тундровом озерце — стылая чистейшая вода обжигала не знавшие загара девичьи тела, на дне метровым слоем светился белый ровный лёд.

Мать Татьяны определила её в городскую пекарню, ученицей. В шесть утра (за окном — ночь), преодолевая природную лютость Севера, Танька стойко ехала в Норильск — спала в автобусе; угорев от выхлопов, глотала сернистый смрад города — и торопилась к аду столовских печей. Хлебы, хачапури, пирожки. Булочки. Ватрушки. (За окном — всё та же ночь.) Затем, клюя носом и роняя голову на плечо соседу, тем же автобусом — назад в Талнах; два часа туда и два — обратно. (Полярная ночь за окном.)

Всякое лето, будучи в отпуске, вместо отдыха Танька пыталась пробраться на юрфак и неизменно проваливалась на вступительных экзаменах.

Что её, дуру простецкую, так манила Фемида? Хотелось Танечке восстановить справедливость в сей юдоли слёз?

Тень будущего несчастья витала над ней — тяжёлая планета Сатурн: ей всё как-то не удавалось, и даже чужие дела в её присутствии не спорились.

Зато она смертельно любила Петербург, но холодный Город, сам выбирающий временных жильцов, не дался ей. Душа искала настоящего Града, не довольствуясь стылой копией, возведённой ленинградскими архитекторами среди адских ледовых пространств. В восемьдесят восьмом году, после школы, мы вдвоём сорвались «посмотреть Питер». Билет в Эрмитаж стоил рубль, в Петергоф — пятьдесят копеек.

От коварства «волков в пиджаках» нас предостерегали петергофские прохожие, старичок и его старушка: «Девочки, не суйтесь в темноте в Нижний парк», — и смутными тенями рисовались в ночи Нептун с трезубцем, нимфы и межееумные дельфины. На другой день, всецело отданный Петродворцу, прибежище ундин окропило нас отклонившейся от порывистого ветра водой — в те времена, в пору агонии Софьи Власьевны, струя Менажерного фонтана была заметно выше. У пруда Марли, у Золотой горы мы собирали опавшие листья в яркие букеты.

Эрмитаж, с Рембрандтом и Рубенсом, залы, где лимонной кожей спустили ослабевшую пружину времени «малые голландцы», где я, затрепетав, вспомнила родство: «Нет, я не слуга».

Голубь — Святой Дух, грузный, большой, как планер, спущен был наземь, а маятник Фуко уверял: «И всё-таки она вертится!» Украдкой я коснулась гигантского голубиноного крыла: «Взлетай снова в купол». Озирали с колоннады Исаакия великий Город, задохнувшись

от восхождения по узкой, как в часах, спирали винтовой лестницы; нам было по восемнадцать лет каждой, ветер трепал чёлки.

Казанский собор был тогда музейно-нежилым, а Спас-на-Крови стоял в непременных советских лесах, скрывавших его разноцветье. В Троицком соборе Александро-Невской лавры, бедной, разорённой, обшарпанной, раздавались Танькины дурацкие дразнилки: «А я в Бога не верю, а я не верю!» — «Дура, кыш!» — отвечала я, хмурясь. Некрополь, могила Достоевского, наше приношение: бледно-розовые гвоздики на сырой земле.

(Она спустя пару лет затеяла поститься Великим постом, и я увидела у неё «Размышления о Божественной Литургии» Гоголя, книжицу в ладонь.)

Прекрасный, миражный, зыбкий — вечный Петербург. Сентябрьское прощальное очарование развенчанной имперской столицы, где Танька мечтала притулиться — хотя бы временно, в общаге, студенткой, — а жить привелось мне, Города не любящей. Её упорство было напрасным.

На другой год — Красноярск, университет, абитура. Июнь в один из дней пролился яростным ливнем на город «Ветропыльск», устроив устрашающую постановку с театральной грозой и молниями. По пояс в грязной воде мы перебежали улицу, спеша к автобусу, и, разумеется, Татьяна на ходу вздумала открыть дамскую сумочку, чтобы проверить, на месте ли её документы, — и паспорт, и все важные бумажки абитуры шквал весело погнал по глубокой луже.

Она и здесь провалилась на сочинении, получив «пару», и улетела в Норильск — к противням с булками и ватрушками.

Тогда положено было любить.

Бесплатно.

Девочки давали даром: дурочки! «Де-да-да-ду» — дудочкина песенка.

С девственностью тоже рассталась поздно, в двадцать три года (гулёны-подружки давно насмехались: «Старая дева!»), перепив в гостях у бывшей одноклассницы Ленки. Там же заночевала и забеременела от какого-то проходимца. Странно, бедная Таня с такой благодарной отзывчивостью искала во всяком захудалом самце — жениха, а советские и постсоветские ханурики неизменно корчили из себя онегиных.

Нравился ей приезжий мальчик Серёжа, с лицом плакатного Есенина — строителя коммунизма, деревенский полудурок. Этого закрутила другая наша бывшая одноклассница, рыжая Оленька, но не то чтобы все помолвки расстроились, сиганули в окно все кавалеры, сватались же к Тане — серьёзно, с предложением жениться, вприглядку, всухую, знакомые мужчины, «были же варианты», если уж «все жребии равны», — но им-то она и отказывала по необъяснимой вздорности нрава. Ждала суженого — и дождалась неведомого упыря...

Кто же её опоганил на пьяных посиделках, какой местный негодяйчик, забежавший к подлой Ленке со своим гадким дельцем, с мелко-уголовными хлопотами.

«Я сама, дура, виновата, сама подпила и захотела». — «Ты, что, собралась родить дитя карнавала? Пьяное зачатие — знаешь, что такое? Иди на аборт!» — орала я.

Конечно, дура: сперва с незнакомым, впервые увиденным мужчиной, не зная его имени и адреса, спуталась на чужом матрасе, потом блевала два месяца и гробила себя поздним абортом.

«Меня тут пугают, обещают показать ручки-ножки. . .» — Танькин виноватый, слабый голос из телефонной трубки, звонок из городского роддома.

В ту пору она ушла из столовой, выстукивала по неподатливым клавишам «Ятрани» приговоры местного суда. Однажды ей довелось отправлять на зону бывшего приятеля, почти жениха: тот самый Серёжа, «пользуясь отсутствием продавца в торговом зале, совершил хищение из магазина комплекта лыж „Карелия“ и книги „Коммунист“ за восемьдесят (прописью) копеек». «Татьяна плюс Сергей, и больше ничего». А потом её меньшей братец в подпитии содрал с приятеля кожаную куртку, мамаша, спасая любимчика от судейских, увезла сына из Заполярья «на материк», в тверское Конаково, откуда сама была родом, а Танькина карьера машинистки в суде закончилась. Пришла Таня утром на работу, а на её рабочем столе лежит уголовное дело братца. Пришлось уволиться «по собственному желанию».

С другим братом, погодком («В детстве-то спали в одной кровати, обнявшись, такие сладкие!» — умилилась тётя Нина), из-за немытой сковороды раз подралась на кухне, брат разбил ей губу, Танька вызвала милицию. . . Не разговаривали несколько лет, затем оба врезали замки в свои комнаты — дверь в дверь.

Позднее — пекла хлеба для газовиков Мессояхи. Там, среди пролов, обзавелась новым неведомым хахалем.

«Он мне сказал: дай ключи от раздевалки, с тобой у меня всё как-то не так, а с Иркочкой я ещё не пробовал, а я ключи отдала, сама пошла в душевую рядом, громко напеваю, чтобы никто не догадался, что я плачу, а слёзы под душем так и льются. Знаешь, всё-таки странно и обидно: я ведь пекарь высшего разряда, а он ушёл от меня к посудомойке!» — вздыхала Таня.

(Русалочка слезоточиво трепещет в сетях моей памяти: не ускользнуть юркой рыбкой. Помню, ты первая завывала в голос, готовно подхватывая плач, с древнерусской выучкой, когда я овдовела и вернулась в Норильск.)

Избавившись от плода, зачем-то поволоклась в гости на пятый микрорайон — к той самой сопернице-посудомойке — и упала на лёду с размаху так сильно, что началось маточное кровотечение. Конец всех женских надежд.

«Я хорошенький вязаный костюмчик для младенчика купила, пелёнки фланелевые...» — спустя чуть ли не год интимно шепнула она мне, я похолодела. Приданое нерождённому младенцу. Такое и старику Хэму не мерещилось с его самой короткой трагической фразой.

(Примечательно: наши приятели мужеска пола, лет на десять старше нас с Татьяной, с мстительным злорадством советских самцов молвили одно и то же: «А она-то, небось, хотела принца на белом коне, зелёную травку и розовый замок вдали?»)

Всё же она кормила людей хлебом. Священное женское занятие, всяко выше моей писанины, как думалось мне в позднейшем смирении паче гордости.

На Мессояху завербовалась — к звероватым пролам, лишь бы подальше от брата и отца. И не боялась же летать вертолётom каждые две недели; меня мутило от одного вида вертолётов и прочей малой авиации.

Получки свои копила, учитывала, складывала на депозит в норильской центральной сберкассе, сама жила в обрез, считая бумажки. Похвалилась однажды, раскрыв старый шифоньер: купила брючный костюм модный. Турция, дрянь, блескучие нитки, но хороша она показалась мне в обнове: глаза зеленели неистово. «Носи, Таня! Тебе так идёт!» — «Потом буду носить, когда-нибудь...» — отвечала она.

Болотно-зелёный брючный костюм так и остался висеть с несрезанными бирками в шкафу.

И вот я улетала в Москву, а мама — в Питер, навсегда. Прощай, Норильск!

Танька позавидовала нашему спешному переселению в Петербург, закусила узкие губы. «А ты приезжай к нам погостить!» — тут же пригласила моя матушка. «Да, Таня, побывай у нас на новоселье!» — вступила я. «Побываю...» — уверенно откликнулась Татьяна. Подарила напоследок каравай, бездрожжевой, на закваске, — сама пекла.

В новой московской жизни я совсем позабыла о ней. И всё-таки она посетила наше новое место жительства: я была на летних каникулах в Питере, и мне приснилась Татьяна, молчаливой тенью. Длиннейшее хвастливое письмо (ещё бы, я же совсем недавно прилетела из Красноярска, где наш живой классик вручил мне премию своего имени) я писала тебе. Заплакал под утро дождик, тихий, сирый, русоволосый, как застенчивая девочка — и звать её, конечно, Таней...

В Москве я получила письмо.

«Привет с Талнаха! дорогая Юля во первых строках письма поклон от тётки Нины так что получила твоё письмо я от такого горя плачу каждый день ведь ты не знаешь мы все ждали что приедешь на похороны Татьяна погибла от руки убийцы из июня ведь Танечку убил

этот эгоист я дожидаясь суда, а в доме я не живу, а через неделю отдадут тело увезу самолётом в Конаково среди родных пусть спит».

Письмо я писала уже мёртвой подруге — ночью посетившей меня во сне.

О сон, о смерть, о куцая нелепая жизнь без радостей, даже в золотую пору юности.

Вой, волчьим воем вой. Виновата я, виновата немислимой виной: оставила её, такую вздорную овечку, *без присмотра*.

Всё-таки я её ужасно любила, даже пренебрегая и забывая о ней надолго. Как-то раз едва не подрались по её дурости, а столкнувшись во дворе, молча обнялись.

«Тринадцатого июня» — там, стало быть, только зима кончалась, и чёрный снег ещё лежал вдоль дорог и в низинах; «*не живу в доме*» — стало быть, Таню убили в их квартире; но кто стал убийцей — очередной «жених», очередной хахаль, или то был младший брат?.. «*Истина где-то рядом*».

Всего двадцать шесть лет прожито ею — в ледяном мраке Арктики. Двадцать шесть лет северных лагерей — и высшая мера социальной защиты! Всё как у людей.

...Много лет подряд меня мучили два варианта сновидения: я ищу Таню в их квартире, тёмной, издевательски менявшей бутафорию, спрашиваю о ней родных, братьев, но её нигде нет, и я начинаю рыдать, просыпаюсь с мокрыми глазами. Или же Татьяна подходила ко мне в грязи и отрепьях, в рваных белых колготках, протягивала гадкую ветошь.

Я за её упокой молилась все годы.

Последний сон: еду в электричке, на скамью напротив меня (против хода поезда) садится Таня, молча смотрит с необыкновенной радостью, на ней сияющее ярко-голубое бальное платье, пышное, сверкающее, небесное. И исчезает. Больше не снилась.

Петербург, февраль 2020

Сергей Князев

Передержанный снимок

* * *

Чёрная собака сидит на белом снегу,
 Неподалёку от входа в магазин «Спорттовары».
 Посмотрел на неё — и отойти не могу,
 Позвольте мне постоять возле этой собаки старой,
 Осторожно смотрящей на двери и в то окно,
 Где у прилавка люди устроили шум и давку.
 Всё дело в том, что когда-то давным-давно
 Я фотографировал эту собаку,
 И — да, мы друг друга помним: «На вот, прошу, возьми!
 Жаль, у меня с собой только и есть вот это!» —
 «Как вам теперь живётся, добрый мой визави?..
 А ведь когда-то давно я фотографировалась у этого человека!..»

* * *

Я ушёл от прочитанных книг,
 Я забыл всё, что раньше читал.
 Я ушёл, я забыл про дневник,
 Я спустился в подвал.
 Я спустился в подвал, я проник
 Глубже хрестоматийного «Дна».
 Здесь нашли мы старинный тайник —
 Я да крыса одна.
 В сто замков был одет молчаливый тайник,
 Мы его открывали сто лет —
 И тайник тайника перед нами возник,
 В сто печатей одет.
 Когда сотую сняли печать —
 Нам открылись сто тайн тайника.
 Вот теперь бы и повесть начать —
 Плавно, издалека...

САНЯ ПЕ

От двора к двору, от столба к столбу
Идёт-побирается Саня Пе.
Дети дразнят Саню: «Бу-бу-бу-бу-бу!..» —
А Саня то смеётся, то плачет на них.
Подойдёт он к калитке, подпрыгнет, скажет: «Пе!» —
Хозяин выйдет, копеечку в столб вобьёт —
Вот уж радость да забава собравшейся толпе:
Саня Пе зубами будет столб грызть.
А когда он монетку в зубы возьмёт,
Да в руки выплюнет, да станет нянчить на руках —
Такое ликование в толпе произойдёт! —
И побежит ватага к следующему столбу.

Каждый день по деревне ходит Саня Пе,
Бабушка Матрёна крестится ему вослед:
«Заступи, спаси, сохрани и помилуй нас...»
А Саня Пе плачет от радости и любви!

* * *

За что ухватиться?.. Соломинку взяли взаймы
Актёры, уплывшие за океан на гастроли.
Она им нужнее: актёры несчастней, чем мы,
Ведь им выпадают куда как нелепые роли!
Актёры несчастней! В их душах штормит, сатанит,
Два дьявола с ними: ошуйю, другой — одесную.
Вернутся они, коль соломинка их сохранит.
А что, если нет?
Неужели не встречу другую?..

* * *

Стихи сегодняшнего дня...
А в них живёт моя родня,
Леса скорбят, судьбу кляня,
И в небо утекают реки.
Стихи сегодняшнего дня
Стоят на полке у меня.
Я написал их в прошлом веке.

* * *

Тварь Божия надеется и ждёт
Спасения души от человека.
Передо мной благоразумный кот
Сидит, больной. Накрыло «третье веко»
Кошачьи терпеливые глаза.
Как нечестива жизнь моя!..
Я знаю,
Но рассказать животному нельзя
Моих грехов — ведь я не понимаю
И малой части языка его.
Но Бог всемудрый попустил напасти
Терпеть ему, а поберёт того,
Чью душу ловит мир и рвёт на части.

ПОРТРЕТ РОСТОВЩИКА

О, кисть моя была легка,
Я на века ей грезил,
Пока глаза ростовщика
Я на себе не встретил,—
И стала грешная рука
Завистничать и злиться,
И я глаза ростовщика
Вписал в святые лица.
Но проклял я свой грязный дар,
Отшельничал в пустыне.
Мне Бог для исцеленья дал
Увидеть лик святыни —
И Божий храм я расписал
Плавней, добрей и строже,
Так расписал, как Бог сказал.
Но всё-таки, но всё же
Моя душа, моя рука
Пред миром виновата,
Пока глаза ростовщика
На моего собрата
Глядят —
Покоя нет, пока,
Шатаясь по России,
Живой портрет ростовщика
Заходит в мастерские.

* * *

Золотозубый Север улыбается,
Когда блеснёт волна в луче случайном,
Луч отразится на оленьей малице,
Но с ненцем не подружится печальным.

Он докаслал под осень до Находки,
Он ряпушку к себе гребёт сетями.
Сидит ли в лодке — думает о водке.
На берегу ли — водка пред глазами.

Сама собою ладится работа.
Уж полон берег чешуёй блескучей.
Ни петь и ни рыбачить неохота,
А пить охота! Подвернулся б случай!

Печаль такую скажешь ли словами,
Когда — далёко, за Обской губою, —
Плывут золотозубые славяне
И сладку водку хлещут меж собою?

ПАМЯТИ КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ

В красном немощном свете,
В коммунальном раю
Я читал о Поэте
Горевую статью.
Я в те годы не знал
Ничего о Поэте.
Я сидел, проявлял
Фотоснимок в кювете
И читал о стихах,
Сплетнях, домыслах, байках,
О Поэте в гостях
У художника Фалька,
О ходьбе за предел
Правил, знаков, запинок...
И в кювете чернел
Передержанный снимок.

* * *

Сколько разных грибов на опушке
Кулундинского светлого бора!
Ах, синявки — краснявки — волнушки! —
Утро детского птичьего взора.
Там вдали, возле Третьей Курилки,
Не бродите тропую грибную!
Там киргизские дремлют могилки —
Бугорки поднялись над землёю.
Вот сестра моя старшая рядом.
Срежет гриб и в подойник уронит.
«А грибы не пропитаны ядом?..»
«Говорят, они сидя хоронят...»
Пенье дерева, птичьи захлёсты —
Так ты, Родина, вспомнишься снова!
И забытые Богом погосты,
И лесное узластое слово...

ХОЛЕРА

В год больших потрясений страны,
В год утраты любимых и веры
Люди начали в нашем краю
Умирать от холеры.
Все мечтали, как справиться с ней —
Ведь она нападёт на любого!
А вчера к нам в село приходил
Человек из Тамбова.
На ногах его — лапти, в руке —
Палка: странник негромкий с котомкой.
Он ходил по селу, торговал
Бижутерией тонкой.
А когда он покинул наш край —
Всех мгновенно молва одолела,
Что не странник ходил по селу,
А живая Холера.

Нет чудовища в мире страшней,
Чем бродячее тёмное слово.
..И догнали его мужики
В двух верстах от Тамбова.

* * *

Смотрит Господь, смотрит Божия Мать:
Славяне друг друга идут убивать!
Не зная ни сна, ни досуга,
Они убивают друг друга.
Вот раненый мальчик свалился в овраг,
Его окружили, горланя:
— Ты враг наш, ты враг! Как зовут тебя, враг?
— Ваня, зовут меня Ваня.

КОМАР

1.

Летало крылатое стадо
Над старым седым рыбаком,
Как цвет над поверхностью сада,
Когда он задет ветерком.
И в воздухе летнем светились
Налитые кровью тельца,
Как если бы розы раскрылись
На фоне стены и крыльца.
Бог дал рыбаку и ребёнку
Мир светлый: что мал, то и стар.
И вот отлетает в сторонку,
К земле припадает комар.
Не прячься и не угрожая,
К нему приближается Смерть.
В нём кровь остывает чужая,
А крылья не могут лететь...

2.

Когда твою большую ногу
Оттопчет маленький комар,
Не мсти ему, не бей тревогу,
А пожалей его: он стар,
Он зол, он весть в крови измазан,
Он третьи сутки так живёт.
Он за тебя уж тем наказан,
Что ты заснёшь, а он умрёт.

* * *

Мы были родней и младше,
Росли мы тесней, чем колос,
Не зная, что поле вспашут
И вспашут его ещё раз.

Скажите мне, как теперь вы
Растёте на общем поле?
Простите ль мне путь неверный,
Распавшийся на две доли?

И плача комок набрякший
Не в силах уже скрывать я.
Мы были родней и младше —
Куда ж разнесло нас, братья?..

СОН

Подходят люди. «Мама, это ты?»
Но люди превращаются в цветы,
В наскальные саранки и тюльпаны.
И плот плывёт посередине Маны,
Но вот уплыл в чудные небеса.
Сплетаются лучи и голоса
Светил и женщин — Оли и Марины.
В хрустальной вазе хрупкой, дорогой,
Одна волна сменяется другой,
Гора с горою сходятся в долину,
Долина нас уводит за собой.
Раз полюбив, как этот мир покину?
Мой тихий брат, красивый и живой,
Уводит вдаль тяжёлую машину
И всех нас вдаль уводит за собой.
И снова скалы: красное на чёрном,
И вновь машины красные борта,
И красный дом на небе золочёном,
И мама открывает воротá
Оранжевого лёгкого забора.
«Не уходи! Куда же ты? Постой!»
Но медленный трубач уходит в гору
С возлюбленной улиткой золотой.

Рустам Карапетьян

Письма из ойкумены

* * *

Эля в песочнице за́мок строит,
 А Коля рушит его из принципа.
 Коля — дракон, а не принц. Но стоит
 Эле сказать ему — станет принцем он.
 Так заколдован. Заветного слова
 Ждёт, чтобы стать кавалером лучшим.
 Но, губы поджав, Эля за́мок снова
 Строит. Чтоб Коля его разрушил.

* * *

Пока не схлынула вода
 И на плаву наш бедный катер,
 Давай сыграем в города,
 Не находимые на карте.

Проложим пеший через них
 Маршрут, найдя потише бухту.
 На посошок вина плесни
 На карту, сыгранную будто.

Уткнётся трап в песок сырой,
 Следы накроет белой пеной.
 Твой первый город, мой — второй.
 И так — до края ойкумены.

* * *

Каждый вечер — света конец.
 Одному в темноте так тесно.
 Ну какой же я молодец,
 Что наутро опять воскресну.
 Словно жертвенник нам кровать,
 Мрак густой на глаза наброшен.
 А давай с тобой воскресать
 Вместе, чтоб не бояться больше?

* * *

Не залипай в сентябрьскую блажь.
Сквозит сова, скребёт по крыше ветка,
Под языком шершавится таблетка,
И темнотою дышит «Отче наш».

Ты чувствуешь, как мир вокруг течёт,
А ты застыл — и на засов избушку.
В печи синеют угли, только вьюшку
Оставь в покое, погоди ещё.

Залает пёс. Другой подхватит вслед.
Нет никого — ошиблись пустобрёхи.
Хватай первач, хромай к своей Солохе,
Пока в её окне мерцает свет.

* * *

Сквозь дождик сумрачный и мелкий,
Сквозь шум машин и голосов
Застывшим львом глазеть на стрелки
Незамирающих часов.

А время дышит, словно ветер,
И проплывают сквозь него
И эти парочки, и этот,
Почти не ждущий ничего.

Стоит и словно цепенеет,
Построчно превращаясь в лёд,
Где даже днём от Енисея
Проточным холодом несёт.

* * *

Из мира нижнего и верхнего,
Словно почуяв угощенье,
Уже спускаются по дереву
И выползают из ущелья.
А мы глядим на небо синее,
На землю, что теснее ночи.
И между нами непосильные
Пространство с временем бормочут.
Зеваки рты, глаза разинули,
Но мы застыли — и ни слова,
Как будто шторы вдруг раздвинули,
А мир ещё не нарисован.

* * *

Жил как не дома. Дома не жил с тех пор.
Знал о Содомах только со слов Гоморр.
Не оттого ли аж со времён седых
Был недоволен — хоть выноси святых?

Словно за кадром произносил слова,
Веря, что правда — это во рту трава.
В то, что приснится, верил, как в свыше знак.
Знал, как ужиться. Жить вот не понял как.

* * *

Не надо суетно тревожиться
И ставить сызнава заслон,
Когда улыбчивую рожицу
Вдруг занесёт в твой телефон.
И он, подсевший и заблоченный,
Издаст всего один смешок.
Как будто зябкий полдень облачный
Вдруг солнцем ветреным обжёт.

* * *

Время в соседней комнате
Инаковее, чем здесь.
Ты ведь в соседней комнате
Невероятно есть.
Слышу тебя, как будто
Чувствую твой испуг.
Тише, будить не буду.
Чтоб не проснуться вдруг.

* * *

Дверь открывается, как выдох.
И, ошалев от мелочей,
Себе командуешь на выход
Без обещаний и ключей —
Туда, где свет почти неведом,
Но есть пространство под рукой.
Как будто выскочил за хлебом
И позабыл: кто ты такой?

* * *

Время нарежут, как в Рождество пирог.
Скушай за папу, тыпни стакан портвейна.
Кончились карты, но, изучив Таро,
Можно добратъся и до глухой деревни,
Где на скамейке мудро весь день дремать,
Где в тридцать три лишь только и входят в силу,
Где под капустой утром находит мать
То ли младенца, то ли почти мессию.

* * *

Среди твоих лесов, и речек, и полей,
Среди твоей души, бессовестно раздетой,
Дым птичьих голосов становится светлей,
Тем самым завершив взросление рассвета,
Где влажная тропа, как пущая судьба,
Трусит лохматым псом сквозь тернии и кущи.
Уткнётся невпопад в грядущую тебя,
И станет невесом весь опыт предыдущий.

* * *

В журавлиных поисках корабля,
Знающего путь до твоих аркадий,
Ты постиг, что узел — уже петля.
Если сил распутать его не хватит,
То руби швартовы ко всем чертям,
Парус ставь тугой на своей скорлупке,
Правь к закату голову очертя,
Загибаясь не от огня в желудке.
И когда причал ускользнёт в туман
И матёрый штурман отыщет пеленг,
Можешь сколько хочешь сходить с ума,
Оттого что вряд ли сойдёшь на берег.

* * *

Уходить надо прочь налегке,
Чтобы стало светло там, где пусто.
Плыть листом по осенней реке
Вплоть до самого снежного устья.
Не спешить никуда, не грести,
Лишь смотреть, как мерцает звезда, и
Слушать, то ли как сердце хрустит,
То ли время ледком зарастает.

* * *

Вот жизнь — ребёнок, вот она — старуха.
Из ягод бусы краше, чем из страз.
Мольба души не та же, что и духа,
Но об одном и том же каждый раз,
Когда, украдкой или же танцуя,
Её несёшь к цветочному шатру.
И женщина цветёт от поцелуя
И отпускать не хочет поутру.

* * *

То часов, то сердца стуком
Измеряешь времена.
Дни оплачены испугом
И с процентом, и сполна.

Сколько ж эдак задыхаться,
Душу в слово продевать?
Никуда не надеваться.
Никого не надевать.

* * *

Водки холодной пламя,
Резкий до дна глоток.
И завязать на память
Гордиев узелок.
Белые вьются мушки,
Напоминая, как
Время из общей кружки
Пили мы натошак.
Пели, как и плясали,
Первый взрывая снег.
Столько узлов связали —
Не разорвать вовек.

Геннадий Васильев

Девушка с веслом

Баллада, рождённая в пьяном бреду

От поиска ответов на вопросы
 вопросов не меняется число.
 Оставит философию философ.
 Расправит плечи девушка с веслом —
 и поплывёт, и выгребет на стрежень,
 и станет петь про Стеньку и челны.
 .. Мне не спалось. Был дух во мне мятежен.
 И чьи-то ночи были сочтены.

В окно звезда глядела без стеснения.
 Мелком луны дописывая круг,
 кончалась ночь.
 Тень смешивая с тенью,
 скрипел фонарь, болтаясь на ветру.

Неверный свет тревожил, сон сдувая.
 Я заглянул в оконное стекло.
 Под фонарём — из гипса, неживая —
 мне улыбалась девушка с веслом.

Откуда дива? Из какого парка?
 Кому тащить во двор её не лень?
 Я пригляделся. Вдруг мне стало жарко:
 скульптура не отбрасывала тень.

Сверкал триумф пропорций идеальных.
 Была трава примята под ступней.
 Она была вполне материальна.
 Она была...
 Но не было теней.

Скрипел фонарь, бросая свет на ветер.
 Тянули к свету ветки тополя.
 Всё было живо, заставляя верить:
 моё виденье — мёртвая петля.

Их тех миров, в каких мы только будем,
явилась к нам холодной и босой,
простоволосой, с выщербленной грудью,
с кривым веслом (хотя могла — с косой).

Всходило утро. Звёзды круг сжимали.
Она в окно бросала взгляд пустой,
не то меня забрать с собой желая,
не то ко мне решившись на постой.

Я вышел в круг. Рассвет стреножил ветер.
Метнулась тень из тёмного угла:
бездомный кот, один на целом свете.
И под окном — ни дивы, ни весла.

Газон сверкал росой безмятежно.
Там, на траве, виднелись два следа.
Она вернётся, выгребет на стрежень.
Она придёт остаться навсегда.

Вера Кузьмина

Неотбираемое

ДОВЕРИЕ

Помню старый двор, соседа Дюбеля
 После третьей ходки на крыльце.
 «На печеньку. Чо надула губы-то?»
 Песни пел, срываясь на фальцет,
 Снова заговаривал: «Дерябни-ка.
 Чо, не хочешь? Ладно, бля, сиди».
 Допивал, хрустел зелёным яблоком,
 С хрипом рвал тельняшку на груди.
 «Верка, никому не верь, запомни-ка.
 Друг подставил, сука, скоморох,
 Сделал из шахтёра уголовника,
 Скажет пусть спасибо, что подох».
 Снова пил и плакал: «Друг, пойми же ты.
 Я ж ему всегда, во всём... урод!»
 Дюбель помер. Я зачем-то выжила.
 Может, чтобы верить — хрен поймёт.
 Жизнь — не сто пятнадцатая серия,
 Не щенячий визг «люблю-умру».
 Нитка жизни из клубка доверия
 Тянется, мотаясь на ветру.
 Прав ты, Дюбель, был, когда советовал:
 Мол, не верь, поверишь — сбросят вниз;
 Только те, кто нам не фиолетовы,
 Режут-укорачивают жизнь.
 Стать родными — говорят, сокровище
 В зачерстневшей ломаной судьбе.
 Только беззащитной ты становишься,
 Семечком, пушинкой на губе.
 Обожглась. Обиды-то — немерено...
 Но молчу, стирая соль со щёк:
 Жизнь короче на одно доверие,
 Только врешь — не кончена ещё.

ПОСЛЕДНИЙ

На кухне посижу — блукаю без причины:
Под снегом огород, доделаны дела.
В моей постели спит последний мой мужчина,
Нахмурился во сне, почувял, что ушла.

Ржавеет под окном соседская «Победа»,
На лавочке смолит уборщица Барно.
Последние — вы те, кто после и по следу,
По следу горьких слов: «С тобой хотел бы, но...»

По следу писем, роз, дождей, размытой туши,
Гостиниц («Ты пойми и больше не пиши...»)
Нам первых не забыть — они уносят души.
Последние вернут хотя бы часть души.

Ох, русская ты ночь! Бессонница, бумага,
Собачий лай вдали, а ветер вроде стих...
Последние идут, тяжёлым ровным шагом
Перекрывая след, оставленный до них.

В коробках под столом засохли связки лука,
Пора бы перебрать, а лучше бы вчера...
Последнего — люби, последнего — баюкай,
Последнему — дрожи на кончике пера,

С последним будь собой — смешной и непохожей,
Распробуй сорок-там-какую-то весну...
Нырну в свою постель, солёной мокрой рожей
Прижмусь к твоей спине и, может быть, усну...

ПРО НЕДОЛЮБЛЕННЫХ

Ох и крепко нынче выстыло,
Ох, мороз крещенский крут...
Чьи следы по снегу чистому
К моему крыльцу ведут?

Всё готово: булки с вишнями,
Чайник с чаем, винегрет.
Только к бабе так притиснешься,
Что и смерти вроде нет.

Перелюблен — переборчивый,
Променяет на пятак:
То ряба, то рожу скорчила,
То позырила не так.

Вот и ждут бабёнки к ужину,
Чтоб сказать потом: живи,—
Недолюбленных-простуженных:
На ветру не до любви.

В кухне шкаф, поднос из Жостово,
Кот из миски «Вискас» ест...
Недолюбленный Христос-то ведь:
Бог пустил Его на крест.

Зашуршу рубашкой ситцевой,
Уведу на небеси...
Перелюблены, катиться вам
Колбасою по Руси,

Пропадать щербатым рубликом
(А казалось — чистый клад...),
Любят — только недолюбленных,
Перелюбленных — хотят.

НЕОТБИРАЕМОЕ

Пирожками, жёлтыми от жира,
Мячиком, билетами в кино —
В детстве я ничем не дорожила,
Знала, что отнимут всё равно.
Всхлипывала тихо в тёмных сенках:
«Обождите, вырасту, стерво...»
Ржали Мишка и сестрица Ленка,
Палачата детства моего.
Хмурила ребяческие брови,
Стыла на ветру, топтала гать.
И дошло: своё — до дна, до крови —
Никому при жизни не отнять.
Есть неотбираемое в мире,
Где в царях дурные палачи:
Бархатцы на бабкиной могиле
И окно, раскрытое в ночи.
Мой хороший, я не бью на жалость,
Вспоминая Мишку-палача:
Всё из детства: я любить боялась,
Чтоб не отобрали, хохоча.
Нынче небо — с изморозью сито,
До зимы совсем немного дней...
Возле мёрзлых досок и калиток
Я люблю тебя ещё нежней.
Просится домой, толкает двери
Крупной головой соседский кот...
Мой хороший, можно, я поверю,
Что тебя никто не отберёт?

БРОДСКОМУ И НЕ ТОЛЬКО

На Васильевский остров

Я приду умирать...

Иосиф Бродский

Гаражи, да сараи,
Да дощатая гать...
Что ты, Бродский, забаял?
Что придёшь умирать?
Расскажу, как, до дому
Не дошедши, — на кой? —
Я к проулку Речному
Прижималась щекой,
А старуха Парася
У ворот подняла:
«Эко чо, напилася...
Ведь спалишься дотла.
Шибко быстро да просто...»
И отчистила грязь.
Твой Васильевский остров
Маловат для Парась.
Что ты баешь: по-скотски?
Мол, холопская кровь?
Как презрительно Бродский
Вскинул рыжую бровь!
«К равнодушной Отчизне...»
Слышь, во все времена
Нам Россия — для жизни,
Вам — для смерти дана.
Мы не братья и сёстры
Перед нашей страной:
Вам — Васильевский остров,
Нам — проулок Речной.

БАБЬЕ ЛЕТО

А мужья-то объелись, как водится, груш —
Нет, не Евиных яблок.
Даже лето на Родине — слышишь, Петруш? —
Не мужичье, а бабье.
Ох ты, Родина — край петушков-леденцов,
Что не певши — отпели,
Да могил сыновей, и мужей, и отцов,
Да ещё — колыбелей,
Да ещё — долголапых несущек-курей,
Да цыплят-недоростков,
Да окошек в ночи, да больших тополей,
Да указов кремлёвских,
Да пшеничных полей, где великая сушь,
Да китайских халатов...
Знаешь, Родина — это заразно, Петруш,
А прививка — зажратость.
Это край, где водяра идёт как вода,
Где дворцы и сараи.
Знаешь, Родина — это смертельно... ну да,
За неё — умирают.
Вот такая у нас — золотая, не медь, —
Добровольная подать.
А ещё — и Отчизна, и Родина, Петь,
Штуки женского рода,
Даже лето на Родине — бабье, ага:
Сгусток счастья и боли.
Скоро будут — сугробы, метели, снега...
Поцелуемся, что ли...

Сторожиха на Броду

Зимней ночью холодно и тихо, пёс из будки смотрит на звезду...

На крыльцо выходит сторожиха дровяного склада на Броду.

Пахнет снегом, деревом, мышами: «Развелось мыша да хомяка!»

Толстая, усталая, большая: XXL — размер пуховика.

Загулял мужик-то, сука в ботах, за него на складе поживи...

Мир такой: большие — для работы, маленькие, значит, для любви.

Мир такой — ночной, морозный, мутный, только звёзды радуют, горя...

А в Расее верят не кому-то, а в кого-то... в Бога и царя.

Только далеко-далёко царь-то, Бог поближе — столько нынче звёзд...

Вон скрипят по небу Божьи нарты, кучером у Бога — Дед Мороз.

Новый год уж скоро... Крысы, что ли?.. «Развелось мыша да хомяка!»

Синим ветром и морозным полем пахнет от её пуховика.

И Господь глядит светло и строго: «Что, идёшь?» — «Иду уже, иду...»

Два шага всего до санок Бога от крылечка склада на Броду.

«Ну, проси. Чего ты хочешь, Валя? Ибицу? Айфон или айпад?»

«Господи, чтоб доски не украли».

«Всё?»

«Ага».

«Ну что ж, иди назад».

Звёзды — Богом ставленные свечи — льют на снег лимонный слабый свет.

Сторожиха Валя на крылечке крестит Божьи саночки вослед.

Скрылись за звездой цвета меди, вынырнули около Луны...

«Ладно, Он ещё, поди, приедет.

Попрошу, чтоб не было войны».

ПОГОВОРИ СО МНОЙ

Я всё-таки жива, и даже тычет морду
В ладонь смешной щенок — блохастый, ну и пусть.
Что держит на краю? Любовь и злая гордость,
И сталкивает вниз окраинная грусть.
Пусть ветер во дворе моё бельё полощет,
У печки пусть лежит роман про Бовари.
Не мать и не жена. Неполюбованна, в общем.
Бесценочка. Без цены. Не купишь — так бери.
Узнать бы, что за тварь распределяет цены
И сколько стоит дым над кривенькой трубой.
Подколотый мужик по прозвищу Полено —
Он сдуру обозвал соседа: «Голубой».
И нежность чабреца, когда уткнёшься рожей,
Чтоб выплакаться всласть от слов и синяков,
И дедушко Иван, вздохнувший: «Верка, дожил...
Сказали — кашляй, хрыч, в дому для стариков».
Неполюбованна, блин. Ошмётки-заморочки.
Мы — щепки, мы — заслон для гвардии в бою...
Поговори со мной о первом зубе дочки,
Чтоб я осталась жить на глинистом краю...

Павел Фоменко
«Убей меня»

У подножия могучей сопки, заросшей кедровой тайгой, приклеилась маленькая охотничья зимушка. На фоне огромных деревьев она была похожа на большую шишку, упавшую поздней осенью в снег. Начало зимы — горячая пора для охотника-промысловика. Капканы на соболя уже раскиданы, мясо и для себя, и на приманку добыто. На лабазе стройными рядами уложены ленки, пара тайменей, припасён мешок хариусов. Другие продукты на долгие три месяца промысла завезены ещё по осени на лодке-ульмаге.

В такое время главное — не лениться и проверять капканы, расставленные по путикам, проложенным ещё отцом. Каждый год путики-дорожки надо чистить от ветровала, подновлять затёски — путеводные маячки на деревьях. По путику в любое время дня и ночи можно добраться до своего убежища. Здесь всегда под рукой заранее припасённая сухая стружка-разжига или кусочек пня-смоляка, и замёрзший охотник легко и быстро растопит печурку и согреется. На плиту сразу ставится большой армейский чайник, чтобы восполнить потери энергии и большого количества жидкости, которые теряет промысловик, выполняя свою трудную и опасную работу. Чаепитие, приготовление еды, зарядка патронов и починка снаряжения затягивались до поздней ночи, и огонёк свечки или керосиновой лампы долго не гас на просторах тайги. Так было и сейчас на берегу могучего Бикина — дальневосточной Амазонки, давшей приют народам удэге и нанай, великим охотникам и рыбакам.

Дальний путик протянулся в самую вершину ключа. С утра обойдя капканы, Василий снял четырёх седых белок и пару молодых собольков с лёгкой бусинкой в светлом мехе, а на обратном пути решил пробежать по сопке в надежде подсесть свежий след соболя и взять его гоном. К сожалению, собак у Василия не было, вернее, совсем недавно они ещё были, но осенью на корнёвке тигр убил его очередного четвероногого помощника, почти из-под ног утащив молодого кобелька-лайкоида. Хорошие собаки в этой тигриной тайге долго не жили. Василий уже потерял счёт погибшим псам, но зла на тигров не таил — у каждого своя добыча.

Снег был по щиколотку — в самый раз для погони за соболем. Поднялся по распадку к самой его вершине и нашёл свежие крупные отпечатки лапок ценного зверька. «Похоже, взрослый кот!» Определив направление, быстрым шагом, переходящим в бег, начал погоню.

Василий подрезал след, глядя в его хитросплетения, которые вели обратно к избушке. Вышел в пойму ключа и снова пересёк свой путик. И вдруг на тропе, по которой удэгеец прошёл всего часа четыре назад, чётко отпечатался след тигра. Вообще-то полосатые здесь не редкость, и их следы часто встречались на участке, но на глаза они не попадались, и Василий тоже не очень-то стремился к встрече с грозным хищником.

След тигра был необычный, это сразу бросилось в глаза. Зверь явно хромал на одну лапу, о чём говорила борозда между отпечатками. «Нехорошо это, даже плохо, — подумал Василий. — Раненый или больной тигр — большая беда». Он всегда помнил слова стариков-охотников: «Увидишь тигра — увидишь свою смерть». Простая формула — суровая правда жизни. Нормальный здоровый хищник избегает человека, а вот встреча с раненым или больным тигром всегда несёт угрозу. Его отец и дед, которые всю жизнь охотились в тайге бок о бок с тигром, видели «хозяина», как они почтительно называли тигра, крайне редко.

Соболя удалось загнать в поваленное дерево лишь на исходе дня. Эх, не хватило какого-нибудь часа, чтобы достать зверька из дуплистого тиса! Было слышно, как тот потихоньку сердито урчал, когда охотник начинал царапать древесину ножом. Обставив дерево капканами на возможных местах выхода соболя и заткнув крупные отверстия обломками веток, он уже затемно двинулся к избушке. Ночь освещалась ранней луной, и найти путик не составило труда. Василий не боялся тайги ни днём, ни ночью, мог заночевать у костра хоть летом, хоть зимой. Тайга была его домом, и он знал в нём всё или почти всё. В лесу он боялся только людей — они порой были опаснее хищников.

Недалеко от зимовья, обходя упавшую огромную липу, Василий почувствовал странный запах и невольно вздрогнул. На тропе под неярким светом луны охотник снова увидел отпечатки лап тигра. С опаской оглянувшись, он присел на корточки и провёл рукой по следу. Снег на кромке тигриной пятки был мягким и не смёрзшимся, несмотря на двадцатиградусный мороз. Свежий! До спасительной избушки оставалось каких-то триста метров. Перекинув ремень «белки» на плече, охотник осторожно двинулся дальше.

Он вдруг почувствовал, что затаившийся где-то глубоко в подсознании страх начал выползать наружу и нашёптывать охотнику свой сценарий: «Вот сейчас возле зимовья, напрямик за поленницей, лежит тигр и ждёт тебя, чтобы сожрать!» Василий чуть не рассмеялся от этих дурацких мыслей. На сердце полегчало. В ста метрах от избы след тигра повернул к сопке. «Вот и ладно. Обошёл стороной — значит, уйдёт за ночь». Он снял ружьё и повесил его на дежурный гвоздик снаружи зимовья, чтобы лишний раз не чистить отпотевший в тепле избы металл, обстучал пихтовым веником олочи и открыл дверь.

Жилище встретило его теплом и запахом испечённых накануне лепёшек. Чайник — на печку, добычу — на верёвочку для оттаивания

и снятия дорогой шкурки. Щелчок приёмника — и заморская мелодия уносит Василия далеко-далеко от этого заснеженного, забытого Богом места. Все тяготы дня отступают, и тёплая нега окутывает охотника. Голова так и клонится к подушке. Но спать нельзя, иначе придётся всю работу делать среди ночи. Удэгеец достал кусок кабаньего мяса, заботливо занесённого с мороза в зимовье ещё утром, и начал готовить ужин.

Многим таёжным навыкам он был обязан отцу, с которым проохотился, почитай, всю жизнь. Но в этом году батюшка не смог пойти на промысел. Хорошие охотники, как и хорошие рабочие собаки, быстро изнашиваются, и в свои шестьдесят пять отец Василия имел полный набор хронических болезней, каждая из которых могла легко вывести старого охотника из строя. Обузой сыну в тайге он быть не хотел, как тот его ни упрасивал — не согласился. Впрочем, Василий часто оставался в лесу один, и одиночество его не особо тяготило.

Обжаренная с луком мелко порезанная кабанятина была отправлена в кастрюлю, где уже булькали морковь, пара картофелин и горсть вермишели. Заправка дюйцахазой, особой удэгейской острой приправой, ещё десять минут на гудящей печке — и нехитрая снедь готова. Тарелка супа, чай, половинка лепёшки — вот и весь ужин охотника-промысловика. «Сытно, дёшево и сердито. Жаль, собаки нет», — посетовал он, выбрасывая косточки и смахивая крошки со стола.

«Всё, спать. Завтра проверить капканы у дуплистого тиса, ловушки на норку и выдру на береговом путике, в долине на островах поискать мясо. А ежели повезёт добыть — всё сложить на лабаз, чтобы к Новому году вывезти мясо в деревню на сдачу в промхоз, семье на пропитание, да и родню угостить. Всё! Спать!» Задутый светильник забросил в избушку запах авиационного керосина, который использовали охотники в лампах-лампадках. Дрова в печке тихонько и умиротворённо шипели, отдавая тепло человеческому жилью. Луна желтела, как бубен их деревенского шамана, освещая зимнюю стылую тайгу. Тишину ночи нарушал лишь звонкий треск льда, укрывающего реку до весны толстым одеялом.

И вдруг откуда-то из самого тёмного угла ночи — тревога! Когда ты долго в тайге, порой чувствуешь то, что другим неведомо. Шестое чувство. А может, седьмое или восьмое? Вот и сейчас... Тревога! Василий открыл глаза в тот момент, когда тень уже прошла мимо низкого оконца. Но тень была?! Сердце невольно отстучало лёгкую тахикардию. Нет, показалось, но слух невольно стал различать все изъяны лунной ночи. Вот как будто что-то хрустнуло снаружи, кто-то осторожно подошёл к поленнице и уронил ветку. Как будто чей-то тяжёлый вздох. Да нет! Это же всё забавы огня и смолистых дров в печке. «Спать. Спать! Завтра трудный день».

Охотник, как кабан зимой, встаёт поздно. Утром холодно, и много энергии тратится на согревание. Вот он и спит в тёплом гайне до обеда,

а как потеплеет — идёт искать еду. Так учил его отец, и привычка оставаться подольше в постели прижилась и у Василия. Было уже десять часов, когда он вышел за дровами. Свежая сантиметровая пороша лежала на крыльце. Подойдя к поленнице, он не поверил глазам. На снегу — следы тигра! Он невольно оглянулся — они везде: вокруг зимовья, на тропинке к реке, у приземистого окошка — здесь зверь долго стоял, будто пытался рассмотреть происходящее внутри, след протаял почти до земли. Значит, это был не сон, все звуки и ощущения были правдой? Тигр где-то рядом?! Василий попятился к двери, осматривая дальние подступы к избе. На ровном снежном покрывале борозда следов уходит к поваленному ильму на берегу реки. Интуиция подсказала: зверь там. Взгляд охотника впивается в детали. Вон с ветки сброшен снег, синичка-гаичка, подлетевшая было к дереву, шархнула в сторону. А там что-то темнеет среди нагромождения веток! Рука потянулась к ружью, висевшему перед входом. . .

Василий забежал за дверь и первым делом по привычке положил ружьё под одеяло, чтобы не отпотело. Почему-то захотелось закрыться на засов, но задвижки не было. Закрывать в дремучей тайге было не принято, да и не от кого. К двери был привязан шнурок, чтобы сильнее прижимать её в зимнюю стужу. Обмотал шнурок вокруг гвоздя, хоть и понимал, что для тигра это не препятствие, но на сердце полегчало. «Что делать? Что делать? Был бы рядом отец — он всё знает».

Прошло полчаса. Снаружи тихо, только подлетевшая сорока вдруг вертикально взлетела и с громким стрекотанием унеслась восвояси. Стайка ворон, как обычно, в надежде чем-нибудь поживиться после его ухода на путик, скромно ожидала на высокой чозении посреди островка напротив. Поваленное дерево, за которым мог притаиться тигр, из окна не было видно. Василий решил разведать обстановку. Взял ружьё, проверил патрончики в стволах, развязал верёвочку и осторожно выглянул наружу. Солнце почти в зените. Короткий зимний день в полном разгаре. Эх, самое время для охоты! «А там ли он? В нагромождениях веток вроде ничего нет. Может, пальнуть?» Охотник взвёл курок «белки», перевёл флажок на выстрел из гладкого ствола, поднял ружьё вверх и нажал на спусковой крючок.

Ба-аба-ах! Громкое эхо разнеслось по долине Бикина. С куста напротив ссыпался морозный иней, и вороны с гаем сорвались с веток. И, как что-то нереальное, из-за поваленного дерева появилась голова тигра. Чёрно-бело-рыжее пятно посреди белой скатерти поляны смотрелось ярким таёжным цветком. Уши, глаза, усы! Василий рассматривал зверя — так близко видеть могучего повелителя тайги ему никогда не доводилось. Казалась, зверь был спокоен и взглядом как будто спрашивал: «Чего стрелял-то? Здесь я, здесь!» И исчез так же, как мираж.

«Это было или не было?» Василий заскочил в избушку и стал сооружать запор на дверь. Под рукой были топор, гвозди и полено — всё,

что нужно для нехитрого приспособления. Прибив его, проверил крепость сооружения, изо всех сил дёрнув. «Держит! Но сколько может длиться осада? Выстрелов хищник явно не боится, а чем ещё его можно отпугнуть? Криком? Огнём? Вряд ли. Хорошо хоть запас дров есть в прихожей, а не только в поленнице». Осторожно приоткрыв дверь, Василий стал всматриваться в силуэт поваленного дерева, но тигра не видел. Взгляд скользнул в сторону. Не может быть! Вот же он посреди поляны! Стоит, не прячась, как постамент на фоне сопки, и смотрит прямо в глаза! Опытный взгляд охотника продолжает цеплять детали: зверь тяжело дышит, спина провисла, худой — живот подтянуло к позвоночнику. И ещё — задние лапы подогнуты, как у овчарки. На гачах — смёрзшимися комочками снег. Тигр неподвижен и кажется спокойным, только кончик хвоста нервно подрагивает. Главную деталь заметил в последнюю очередь: на задней ноге ближе к животу — огромное, похожее на опухоль пятно. Из него сочится красноватая жидкость, намерзая сосулькой на тусклой шкуре. Так он подранок! Василий тихо прикрыл дверь. Сел на нары. Нет, с таким делом без чая не разобраться. Налил в кружку крепкого напитка, задумался.

Тигра в его роду всегда почитали. Считалось, что это божество, которое повелевает судьбами всех людей и зверей. Он мог быть злым и коварным, как окзо — чёрт: такого тигра называли амбой. Был и другой тигр — ван, хозяин тайги и гор. Ему и молились удэгейцы и нанайцы. Мало кто на Бикине мог поднять руку на вана. Разве что... Василия сразила догадка. Километров двадцать ниже по течению Бикина стоял охотник из их деревни. Многие его недолюбливали за беспробудное пьянство, за непорядочность и вороватость. Как-то раз он хвалился в конторе госпромхоза, как он ловко разбирается с тиграми. «А я его бью по животу с мелкашки. Он думает, что его укусила пчела, и не бросается на стрелка после выстрела. Уходит подыхать. А зачем мне конкурент? Самому мало. Вон, кабана в пойме днём с огнём не сыщешь». И сейчас, видя раненного в живот тигра, Василий понял, что это дело рук этого подонка.

Вечерело и подмораживало. Термометр за окошком показывал минус двадцать пять. «Каково же сейчас раненому голодному тигру? — с тревогой думал Василий. — Мяса бы ему дать, но оно на лабазе. Да и не сможет есть, наверное, ежели кишки прострелены. Если такая серьёзная рана, то это конец. Не выживет. Жаль, красивый зверь. Похоже, молодой самец. Но что делать-то?» Охотник с тоской глядел на лунные тени деревьев за окном, пытаясь найти ответ на вопрос.

Наступила тревожная ночь. Перекусил остатками лепёшки — есть не хотелось. Подбросив дров, забрался на нары, на всякий случай положил рядом ружьё. Уснул, но это был не сон, а какое-то забытьё. Всё время мерещились звуки, что-то скрипело и вздыхало. Шорох мыши в углу казался грохотом взлетающего вертолёта. Василий

проснулся резко, чётко понимая, где он и что его окружает. Лунные тени сместились. Было около трёх ночи. На него сквозь низкое оконце избушки смотрел тигр. Видно было, как топорщатся и шевелятся его длинные белые усы и блестят клыки. Он как будто что-то ему говорил. Ему причудилась фраза: «Убей меня, убей меня!» Хруст снега и отчётливые шаги хромающего зверя. «Господи, как страшно! Но это происходит прямо здесь, со мной, и прямо сейчас!»

Проснулся Василий рано. Было тревожно. Где тигр? Погода портилась, за окном дул сильный восточный ветер. По небу неслись низкие, наполненные снежными бомбами тучи. Сильно потеплело. Ого! На термометре за окошком минус пять. Будет серьёзный снег. Надев шапку, Василий отодвинул засов на двери. Взглянул туда, где вчера стоял зверь. Вот он! Там же, только лежит. Голова животного покоилась на мощных передних лапах, задние были неловко подвёрнуты. «Болит живот-то, — подумал охотник. — Да жив ли?» Тигр приоткрыл глаза, не поднимая головы. «Эх, совсем, видно, тяжело зверюге. К ветеринару бы тебя. А я чем помогу?» И вдруг он вспомнил ночной кошмар и страшную просьбу: «Убей меня!» Дрожь пробрала Василия до самых пяток, и явно не от холода.

Упали первые снежинки. Их сразу сдуло порывистым метельным ветром. К обеду снег и ветер разошлись. Тайга гудела и кряхтела, даже из избушки были слышны глухие стоны падающих деревьев-исполинов.

А тигр лежал. Боль немного притупилась. Живот был стиснут огненным обручем. Маленькая чёрная пулька влетела в передний край задней лапы, пробила её насквозь и вошла в кишечник. Он и не понял, что произошло. Как будто укус пчелы. Но это была смерть... Долгая, мучительная, подлая. Снег стал засыпать тигра. Уйти он уже не мог, но почему-то здесь, на берегу реки, возле жилья этого двуногого, он чувствовал себя спокойно.

Метель бушевала до ночи. Уже ближе к утру в разрывах облаков показались холодные трепетные звёзды. Василий подбросил дров в печку. Похолодало. «Как там тигр? Морозяка уже под тридцать, да и снега навалило. Эх, не успел проверить капканы перед непогодой!» Обычно в преддверии природных катаклизмов соболь активно кормится и чаще попадает в ловушки охотников.

«А может, зверь пришёл ко мне за помощью? Но что же я могу сделать?» Дрова под навесом заканчивались. Осталось на три топки. Рано или поздно придётся идти к поленнице, а это как раз мимо лежащего тигра.

Холодное солнце лениво поднималось из-за снежных гор. Тайга, укутанная белым покрывалом, дымила на сопках вихрями уходящей метели. Приоткрыв дверь, Василий увидел бугорок снега в том месте, где лежал тигр. Всё! Помер! Он оделся, взял ружьё, проверил в нём патроны и осторожно вышел наружу. До тигра было метров пятнадцать.

Взяв полено, Василий бросил его в сторону бугорка. Реакции никакой. Осмелев, он ещё сдвинулся в сторону заметённого снегом тигра. Взял длинную ветку и толкнул ею снежный бугор — на бугорке появилась маленькая трещина. Тигр приподнял голову! Быстрая вскидка ружья, щелчок взведённого курка — и голова зверя с шапочкой снега между ушами у него на мушке. Василию стало тяжело дышать. Тигр смотрел на охотника, но, казалось, смотрел сквозь него и видел уже совсем другой мир. Из краешков глаз сочились слёзы. Слёзы как у человека. Голова покачнулась и стала клониться к земле. «Убей меня!» — снова послышалась ночная галлюцинация. «Тигр пришёл ко мне, чтобы я помог ему умереть!» Мушка ружья задрожала, и тигр уронил тяжёлую голову на лапы.

Выстрел прозвучал без эха, как треск сухой сломавшейся ветки. Тигр даже не вздрогнул, он был уже мёртв. Удар пули и приход его естественной смерти стали одновременными событиями. Страна вечной охоты поглотила огромного зверя и весь его существовавший до этого мир. Ноги охотника обессилели и обмякли, как будто с последним вздохом тигра исчезла и его жизненная энергия. Он упал на колени, обхватив ствол ружья, и заплакал. Слёзы текли без усилий, освобождая душу от тяжести поступка. Они капали на редкие усы, на прожжённую в нескольких местах старенькую удэгейскую куртку, в родовой орнамент которой были вплетены маленькие человечки и крадущийся тигр.

Николай Гайдук

Улыбка тигролова

Памяти Анатолия Буйлова

В нашей русской литературе — на излёте двадцатого века и в начале двадцать первого — пожалуй что и не найдётся фигуры более колоритной и самобытной, чем Анатолий Буйлов. Об этом лихорадочно стал я размышлять промозглым весенним вечером, когда ударил гром — печальное известие.

В далёком таёжном Тайшете, находящемся на западе Предбайкалья, семнадцатого марта 2020 года ушёл во тьму наш яркий литературный брат Анатолий Буйлов — уникальный человек, автор знаменитых «Тигроловов», романа, переведённого на двадцать языков земного шара.

Как-то так получилось, что жизнь нередко водила меня вокруг да около Анатолия Буйлова. Он был ещё в Москве, доучивался на ВЛК — Высших литературных курсах. А небольшая группа из молодых, но ранних, — кто близко, кто не очень знающие Буйлова, — мы из Красноярска на автобусе прикатили в Дивногорск и поднялись на восьмой этаж, в пустую пока что квартиру, где предстояло жить семейству Буйловых. Мы приехали, что называется, на смотрины квартиры: Буйлов «доверенным лицам» поручил купить жильё в Дивногорске.

После Москвы, после окончания Высших литературных курсов, Анатолий Буйлов долгие годы проживал в Дивногорске, сразу громко и ярко заявив о себе, собрав кругом себя единомышленников и сделавшись едва ли не здешней достопримечательностью. Был у меня на слуху такой анекдот: «Что можно в Дивногорске посмотреть?» — «Надо вам съездить на ГЭС, а потом к Анатолию Буйлову!»

Дивногорск — местечко действительно дивное. Но каким бы дивным ни было оно — с высоты восьмого этажа Буйлов тянулся к земле, к воде, к тайге.

В совхозе «Манский» он поляну присмотрел на берегу изворотливой прекрасной Маны, оформил документы и, засучив рукава, начал строительство дома. Любо-дорого было смотреть, как он легко, играючи управляет с топором, бензопилой, рубанком. Эти инструменты будто сами прыгали в мозолистые руки мастера. И даже как-то не очень верилось, что Буйлов вот этими же самыми руками давит клавиши на пишущей машинке или ручку в пальцах держит. А ведь именно так и происходило. И это удивительно: в нашей отечественной литературе немного найдётся писателей, вдохновенно работающих

с такими совершенно разными инструментами, не говоря уже о брёвнах, которые Толя привычно волохал, попутно рассказывая о преимуществах и недостатках той или другой породы дерева.

Сосна, к примеру, объясняет Буйлов, для постройки хороша, поскольку долговечна за счёт смолистости. Ещё долговечнее хоромы из кедра, и совсем уж вечные — из лиственницы, «железного дерева». Но кедрача и листвяка в округе мало, говорил Анатолий, так что сосна сгодится. Он отлично знал тайгу, любил. И не случайно один из любимых романов его — «Русский лес» Леонида Леонова, с которым неоднократно встречался, ценил корифея этого и дружбой дорожил.

Вижу как сейчас: поджарый, мускулистый, ладный Толя Буйлов по-хозяйски ходит по большому своему подворью. Прицеливается, где лучше поставить избу. И тут же рядом крутится голопузый Васька, сын, впоследствии подтвердивший поговорку о том, что яблоко от яблони падает недалеко: теперь Василий — композитор, режиссёр, сценарист и что-то там ещё в таком духе. Но это случится не скоро. А пока парнишка слушает и смотрит, как батя начинает строить дом, сверкая острым топором на солнце, с весёлым звоном стёсывая сучья. Аккуратно, ловко Толя рубит пазы, мимоходом объясняя, что избу можно рубить «в лапу», а можно «в чашу». Лучше, конечно, «в чашу» — хоромина будет прочней.

Вспоминая те далёкие деньки, кучерявые от стружки, золотые от солнцепёков, пропахшие гречневой кашей свежих опилок, разжёванных бензопилой, я теперь с хорошей грустью думаю: это были счастливые дни как для семейства Буйловых, так и для гостей. И не могу я не сказать, не похвалиться тем, что где-то там, среди сосновых смолистых брёвен, рубленных «в чашу», в нижних венцах, уютно угнездилось и «моё» бревно, под руководством Буйлова отёсанное. Бревно, можно сказать, именное — высокопарно подписанное, как доказательство того, что автор этого бревна от скромности не умрёт. Буйлов молча, с улыбкой смотрел на подписание того бревна и думал, наверное: чем бы дитя ни тешилось...

Хотя и сам он тешился порой, поскольку был в душе большой ребёнок и вместе с тем большой поэт своей судьбы. А кому, как не поэту, стукнула бы в голову идея — на верхотуре дома построить нечто вроде обсерватории, телескоп туда поставить, чтобы небом любоваться по вечерам и ночам, ощущая себя звездочётом, подтверждая слова пролетарского гения: «На земле огней — до неба... В синем небе звёзд — до чёрта. Если б я поэтом не был, я бы стал бы звездочётом»?

Загоравшийся новой идеей, воспламенявшийся головокружительной мечтой, Буйлов показывал картинки из журналов, где хромированной сталью и стеклянным глазом сверкали телескопы на треногах и стационарные, дорогие по тем временам, но Буйлов был из тех, кто за ценой не постоит. Однако мечта «звездочёта» так и осталась мечтой: руки-ноги не дошли до воплощения. И теперь об этой блистательной

идее напоминает только фигуристая башенка, дождями и снегами посечённая, несколько нелепо и в то же время гордо возвышающаяся над бревенчатым домом.

Зато руки-ноги хозяина быстро дошли до постройки бани на берегу живописной Маны, откуда Буйлов притартал речные небольшие валуны, говоря, что именно они годятся для парилки — не трескаются и не раскалываются при большом нагревании.

Баня для Анатолия Буйлова — это было святое. Это был удивительный клуб единомышленников, где все равны, поскольку голышом. В бане этой — в разные банные дни — собиралось великое множество разных людей. Тут можно было встретить и писателя, и читателя, и живописца, и кинорежиссёра, и священника, и грешника, и профессора, и учителя, и атамана казачества, и работягу — всех не перечить. И все они — как об этом говорилось потом на поминках в Доме культуры Дивногорска — все они поразились тому, что Анатолий Буйлов с каждым находил общий язык. И только в одном расхождении было — в парилке. Буйлов парился ну просто-таки зверски — народ горохом с верхотуры скатывался, в предбанник сбегал. Мало того, что в бане температура адская — смола выползала из брёвен, — Буйлов к тому же ещё крапивным венником любил похлестаться. А это совсем караул — это получается вдвойне огнеопасно. Ну а после чудной русской бани — краснощёкое и шумное застолье, прохладный квас, травяные терпкие отвары или берёзовый сок, который Толя по весне заготавливал бочками, чтобы угощать многочисленных своих гостей и в дорогу им давать пол-литру или две: только такие пол-литры признавались Буйловым — спиртную гадость никогда не потрещал.

Несмотря на то, что мы были знакомы давно, — знакомство представлялось фрагментарным, эпизодическим, от случая к случаю. И только позднее, когда после Крайнего Севера я совершенно случайно тоже записался в дивногорцы, наше знакомство окрепло. Правда, к той поре произошли кое-какие кардинальные перемены и в моей судьбе, и в жизни Буйлова. Анатолий жил теперь отдельно от семьи, иногда ходил в казачьей форме есаула или атамана, позвякивая шпорами и саблей, а у подъезда бил копытом вороной — это уже в моём воображении. Форма, надо сказать, удивительным образом красила его, облагораживала, как человека мужественного, аскетичного.

Получилось так, что дивногоцем я стал не сразу — месяца два прожил в совхозе «Манский». В бывшем совхозе: от него к той поре, как от многих советских совхозов, только рожки да ножки остались. Земля тут жутко вздоржала, будто нашли в ней ураганное золото. Кругом уже стояли особняки, архитектурой своей словно бы старавшиеся переплюнуть один другого. И я, когда пошёл искать дом Анатолия Буйлова, заблудился в этих новых русских дёбрях. И поразился тому, каким невзрачным и сиротским показался мне дом Анатолия, дом, который много лет назад выделялся как пуп земли. Стояла уже

осень — на пороге предзимья. И нашёл я Анатолия в избе, где он у тёплой печки вёл беседу с Василием Обыденко, тогдашним начальником культуры Дивногорска. Вот с тех пор мы и сошлись накоротке. Можно сказать, познакомились заново.

В Дивногорске жил Анатолий в просторной квартире, по-холостяцки или по-таёжному обставленной: деревянная мебель, своими руками изготовленная, грубоватые книжные полки, трещавшие от литературы, вскарабкавшейся до потолка.

Порою заходя на огонёк, я всегда удивлялся гостеприимству хозяина, который словно только тебя-то и поджидал, чтобы пригласить за стол — чайку пошвыркать и потолковать на самые разные темы. Хотя «в окружении Буйлова» полезно было и помолчать — это странно звучит, но является фактом: он умел «окружать» человека, он брал его в плен при помощи своей невероятной энергетики.

Рассказчик от Бога, он любил и умел не то что говорить — живописать роскошным русским словом. И всегда убеждённо, напористо. А если дело доходило до какого-то принципиального спора — вскоре тебе становилось понятно: такого мужика даже трактором с дороги не свернёшь.

Внутренняя сила была в нём велика, не говоря уже о силе физической. А кроме того — обаяние и то, что называется харизмой. Он с полуоборота заводился на любую тему, но никогда не терял равновесия — говорил спокойно, рассудительно, с фактами и даже цифрами, с аргументами, против которых не попрёшь. Доказывая что-то и доказав, он в конце своей тирады улыбался, как бы желая сказать: извиняюсь, мол, но я не виноват, факты — упрямая вещь.

Застенчивый и скромный, он был заряжен большим талантом. Он был рождён для двух ли, трёх ли жизней — так представлялось. Да он и сам об этом говорил. В прошлом у него было ни много ни мало — семь старших братьев, и никто из них не дотянул до тридцати в послевоенные годы. И однажды он сказал сыну Василию: «Я обязан жить за них за всех!»

Так, может быть, в этом сокрыта загадка и тайна многогранной природы Анатолия Буйлова? Он жил за себя и за братьев.

Сто лет не пьющий водки — беда многих русских писателей — Буйлов порою как будто не знал, куда выплеснуть буйство души своей и замыслов своих. Так со стороны казалось многим. А по факту получалось так, что он — сегодня жил за брата одного, а за завтра за брата второго, и третьего, и четвёртого. И все эти братья, душой Анатолия Буйлова объединённые, на уровне подсознания заставляли его жить широко и жадно, жить взахлёб. Это, конечно, фантазия, мистика. Но почему-то мне кажется: зерно сермяжной правды тут зарыто.

Он увлекал и зажигал своей энергией. Он поражал познанием тайги, людей, литературы. Он дружил с Валентином Распутиным, вёл с ним переписку многолетнюю, дружил с В. П. Астафьевым, хотя однажды

коса нашла на камень, который с годами, слава Богу, раскрошился. Он азартно занимался живописью, хотя и любительской, но если бы он это сделал целью жизни — успех к нему наверняка пришёл бы. Все предпосылки к этому имелись.

В погоне за хорошими этюдами Буйлов забирался в горы и в тайгу Тувы, Хакасии. В эти «злачные» места увозил его дивногорский художник Владимир Набоков, человек, по молодости лет одержимый и отважный, не бросивший кисть даже тогда, когда в него стреляли на этюдах — было и такое.

И когда я с большим удовольствием слушал рассказ Набокова о том, как они с Толей Буйловым вдохновлялись в горах, уже покрытых белой шерстью инея, живописали этюды, а потом ночевали в стогу, в сено зарывшись по горло, чтобы только было чем дышать и чем смотреть на звёзды,— меня вдруг опалило чувство доброй зависти и твёрдая уверенность в том, что Толя Буйлов был на этой земле человеком счастливым.

Из поездок на этюды и других поездок по стране он привозил осколки окаменевшей радуги — собирал коллекцию камней. И теперь где-то в тёмном чулане, в кружевах паутины, ждёт своего часа эта коллекция, которую он собирал давно и кропотливо, как будто сознавая, что время разбрасывать камни закончилось, наступило время собирать, изучать и любоваться. Никогда не будучи скупым, он всё-таки мне порой представлялся в образе пушкинского скупого рыцаря, когда возился, нянчился с речными и озёрными окатышами: пересыпал из ладони в ладонь осколки радуги или осколки сказочных каменных цветков, которые он иногда специально водой поливал, чтобы сильнее сияли гранатовым, зелёным, синим и янтарным. И сам он, Толя Буйлов, тоже при этом сиял своей неповторимой улыбкой.

А кроме того, он всерьёз занимался художественной цветной фотографией. Да так увлечённо порой — смех и грех. Вот мы за чаем сидим в предвечерней заре, тихо-мирно ведём беседу. И вдруг наш Толя подскочил, глаза раззолотились. «Ты посиди тут,— скороговоркой бросил,— мне надо ненадолго!» Я рот разинул, чтоб спросить, а Толя уже за дверь. Потом вернулся, смущённо и по-детски улыбнулся и говорит: закат, мол, надо было сфотографировать, больно уж хорошее освещение на небесах, на горах.

Крепкий мужик, поэт в душе, бродяга и отважный тигролов с глазами и повадками наивного ребёнка — теперь он так и останется в памяти. Есть у него книга «Большое кочевье» — название стало пророческим.

Кочевать по жизни Буйлов начал рано. Достаточно сказать, что этот вольнолюбивый отрок в одиннадцать лет уже золото мыл с матёрыми бродягами в Магаданской области, потом оленеводом был на Крайнем Севере. Потом... потом...

А в годы предпоследние — тут я не хочу и не буду вдаваться в подробности чужой семейной жизни — Анатолий Буйлов из Дивногорска

перебрался в Усть-Ману. И там судьба сводила нас, хотя уже коротке, урывками.

Однажды летом, угорая от жары, я поехал в Усть-Ману: хоть Енисей под боком в Дивногорске, да не искупаешься, только «моржи» порою в студёных водах плещутся. А в этой Усть-Мане, возле моста, на реке мелководной, прогретой до донца, в жаркий день идёшь не по песку, не по траве — по живым телам надо идти, столько народу порастелешилось. Да ещё к тому же музыка гремит как из дурдома — из легковых машин любителей «культурного отдыха» или тех, кто любит раздавить пузырь на свежем воздухе и закусить шашлыком с пылу с жару. Ну, в общем, я решил уйти подальше. Вниз по течению далеко не уйдёшь — новые хозяева земли, воды и воздуха заборы поставили внаглую, права на то не имея. И мне пришлось идти вверх по течению. Прошёл совсем немного — и там, где берег почти отвесный, где стоит наверху на скале златоглавая небольшая церковка, около воды я встретил Толю Буйлова. Он друзей своих только что проводил в дальнейшее плаванье — от берега отчалили две-три каких-то лодки, из которых бородатые бродяги на прощанье помахивали руками и вёслами.

И там, под скалистым обрывом, где дрожало на воде отраженье золотого купола, мы немного посидели с Толей на камнях, поговорили. Солнце уже опадало куда-то за косматую хребтину тёмно-голубого Восточного Саяна. Комар поднялся на крыло, засвирепел, Буйлова, однако, не кусая. «Видно, знает в лицо тигролова и завязтого таёжника!» — пошутил я, отбиваясь от кровососов. А мимо продолжали скользить вниз по течению лодки, байдарки. Затем протелепалась странная какая-то посуда, похожая на катерок: на двухметровой мачте, на клотике, выражаясь флотским языком, голубоватый огонёк помигивал.

И Толя вдруг сказал: «А помнишь, у Рубцова?.. Как там у него: «Перевезёт меня дощатый катер с таким родным на мачте огоньком...» — «Да, это „Вечерние стихи“». Астафьев, кстати, частенько их читал. Даже на встрече с молодыми литераторами, помню, читал в Академгородке в начале восьмидесятых годов».

Понемногу темнело. Над хребтиною Восточного Саяна засеребрился молоденький месяц, и Толя опять обратился к стихам Николая Рубцова, к стихам под названием «Тайна».

И теперь, когда я проезжаю по мосту через Ману — в Красноярск или обратно, невольно стреляю глазами в ту сторону, где на солнце горит золотой куполок над скалистым обрывом, под которым случилась наша последняя встреча. А иногда я туда прихожу — не специально, нет, не буду врать. Прихожу, например, посмотреть ледоход. Мана будто белых лебедей выпускает из рукава — расколотые льдины уходят в Енисей. Оказавшись в тех местах, я вдруг запинаясь как будто о камень — тот камень, на котором мы сидели в последний раз. И если дело к вечеру и месяц начинает разгораться над горами — в душе моей звучит волшебный стих Рубцова:

Чудный месяц горит над рекою,
Над местами отроческих лет,
И над родиной, полной покоя,
Широко разгорается свет.
Этот месяц горит не случайно
На дремотной своей высоте,
Есть какая-то жгучая тайна
В этой русской ночной красоте.
Словно слышится пение хора,
Словно мчатся на тройках гонцы,
И в глуши задремавшего бора
Всё звенят и звенят бубенцы...

Справедливости ради надо сказать: в судьбе Анатолия Буйлова была уже далеко не лучшая пора, когда он продал квартиру в Дивногорске и переехал жить в посёлок Усть-Мана. Там он какое-то время пожил, а быть может, помыкался в деревенской избе, собрал свои нехитрые манатки, уехал в Иркутск, а позднее в Тайшет.

И вышло так, что жизненный круг его замкнулся: первые дороги Буйлова начинались в дальневосточной дикой тайге, населённой тиграми, а закончилась дорога Анатолий Буйлова в тайге сибирской, населённой медведями.

И тогда, когда ударил гром — известие о смерти, мне, грешным делом, подумалось: «Вот как далеко теперь будешь ты лежать! Далеко и одиноко! И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне всё б хотелось почивать».

И хорошо, что я ошибся в своих печальных домыслах. Дарья, жена, и повзрослевшие дети приложили немало усилий, чтобы Анатолий Буйлов из далёкого Тайшета отправился в своё последнее большое кочевье, чтобы навеки вечные улёгся он поближе к милому пределу — на Манской горе, рядом с могилой матушки своей и неподалёку от Астафьева.

День похорон был солнечный, просто жутко солнечный. Мартовский снег, на кладбище особенно чистый, на многих могилах совершенно не тронутый, зеркалами разбитыми там и тут отзеркаливал — слёзы вырывал.

Запах ладана поплыл в прохладном воздухе над гробом, и зазвучала молитва. Отпевал Анатолия тот священник, с которым Буйлов долгие годы крепкую дружбу водил, и словом, и делом помогая защищать церковные и монастырские земли от посягательства тех, кто готов уже хоть на пашне, хоть на стадионах построить коттеджи с бассейнами. И это ещё одна черта характера Анатолия Буйлова — защита и сбережение русской земли, русской истории. Защита, требующая много сил и времени: томиться в коридорах, ходить по кабинетам и горячо доказывать, увещевать и убеждать, зачастую глядя в стеклянные пуговики-глаза, те самые пуговики, на которые наглухо застёгнута

чиновничья душа. Кому это надо — ходить вот так, пороги околачивать? Это надо тому, кто способен широко и думать, и чувствовать, кто проблемы и печали своего Отечества воспринимает как проблемы собственного дома. Таких людей немного, к сожалению. И всё-таки есть они, к радости нашей.

Солнечный день похорон наложился на Всемирный день поэзии — двадцать первое марта. Вот уж действительно «бывают странные сближенья». А может быть, и ничего тут странного. Буйлов, как уже было сказано, в душе был поэтом. Вот почему проводить мне его захотелось стихами, хотя читать стихи у гроба — дело жутковатое. Но эти стихи, несмотря на то, что давние, — они как будто про него написаны:

Мерещится погибельная дата.
И поле, и покинутый погост.
Наверно, будет горькая расплата
За то, что вволю жил и пел когда-то
Под пологом дождей и вечных звёзд!

До срока, может быть, судьба свершится.
Но если ангел встанет за плечом
И вдруг с вопросом тихим обратится —
Скажу: пускай, что было, повторится!
Я сожалеть не стану ни о чём!

Так что дай Бог тебе, брат, покоиться с миром, без грусти и без сожаления о жизни земной, но в радости от жизни поднебесной.

Поминальное застолье было трезвое, что особенно приятно подчеркнуть. Застолье в духе Буйлова, убеждённого трезвенника. И это, как видно, ему пришлось по душе. Лицо его светилось на портрете под стеклом, отражающим солнце прохладного, но отчаянно-яркого дня. Лицо молодое, красивое, с глубоко посаженными умными глазами человека, много повидавшего, много понявшего. Лицо волевое, настолько живое, что казалось: тут вообще неуместна вот эта небольшая траурная лента, уголок портрета перечеркнувшая. Лента казалась бабочкою-траурницей: вспугни — и улетит, и смерти нет для этого жадно жизнь любившего охотника, золотоискателя, писателя, мечтателя и неумолимого странника по дорогам и тропам своей необъятной судьбы.

И словно бы свидетельством этой необъятности и жаркого горения души в стороне от поминального застолья находился великолепный ворох фотографий из архива Анатолия Буйлова. И столько там было всего, и так всё это было интересно, что если бы взяться двумя-тремя словами комментировать каждую фотографию — получилась бы хорошенькая повесть или даже роман. Какие лица там! Какие события! Вот шумный писательский съезд, на котором Буйлов говорил такое, о чём наболело у многих, но озвучить не могли: тут нужна была отвага тигролова, никак не меньше. А вот он «в главной роли» на киносъёмках

документального фильма, и видно, что камера любит его, ведущего себя очень естественно, без позы и рисовки. Вот библиотека — читательская конференция. Вот мужики на «митинге» в парной на речке Мана. А вот полный музыки московский зал Чайковского. Вот Байкал. Вот Ангара. Вот старообрядцы. Шаманы. Моряки. Золотодобытчики. Вот Солоухин, вот Распутин, Леонов, Астафьев, Проханов, Ганичев. Десятки, сотни лиц, среди которых многие нам знакомы по книгам, по журналам, кино и телевидению. И везде, везде, везде — Анатолий Буйлов, как человек-магнит, вокруг себя собравший этих людей или сам оказавшийся в водовороте интересных событий и знаменательных дат. И жалко будет, если эта удивительная фотолетопись окажется в каком-нибудь тёмном и пыльном, унылом закутке забвения. Это нужно выставить на свет, на всеобщее обозрение. А ещё хотелось бы сказать...

Сказать ещё о многом можно было бы — много ещё любопытного и увлекательного остаётся за рамками очерка. Но всё-таки пора и меру знать. Тем более что колокол зазвонисто ударил в церкви — слышно в моём доме, находящемся неподалёку от новой бревенчатой церкви иконы Божьей Матери «Знамение».

Пошёл, поставил свечку за упокой души раба Божьего Анатолия. Долго стоял, смотрел, как свечка, словно бы сердечком золотым, беспокойно бьётся в тишине и вроде бы в полном безветрии.

Вышел в предвечерние голубоватые сумерки. Зубцы далёких гор уже подгрызли боковину закатного солнца. И я подумал: солнце прячется где-то в стороне далёкой Тувы или Хакасии, куда Анатолий Буйлов выезжал на этюды. И где они теперь, его этюды? Где? Я всё ещё не в силах отстраниться и остыть от того большого и печального, что навалилось на душу, — от того, что наш литературный брат ушёл во тьму и это навсегда. Но чем больше буду бродить я по пригоркам среди сосен, тем спокойней будет сердцебиение.

Так давно уже заведено: по вечерам, после трудового своего денька, хожу-брожу кругами по Дивногорску. Но сильно-то здесь не расходишься — городок небольшой. И потому нередко — уже лет пять подряд — проходил мимо бывшего дома Анатолия Буйлова. Иногда останавливался. Глядел на окна, вспоминал задушевные посиделки. Вспоминал светло, хотя не без печали — жалко было, что Буйлов уехал, но теплилась надежда: вдруг вернётся? А теперь вот ещё жальче, ещё печальней будет — теперь-то он уехал безвозвратно. И остаётся только утешаться: эта печаль и горячая жаль в темноте вечеров, в темноте настроений, которые порой захватывают в плен, — всё это будет освещаться улыбкой Анатолия Буйлова. Улыбкой удивительной, улыбкой редкостной. Не потерять улыбку первозданную, сохранить её детскую свежесть, её очарование и словно бы искрящуюся искренность — это дано только тем, кто сохранил свою живую душу, сердце чистое, кто шёл по жизни прямо и с совестью дружил.

Сергей Кузнечихин

Поэт

Существует расхожее мнение, что поэты — вечные дети. На мой взгляд, весьма спорное, но к Третьякову оно подходит без оговорок. В нём благоухал весь букет детских особенностей — от наивного любознательного обаяния до капризного нежелания понимать заботы взрослых людей. О нём легко рассказывать и, главное, есть что рассказать. Но рассказывать надо весело, без «хрестоматийного глянца», иначе это будет не Третьяков. Ни одно поэтическое застолье не обходилось без анекдота из жизни Третьякова, он был лёгкий человек, мог пошутить над другими и не обижался, когда шутили над ним. Его не мучила потребность в самоутверждении, потому что никогда не сомневался в своём даре, и эта уверенность передавалась другим, даже тем, кому его лирика была чужда. Мне кажется, что Третьяков был единственным поэтом в Красноярске, талант которого никто не пытался оспаривать — ни поэты, ни прозаики, ни художники, ни музыканты, ни чиновники от культуры.

Я познакомился с ним в семьдесят первом году у Валеры Ковязина, который в то время работал районным газетчиком, но в его холостяцкой квартире постоянно паслась краноярская богема — или те, кто считал себя таковой.

Прилетел из командировки, слонялся по городу, по случаю достал пива, заглянул поболтать. Хозяин, открывая дверь, шепнул, что у него в гостях Третьяков. Я был наслышан уже, что он бывший зять Наровчатова и гениальный поэт, написавший: «...И голова моя, как орден, на красном бархате лежит...» Третьяков сидел с мужиком в речной форме. После выяснилось, что они однокашники по речному училищу. Флотский что-то рассказывал про Енисей. Представляя меня, Валера сказал, что я инженер и пишу стихи. «Инженер» ему явно не понравился, и он, как бы отмахиваясь, заявил, что на заочном Литинститута инженеров, агрономов и прочих специалистов, пишущих любительские стишки, полным-полно. Потом добавил, как мне показалось, излишне пафосно: «Поэзия — это не профессия, а судьба», — но он был уже выпивши. Флотский благосклонно предложил: пусть, мол, читанёт, — но я отказался. Тогда Третьяков спросил, бывал ли я на Казачинском пороге. Я в ту пору даже не слышал о нём. Третьяков, кивая на своего товарища, сказал: «А ты у него спроси. Он его сотни раз прошёл — и ни одной аварии».

Не понравились друг другу. Но разошлись мирно. В городе я появлялся редко. Иногда оказывались в общих компаниях, но не более того. Вскоре у него вышла книжка «Цветы брусники». Издали её в составе кассеты. Не помню, кто попал в ту «братскую могилу», кроме него и Ерёмина. Все сборники были тоненькими, сброшюрованы тетрадными скрепками, и лишь Третьякову набрали нормальную книжку, страниц на семьдесят. Но выделялась она не только объёмом. Это была книга состоявшегося поэта, яркие строки из которой мы, молодые, цитировали взахлёб.

Почти полвека прошло, а помню:

Словно кто-то сапогом
Самовар раздул — дымище!
Переход в другой вагон
Морщится, как голенище...

Или:

На чисто русском, без жаргона,
Со мной берёзы говорят...

Или:

На нашей крови комары
Работают, как на бензине...

Или:

За полчаса до ливня
С бетона в облака
Сорвётся реактивный,
Как спичка с коробка...

Кстати, нынешняя поэтическая поросль, которая не слышала (и не желает слышать) о Третьякове, запоминающимся сточками похвастаться не может, разве что единицы.

В семьдесят шестом году мы оказались соседями. Я получил «гостинку» в Зелёной Роще, а он после развода со второй женой перебрался к новой подруге, которая жила через улицу от меня. Её звали Анжела. Была она художником-оформителем. Работ её я не видел. Скорее всего, как и другие собратья по цеху, рисовала афиши, плакаты и прочую агитационную халтуру, зарабатывая на кусок хлеба с толстым слоем масла. Рассказывали, что ещё до знакомства с Третьяковым на какой-то пьянке — может быть, по случаю сдачи очередного заказа, — она выстрелила из ружья в журналиста, слишком бесцеремонно домогавшего её. Заряд был холостой, пыж попал в щёку чуть ниже глаза. Мужик остался с изуродованным лицом, но зрения не потерял и заявления подавать не стал. Видимо, протрезвев, понял, что во всём виноват сам.

Друзья за спиной у Третьякова шутили, что он прячет на ночь все режущие и колющие предметы. Но за долгие годы знакомства я

ни разу не видел её агрессивной — наоборот, неуёмная доброжелательность к знакомым, может, даже немного ущербная, а над Толей вообще кудахтала, как клуша, убажывая все его капризы.

Когда у Третьякова после долгой паузы вышла вторая книга, Анжела решила отметить событие и позвала близких друзей. А я после какого-то загула был «в завязке». Может, кто-то и любит сидеть трезвым в пьяной компании, но меня это напрягает. Гости чокаются, кричат, ругают отсутствующих знакомых, несут хвастливую чушь, а я мрачно попиваю чаёк. Кончилось тем, что какой-то художник после моего отказа выпить с ним объявил, что в компании стукач. И тогда Анжела горой встала на мою защиту, пообещала выставить его из дома, если не извинится.

У меня к ней единственная претензия. Когда попал с инфарктом в больницу, с перепугу решил бросить курить. Три дня мужественно терпел. Но Анжела пришла навестить и принесла пачку «Беломора». А без неё, глядишь бы, и освободился от «вредной привычки». Впрочем, не уверен.

Меня в нашем издательстве не любили. Поэтому, когда я принёс рукопись, отдали её на рецензию тому, кто, по их мнению, не примет моих стихов. Выбор пал на Третьякова, потому как редакторы были уверены, что он, кроме себя, не признаёт никого.

И вот приходит мэтр ко мне домой, многозначительно заявляет, что моя рукопись лежит у него на столе, и начинает намекать, что при его авторитете он может, если захочет... Подталкивает к желаемому ответу, но в лобовую атаку не идёт. Сказал бы прямо, что хочет выпить. У меня, кстати, и водка дома была («левый» заказчик рассчитался за консультацию), но терпеть неприличные намёки я не любитель, сделал вид, что не понял, и он разочарованно распрощался. Неутолённая жажда привела его к Корабельникову, благо что жили через подъезд. Там снова началось: дескать, в его руках судьба друга... С Олегом такие штуки вообще не проходят. Сказал, что ничем не может помочь и денег на выпивку не даёт принципиально. На другой день Олег съездил в издательство, попросил рукопись и сам написал хвалебную рецензию. Потом я узнал, что и Третьяков написал. Весьма положительную.

Такой поворот не устраивал редактора Ермолину. Разумеется, она имела полное право не принимать мои стихи или считать их малохудожественными. Но речь не о вкусах, а о методах, об их чистоплотности. Ермолина предложила Третьякову переписать свою рецензию — сменить «плюс» на «минус». Это его очень удивило. Наивный поэт, в отличие от опытного работника издательства, не подозревал, что взгляд человека на одни и те же стихи способен так быстро меняться. Но уверенность солидной дамы всё-таки вселила сомнение в чуткую душу, и он решил проконсультироваться у директора

издательства. «Послушай,— сказал Третьяков,— ты поэт, и я поэт, ответь мне, пожалуйста: может быть у поэта два мнения об одной рукописи?» Не слишком умелый стихотворец, занимающий влиятельный пост, польщённый признанием потенциального классика, сразу же с ним согласился, а грязную работу по написанию нужной рецензии взял на себя.

Почувствовав себя героем, Третьяков с чистой совестью стрельнул у него червонец, и тот расщедрился, твёрдо зная, что поэт не вернёт. Но за рецензию директор получил гораздо больше.

Пауза между первой и второй книжкой для большинства поэтов очень мучительна. Особенно если она затягивается. Можно слепо любить свои творения, но типографская машина безжалостно высвечивает все недостатки. Собирая новую рукопись, хочется не только избежать их, но и подняться на более высокий уровень. Однако мало ли чего хочется? Главное, чтобы получалось. А получается не всегда. Но стихи капризны. Порою они, подлые, совсем уходят, и неизвестно — вернутся ли.

Третьяков, избалованный восторгами слушателей, к своим стихам относился с трепетной нежностью. Но и он не миновал кризиса. И даже растерялся, как такое могло с ним случиться: всегда писалось легко — и вдруг из под пера полезла махровая серятина, которую наутро не терпится порвать на мелкие клочки и спустить в унитаз, чтобы никто не увидел. Но могучая вера в себя его никогда не оставляла. И тогда, оглядываясь на успех своего друга Вали Распутина, он заявил, что напишет большую прозу, а она уже вытащит на поверхность его настоящие стихи.

Однако уже через неделю, усмехаясь, признался, что стоило написать фразу: «Герой вышел на балкон», — и жутко захотелось выпить. Работать над прозой ему явно не хватало терпения. Другое дело — устные рассказы, они не требовали труда. Когда рассказывал про местных писателей, с удовольствием и очень похоже пародировал их голоса. Особенно яркими получались Чмыхало и Уразов. Но охотнее всего вспоминал времена литинститутской жизни. Истории получались, может, и не совсем правдивые (что в этом случае несущественно), но живые и весёлые.

«Рубцов обитал в нашей общежитии на нелегальном положении, потому что учился на заочном. Комендант, бывший вертухай, его не любил и грозился посадить за тунеядство. Коля постоянно прятался от него, блуждал из комнаты в комнату и спал где ночь застанет. Случалось, он надолго застревал у меня. На какой-то пьянке молодая поэтесса напросилась ко мне в гости. Ну как откажешь, если девушке захотелось послушать мои стихи в спокойной обстановке, без гитарных переборов её друзей? При этом поклялась, что собственных стихов читать не будет. Веду к себе в комнату. Коля вроде должен быть там.

Открываю дверь — никого. Значит, к кому-то слинял. Но как он мог уйти и запереть комнату на ключ, которого у него не было, я почему-то не подумал. Просто обрадовался, что не придётся подавать ему тайные сигналы на выход. Второе стихотворение дочитывал уже в койке. А когда отдышались, захотелось перекурить. Бутылку портвейна она с той пьянки умыкнула. Я пересел на стул, она млеет лёжа. Как истинный гусар, протягиваю даме первый стакан. И вдруг из-под койки высовывается рука в свитере, а за ней уже и лысая голова. Рука перехватывает стакан и выливает портвейн в пасть головы, которая перед этим успевает извиниться. Поэтесса завизжала, голова мигом исчезла и уже из-под койки заверила, что не подглядывает. Поэтесса обозвала меня козлом и убежала. Но Коля выбираться на поверхность не спешил. Боялся, что набью морду. А было за что. Я на продолжение надеялся. Такая фигура! Такая дрожь по всему телу! Потом он оправдывался, что услышал, как дверь открывают, и сразу же нырнул под койку, чтобы меня не подвести, а когда понял, что я пришёл не с комендантом, было уже поздно. А от волшебного бульканья рассудок помутился, знал, что не оставим».

К посмертной славе Рубцова относился очень ревниво. Считал её сильно раздутой, и если бы не ранняя скандальная смерть, о нём бы столько не писали. Ставил его в лучшем случае вровень с собой, но ничуть не выше. Говорил, что когда прочитал ему:

В горнице моей светло,
Выпил я вчера духи,
В горнице моей Светлов
Пишет за меня стихи,—

Рубцов обиделся и чуть в драку не полез.

Пародия, надо признать, не самая остроумная, но драться из-за такой ерунды не стоит. Да и какая драка между щупленьким Рубцовым и здоровенным Третьяковым?!

В одной из первых книг у него были строки:

Пока я над стихами плачу,
Наверно, что-нибудь да значу.
Но плачу я не над своими,
А над чужими, как всегда...

Мне кажется, здесь присутствует доля лукавства, и немалая. Нет, конечно, я могу представить его плачущим над стихами Пушкина или Пастернака, но не над стихами современников, зато свои — зачитывал порою с потаённой слезой в голосе.

Когда во Владивостоке издали посмертный сборник Геннадия Лысенко, стихи поразили меня безоглядной распаханностью и неповторимой интонацией. Раньше я о нём не знал, но друзья рассказали,

что он повесился в классические тридцать семь, сразу после публикации в «Правде», вроде как на пике признания. Я купил пять книжек и привёз в Красноярск. Первая из них досталась Третьякову. Толя полистал её, недоуменно пожал плечами и бросил на стол. Мои восторги не получили ни малейшего сочувствия. Я пытался зачитывать вслух, но по его лицу было видно, что ему эти стихи неинтересны.

Потом Интернет открыл России поэта Михаила Анищенко; я позвонил Третьякову и сказал, без всяких восторженных эпитетов (абы не спугнуть), чтобы он попросил жену найти его стихи. Мне казалось, что между ними много общего. Не знаю, сколько он осилил с экрана компьютера, которого боялся, но Анищенко безоговорочно попал в подражатели Рубцова и Кузнецова.

И захваленный столичными критиками Борис Рыжий ничего, кроме раздражения, у него не вызвал. Критики хоровыми восторгами наступили на любимую мозоль. «Почему, — возмущался он, — русского поэта за пьянство кланут и презирают, а еврея возвеличивают в гении? Где справедливость?»

Своего ровесника Солнцева он тоже не жаловал, но здесь надо учитывать поправку на обыкновенную ревность к чужому издательскому успеху. Роман был очень плодовит, это, как правило, раздражает тех, кто пишет мало. К тому времени, когда у Третьякова вышло два тоненьких сборничка в местном издательстве, Солнцев широко печатался и в Красноярске и в Москве — потому и заработки, и популярность, и почёт. Толя, естественно, считал, что как поэт он несоизмеримо выше. При встрече он мог подойти к Солнцеву и сказать: «Привет, графРоман!» Разумеется, во хмелю; трезвый он был вежлив, порою излишне. Когда не шли собственные стихи, он забавлялся пародиями и эпиграммами. И в них больше всего опять-таки доставалось Роману. У Солнцева было очень даже неплохое стихотворение о физиках:

...А в это время, отрешённо
входя в ночные поезда,
от физиков уходят жёны.
Они уходят навсегда...
Не разлюбив, но навсегда...
Какая разница — куда?

Третьяков откликнулся:

От физиков уходят жёны,
они уходят навсегда.
Так пусть они е...ся в ж...
Какая разница — куда?

Походя превратил трагедию в фарс. Но пересмешники никогда не задумывались о судьбе исходного материала.

То же самое сделал он и с другим стихотворением. В солнцевском:

...Я чувствую себя водолазом,
которому шланг перекрыли сверху,—

Третьяков изменил единственное слово, и получилось:

...Я чувствую себя унитазом,
которому шланг перекрыли сверху.

Всё это делалось для внутреннего пользования, но имело успех и передавалось из уст в уста. Не знаю, доходило ли это до Солнцева, который, в общем-то, ничего плохого Третьякову не сделал и вообще был добрым человеком, о котором многие вспоминают с благодарностью. Да и Третьяков никогда не был обозлённым завистником. Видимо, от классического: «И каждый встречал другого надменной улыбкой»,— никуда не деться.

В конце восьмидесятых он закодировался на пять лет. Бремя трезвости нёс мужественно и стойчески, но к концу срока начал считать дни, как солдат перед дембелем. Трезвая жизнь повышает производительность прозаика, но поэзия — не производство, на работоспособности в ней не выедешь. Стихи приходили редко. Много читал, но тосковал по вольной жизни. Чтобы развеяться, частенько заезжал ко мне. А жили мы уже в разных концах города. Добираться от Северного до Копыловского моста около часа. Однако маета гнала.

Однажды застаёт меня с похмелья и начинает агитировать сходить за пивом. Я и сам собирался, но опохмеляться при товарище, который в завязке, не совсем этично, да и рискованно лишний раз искушать. Он понимает причину моей нерешительности и успокаивает: у него, мол, всё под контролем, даже позывов нет, и он готов прогуляться со мной, проветриться. Успокоил.

В нашем околотке я знал четыре точки, но работали они нерегулярно. Нам повезло, и со второго захода мы угадали нужное место с короткой и редкой очередишкой. Почему уточняю — потому что в бандитской Николаевке очередь может быть и короткой, но возле «амбразуры» скапливается густая кучка местной шпаны и не отходит, принимая заказы у тех, кому лень стоять. Требовалось передать им банку и с ней лишний рубль — через пару минут жаждущий был с пивом, а хвост очереди продолжал топтаться на месте, случалось, и дольше часа. Когда мы подошли, в сторонке от ларька стояла тройца в потёртых куртках. Я встал в очередь, а Третьяков остановился чуть поодаль, наблюдая за резвящимися щенками. Один из тройцы, молоденький и вихлястый, подошёл ко мне и предложил помочь взять пива. Минут через десять, если не быстрее, я мог бы наполнить свою тару и без его помощи, да и морда его не понравилась, слишком наглая. Сказал, что возьму сам. А он — с усмешечкой: смотри, мол, как бы совсем без пива не остаться,— и дёрнул головой в сторону корешей.

Третьяков почувствовал, что у меня какие-то осложнения, и сразу же подошёл. Парнишка прикинул, что против двоих крепких мужиков, если дойдёт до драки, самим может перепасть, и, буркнув то ли примиряющее, то ли угрожающее «ладно», вернулся к своим. А ведь окажись кто-то другой из собратьев по перу, мог бы и простоять на почтительном расстоянии.

Где-то через неделю он позвонил и попросил, чтобы я купил для него бутылку минералки, а для доктора (Гамлета Арутюняна) приготовил закуску, а он привезёт нам водки, с доктором он уже договорился. Гамлет приехал чуть раньше и предсказал, что Третьяков скоро запьёт. Корёжит его трезвая жизнь. Но посидели хорошо, даже весело. Он наливал нам водку, а минералки «плеснуть на каменку» просил доктора, потому что бородатый зоил может и отравить. Рассказывал про Наровчатова, как тот в запое тащил из дома редкие книги к букинисту, а потом жена выкупала их, об алтайском поэте Борисе Укачине и молодом Кузнецове, который выпал из окна, получил сотрясение мозга и только после этого стал писать свои гениальные стихи.

Гамлет попросил его почитать пародии. В одном из стихотворений Евтушенко назвал поэтессу — поэтом. Третьякову это почему-то не понравилось, и появился отклик, даже не один, я слышал три варианта (привожу самый удачный).

РАЗРЫВ

Я люблю поэтессу
На свободный манер.
Нас свели интересы:
Тема, ритм и размер.

Деревенские с ней мы,
Ели вместе гужи,
Но пока что семейно
Не решаемся жить.

Я скорблю с Евтушенко,
Если баба — поэт.
Отряхаю коленки.
Хватит — кончен дуэт!

Хоть лишаюсь при этом
Я любовных утех,
Но поэту с поэтом
В плотской связи быть грех.

От конфуза такого
Ухожу по задам.
Из себя голубого
Я ей сделать не дам!

Он и с Пастернаком поозорничал. Не удержался, при всём его трепетном отношении к Борису Леонидовичу и заверении, что в молодости «пастерначил» без зазрения совести. Хотел прочитать, но вспомнить пародию без «шпаргалки» не смог.

Весело посидели.

Первый раз он напечатался восьмилетним ребёнком. В их деревню приехал московский корреспондент, и его поразили стихи юного сибирского самородка. Стихи были напечатаны в «Пионерской правде». Что ни говори, но бесспорный повод для гордости у матери и учителей. Но настоящая слава пришла к нему не через парадные двери. Жители родного села, невзирая на столичную газету, давно уже распевали частушки, сочинённые озорным мальчишкой. А частушки без теневой половины нашего «великого и могучего» в народной памяти не приживутся. У народа своя цензура, свои понятия, «что такое хорошо и что такое плохо».

Теперь можно и порассуждать о раннем официальном признании. Вспомните трагедию способного ребёнка Ники Турбиной, которой ажиотаж вокруг её детских стихов сломал жизнь и довёл до самоубийства. А с другой стороны — Высоцкий с его оглушительной славой, напечатавший при жизни единственное стихотворение. Как знать, если бы Высоцкого начали активно издавать в молодости, может быть, он и не создал бы своих лучших песен. Лично я этот вариант не исключаю. Официальное признание и засасывает, и обязывает. Впрочем, всё зависит от характера и дара поэта. Если дар позволяет ему отвлечься от «нормальных» стихов, то почему бы и не ублажить бунтующий характер, без которого трудно представить большого поэта? Третьяков мог себе позволить. Не случайно же Пушкин был для него воистину «наше всё». Его хватало и на официальный гимн Красноярска, которым он гордился, и на озорные стихи, случалось, и переполненные ненормативной лексикой. Писались они явно для друзей, но иногда просачивались в печать. Мой друг Юра Беликов исхитрился-таки поместить в солидном и уважаемом «Труде» его четверостишие:

Посреди честного мира
Возле платного сортира
Я, безденежный, стою,
Опираясь на струю.

Более того, в редакцию пришли отклики благодарных читателей, утверждающие, что это лучшие строки о современной России.

Надписи на дарёных книгах он почти всегда делал в рифму, и были они комплиментарными даже тем, кого в грош не ставил, потому как понимал, что если напишет что-нибудь скабрёзное, адресат эту книгу никому не покажет, а то и выбросит, предварительно выдрав

посвящение. А кому хочется, чтобы его книги рвали или выбрасывали? Поэтому на комплименты не скупился. Зато отыгрывался в эпиграммах. Одна из самых безобидных досталась загадочному другу Алитету Немтушкину:

Его стихи, как парка, греют
И сами просятся в печать.
Отец лупил его хореем,
Чтоб мог он ямбы отличать.

Мне тоже прилетало, может, и не так жёстко, как Солнцеву, — наверное, оттого, что не считал меня конкурентом на трон, для красноярских властей меня не существовало.

ЧИТАЯ СЕРГЕЯ КУЗНЕЧИХИНА

Сколько раз одно и то же...
Я не знаю почему,
Но опять шалишь, Серёжа,
Ты с тургеневской «Муму».

И не очень-то красиво
Ты в стихах своих вещал,
Что во рту презерватива
Вкус с похмелья ощущал.

Может, как-нибудь иначе,
А то всем известно нам:
С головой во рту кошачьей
Красовался Мандельштам.

Был ещё поэт свирепый —
Как не знать его строки?
Он откусывал, как репы,
Гадам-фрицам кадыки!

Что держать в зубах нам надо?
Рот — он всё принять готов.
Ведь держал в зубах в «Гренаде»
Песню «Яблочко» Светлов!

Не мешайте водку с пивом!
А не то во рту, увы,
Будет вкус презерватива
И кошачьей головы!

Русаков предлагал ему собрать озорные тексты вместе с эпиграммами и пародиями в отдельную книжку и назвать её «Третьяковская галерея», но Толя отказался. Видимо, посчитал, что такая книжка

отвлечёт от его серьёзной лирики и повредит его репутации. Официальное признание было для него дороже.

Третьяков — единственный поэт, которому поставили памятник при жизни. Красуется он в центре города, на площади Влюблённых. Отлитый из бронзы подвыпивший мужчина опирается на фонарный столб, а рядом с ним — собачка с задранной лапой, справляющая нужду. Люди, не знающие Третьякова в лицо, обозвали его дядей Васей, но если присмотреться, мужчина — вылитый Третьяков. По крайней мере, у памятника Астафьеву сходства с реальным Виктором Петровичем намного меньше, нежели у Анатолия Ивановича с этим романтическим гулякой. Немного смущает головной убор, по Красноярску он в шляпе не ходил, но, может, в щегольской молодости и был грешок. Увидев памятник в первый раз, я поразился сходству и позвонил поэту, но тот, привыкший к моим розыгрышам, не поверил. Шутка ему не понравилась, особенно присутствие собачки с задранной лапой. На предложение съездить и посмотреть самому он проворчал: «Мне что, больше нечего делать, чтобы тащиться через весь город проверять твои дурацкие провокации?»

Чтобы удостовериться — не заблуждаюсь ли, я приводил к памятнику общих знакомых, и все без подсказок узнавали Третьякова. Но и без моих экскурсий народная тропа к памятнику не зарастала. Когда возле подножия стали появляться брошенные монетки, я предложил ему приезжать по вечерам и собирать денежки в мешочек, считая их компенсацией за отсутствие журнальных гонораров. Он сначала обиделся, но обида на то, что журналы перестали платить, была сильнее. Полюбоваться своим бронзовым изваянием он так и не съездил, хотя и не исключая, что постеснялся признаться в этом.

А народ продолжает бросать монетки, и молодожёны приезжают сделать памятные фотографии. В общем: *«На фоне Пушкина снимается семейство...»*

Кстати, о Пушкине. В наш Союз писателей пришла бумага из Москвы с предложением выдвинуть от Красноярска претендента на Пушкинскую премию. Из пяти членов бюро трое проголосовали за Третьякова и двое — за Солнцева. Не дожидаясь московского вердикта, Толя объявил себя лауреатом Пушкинской премии. Но столица, поиграв для вида в демократию, подразнила провинциалов. И дала её кому-то из москвичей или питерцев. Для Толи эти игры закончились тяжёлым запоем. И всё-таки вожделенную Пушкинскую он получил. К двухсотлетию со дня рождения Александра Сергеевича в Красноярске вышел сборник, посвящённый знаменательной дате. В нём был напечатан третьяковский цикл стихов, посвящённый Пушкину, за который присудили первую премию. Примечательно, что конкурировал с ним один из ближайших помощников тогдашнего губернатора Лебеда,

который написал не только биографию генерала, но и огромный том о детях Пушкина. Небольшой цикл Третьякова оказался веселее. Премия всего лишь краевая, но Толя очень гордился ею.

Может, оттого, что матушка его была не рядовой колхозницей, а Героем Социалистического Труда, в нём гнезилось подспудное желание официального успеха. Но натура настоящего поэта не принимала скользкую дорожку литературного чиновника или общественного деятеля. Поэзия была для него единственным способом существования. И свой путь к успеху видел только через неё.

Мы помним Державина строки,
Забыли его ордена...—

писал он в запальчивой молодости. Писать-то писал, но где-то в самом потаённом уголке души пряталась надежда и на ордена, которые смогли бы доказать матушке, что сын не такой уж и беспутный, как ей порой кажется. Не от этого ли его охватила детская радость, когда спикер Госдумы Сергей Миронов через газету поздравил поэта из провинции с днём рождения? Оттого и воспалённая гордость званием академика. Хотя сведущие люди, и особенно учредители, хорошо знают цену этим нынешним титулам. Те, кто похитрее, стараются лишний раз не афишировать свои новые награды и звания.

А наивный Третьяков гордился. На правах его личного зоила я подшучивал: «Толя, как можно дать звание академика человеку без высшего образования? ВГИК ты бросил, в Литинституте недоучился, а речное училище — всего лишь техникум». — «У Бунина тоже не было высшего образования».

Против Бунина возражать трудно.

Зато скульптура, от которой упорно открещивался, получила в 2005 году гран-при за воплощение национальной идеи. Странноватая формулировка. Неужели пьяный мужик — это и есть русская национальная идея? Явный поклёп на Россию, Но, может быть, новые худсоветы, или кто там распределяет премии, делают это осознано?

Но как ни относиться к формулировке, Третьякова можно было поздравить с премией — памятник-то всё-таки ему.

На семидесятипятилетний юбилей я вручил ему стихотворение:

ТРЕТЬЯКОВУ

Поэты нынче жиже стали,
Прёт графоманский произвол.
Но мать твою товарищ Сталин
Не зря в герои произвёл —
За то, что родила поэта
На зависть разным и другим.
От эпиграммы до сонета —

Способен даже и на гимн.
Тебя, за твой характер флотский,
Читают всюду и взахлёб.
Да если б ты слинял, как Бродский,
Давно бы Нобеля огрёб.
А если б баба удушила —
Стал знаменитей, чем Рубцов...
Но, избежав чужих ушибов,
Ты в старость входишь молодцом.
Политики и толстосумы
К тебе толпятся на приём,
А главный член российской Думы
Спешит поздравить с женским днём.

Как и положено писателю-деревенщику, да ещё и сыну Героя Социалистического Труда, Третьяков люто не любил крестьянскую работу. Когда в самом начале девяностых над Россией нависла угроза голода, городская интеллигенция запаниковала и кинулась в активные хлопоты по приобретению дачных участков. После долгих хождений по инстанциям писательской организации выделили землю в пятнадцать километрах от города. Дали бесплатно, поэтому взяли почти все, у кого не было дач, вплоть до уборщицы и чьего-то дальнего родственника, обещавшего организовать транспорт, потому как от автобусной остановки было около часа пешего ходу. Родственник отвёз пару раз и потерялся.

Оформил участок и Третьяков — не сам, разумеется, а жена. Какое-то время он туда ходил, даже навес от дождя смастерил. Но на каждый поход «в поля» его приходилось долго уговаривать. Он и не героизировал себя, сам рассказывал: «Вечером немного лишнего позволил, не хотел, но так уж получилось, а с утра Анжелка пристала. „В поля“ ей приспичило. Тащиться по жаре никаких сил нет, а там ещё и картошку окучивать, которая, по её словам, уже переросла. А какое там окучивать, если каждый удар тяпкой в голове отдаёт? У меня и язык-то еле шевелится. Молчу, отворачиваюсь лицом к стенке. Она не унимается. Когда стыдить устала, перешла от кнута к прянику. Объявила, что у неё шкалик коньяка в заначке сбережён. Показала и спрятала в сумку: мол, дойдём до участка, и там подлечишься. И я, как тот осёл за морковкой, подвешенной перед мордой, отправился, солнцем палимый. Ковыляю, ноги не слушаются, пот глаза ест, почти вслепую иду. Два раза отдохнуть садился. Умолял: хотя бы глоточек, — не дала. Только на участке. Дополз. Протягиваю ладонь, а она, доброхотка, пошла на грядку за батуном, чтобы не натошак. Слюной исхожу, шкалик чуть ли не уронил. Наконец-то приложился. А там... чай. И самое страшное, что Анжела об этом не подозревала, она искренне верила, что принесла коньяк. Я сам заменил его месяц

назад. Подсмотрел, как она прятала бутылку, дождался, когда уснёт, и решил немного попробовать. Бессонница мучила. Отхлебнул пару глотков, а чтобы она не заметила, долил чаем. Посидел и решил проверить — заметно ли, что коньяк разбавленный. Сделал ещё пару глотков, показалось, что градусы не упали. Снова долил. Потом ещё раз приложился. Потом, видимо, ещё. Но когда окончательно закрывал пробку, был уверен, что коньяк в бутылке ещё оставался. Принял, уснул и наутро даже не вспомнил. А наказание настигло на картофельном поле с неокученной картошкой под палящим солнцем. Ужаснее всего, что приходилось притворяться, будто бы действительно пью коньяк и мне полегчало. Пока тяпали картошку — думал, умру. На обратном пути, уже возле дома, выклянчил пива, но его заработал честно».

Потом в книге, изданной ещё при Анжеле, я нашёл текст, который, без сомнения, появился после того похода «в поля»:

ПОКАЯННЫЕ СТИХИ

Ты устало глаза прикрываешь
от солнца ладонью.
И лицо твоё всё
от тяжёлой работы в поту.
Что мне мрамор Венеры
и святость «Сикстинской мадонны»?
Счастлив тем я, что вижу
земную твою красоту!
Сок от трав вьелся
в нежную плоть, как дёготь.
Ничего, можно руки под вечер
водою отмыть.
И ты станешь опять
светлым ангелом и недотрогой.
Но с любовью бедой вместе,
знаю я, справимся мы.
...Тяпка так тяжела,
что её очень хочется бросить!
Кружат оводы злые
возле плеч и твоей головы.
Вот такую, как ты, на руках
в книгах рыцари носят,
а ты снова одна среди ботвы
и колючей травы.
Но не надо скорбеть!
Я тебя в этом поле не брошу.
Встану рядом, тяжёлую тяпку
легко подниму!

А потом напишу стих тебе,
непременно хороший!
Загорелой рукою я плечи твои
обниму.

В сентябре девятого года Анжела умрёт на этом картофельном поле. Откажет сердце. Упадёт среди поля с недовыкопанной картошкой. Маленькая, хрупкая, как подросток.

Каково было мужику узнать об этом? Какие покаянные думы свалились на него? Сколько надо вина чтобы заглушить их? Со мной он этим не делился. Да и кто осмелится делиться подобным?

После инфаркта ей поставили стент, но надо было принимать очень дорогие таблетки, и она махнула рукой на своё здоровье. Все заботы были только о Третьякове, который перед этим перенёс операцию на желудке. Понимая, что ей осталось немного, а без опеки он пропадёт, Анжела уговорила свою вдовую подругу Людмилу Метальникову, если её не станет, выйти замуж за Толю. Они были знакомы много лет, и Людмила хорошо знала, с кем ей придётся жить, но согласилась и продлила жизнь поэта на десять лет. Весьма плодотворных.

Новая жена не просто взвалила на себя заботу о быте, но и стала его литературным секретарём, вела переписку с друзьями, перепечатывала черновики, составляла, редактировала и оформляла как художник новые сборники. Более того, находила деньги на их издание. Особо хочется отметить её работу над составлением «Избранного». Она не погналась за объёмом, но отобрала действительно лучшие тексты.

С жёнами Третьякову повезло, они мужественно избавляли его от жизненной рутины и безоговорочно верили в его талант, а это придаёт силы каждому поэту.

И не только жёны. Подруга студенческой молодости Алла Коркина оставила о нём восторженные воспоминания. Рассказала, как он, молодой и романтичный, бросил к её ногам шапку, чтобы хрупкая балерина не испачкала в луже свои туфельки. Знакомая по ВГИКу красавица Ирина Ракша, наряду с Михаилом Светловым, вспоминает и о сибиряке с недюжинным поэтическим даром.

Дней за двадцать до его смерти мы с Ёлтышевым оказались на выставке Владимира Капелько. К нам подошёл знаменитый столбист Шурик Губанов, живущий недалеко от Третьякова. Мы сказали, что в ближайшие дни собираемся навестить больного, но он предупредил, чтобы не затягивали с визитом, иначе можем опоздать. На вопрос: «Надо ли что-нибудь прихватить?» — он чуть ли не с укоризной покачал головой. Но когда явились к Третьякову, первое, чем тот заинтересовался: привезли или нет? А следом напомнил, что лавка находится в его подъезде на первом этаже. Пока Ёлтышев спускался за портвейном, Людмила без суеты и уже без упреков накрыла столик

возле кровати. Говорил он тихим голосом, но внятно, даже шутил. Когда Людмила захотела сфотографировать нас, он посоветовал озаглавить снимок: «У постели умирающего Некрасова», — была такая картинка в учебниках литературы.

За год до этого он заявил, что хочет дожить до восьмидесяти. Я напомним евтушенковскую строчку: «До восьмидесяти трёх собираюсь жить».

«Я не настолько амбициозен. Где уж мне за ним угнаться!» — усмехнулся Третьяков.

Как ни издевался над своим организмом, а до восьмидесяти всё-таки дожил. И писал до последних дней. Сибирская порода.

Алексей Бабий

Лишенцы

О лишенцах (лишённых избирательных прав) сейчас мало кто знает. И никто не считает их репрессированными — ни федеральный закон «О реабилитации жертв политических репрессий», ни обыватель. «То же мне репрессия — нельзя избирать и быть избранным, — говорят они. — Я тоже никуда не избираюсь и голосовать не хожу».

На самом деле всё было гораздо серьёзнее и трагичнее. Множество судеб поломано из-за того, что семью лишили избирательных прав.

Впрочем, давайте по порядку. Историю лишенцев можно делить по периодам (до 1927 года и после) и по месту жительства (город и деревня).

До 1927 года избирательных прав были лишены в основном «бывшие»: бывшие торговцы, фабриканты, офицеры, полицейские и т. д. Это было понятно: любая революция устраивает после победы люстрацию. Лишенцы были сосредоточены в городах (деревенские списки лишенцев того времени состоят из трёх-четырёх фамилий на сельсовет), и жизнь их не была сладкой, ведь речь шла не только о выборах. На работу их старались не брать, чтобы избежать «засорения аппарата лишенцами», а если и брали, то при любом сокращении они были первыми кандидатами. К тому же лишение избирательных прав распространялось на всю семью: жену тоже не брали на работу, детям было запрещено учиться в вузах и техникумах (а бывало, и из школы выгоняли). Так что речь шла о выживании. В деревне лишенцам тогда было проще выжить.

Всё изменилось в 1927 году, когда лишать избирательных прав стали за так называемые «нетрудовые доходы», а для лишенцев вводить так называемый индивидуальный налог. Если и до этого речь шла не только и не столько о выборах, то теперь лишение избирательных прав и вовсе стало репрессивной мерой. Сельсоветские списки лишенцев стали многостраничными, на десятки и сотни фамилий.

Что считалось нетрудовыми доходами? Читаем декрет ВЦИК от 4.11.1926 года «Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов»:

а) Земледельцы, применяющие наёмный труд, сезонный или постоянный, в таком объёме, который расширяет их хозяйство за пределы трудового.

То есть речь идёт о батраках, которые до сих пор нанимались вполне законно: существовали так называемые батрачкомы (что-то типа

биржи труда), оформлялись договоры и т.д. С 1927 года это стало криминалом. Этот пункт составлен в традициях, которым государство верно до сих пор. В каком объёме хозяйство расширяется за пределы трудового, власть на местах решала по своему разумению, то есть произвольно. Слово «применяющие» незаметно превратилось в «применявшие»: читая дела лишенцев (а в ходе подготовки Книги памяти политических репрессий я их прочитал более 13 000), я видел много жалоб крестьян на то, что их лишили избирательных прав за то, что они держали батраков до 1927 года, а то и вообще до революции.

б) Земледельцы, имеющие наряду с земледельческим хозяйством собственные или арендованные промысловые и промышленные заведения и предприятия (мельницу, крупорушку, маслобойку и т. п.), ведущиеся с применением постоянного или сезонного наёмного труда.

Этот пункт также исполнялся в традициях нашего государства: вторая часть пункта, про использование наёмного труда, выпала из обихода, и избирательных прав стали лишать за производственную деятельность как таковую, а «и т. д.» толковалось очень произвольно — избирательных прав лишали, например, за владение сепаратором.

в) Земледельцы, занимающиеся наряду с земледельческим хозяйством скупкой и перепродажей скота, сельскохозяйственных и иных продуктов в виде промысла (барышники-прасолы).

И этот пункт трактовался очень широко: бывало, лишали избирательных прав за продажу продуктов на рынке, даже и своих.

г) Лица, закабальющие окружающее население путём систематического предоставления в пользование имеющихся у них сельскохозяйственных машин, рабочего скота и проч. или постоянно занимающиеся снабжением населения кредитом (товарным или денежным) на кабальных условиях.

За время НЭПа многие крестьяне хорошо встали на ноги, купили в складчину или в кредит сеялки, веялки, жатки, а то и трактора. Конечно, производительность труда резко повысилась. А сельхозтехнику логично было давать в аренду односельчанам — за деньги, продукты или за отработку. Это было нормально и естественно до 1927 года, а теперь стало криминалом. В документах это называлось «эксплуатация сельхозтехники». Однако и этот пункт толковался расширительно: сдача комнаты в городе тоже трактовалась как «нетрудовой доход», со всеми вытекающими последствиями.

д) Кустари и ремесленники, прибегающие к найму постоянной рабочей силы, за исключением случаев, предусмотренных п. «г» ст. 16 настоящей Инструкции.

Помните в «Двенадцати стульях» Виктора Полесова, кустаря-одиночку с мотором? Одиночка — это принципиально. Если бы у него был помощник, загремел бы наш кустарь в лишенцы. «С мотором» — значит, у него был какой-никакой двигатель. Это официальные формулировки.

е) Владельцы предприятий промышленного типа, предприниматели и подрядчики, эксплуатирующие население путём сдачи тех или иных работ на дом.

ж) Владельцы и арендаторы предприятий промышленного и фабрично-заводского типа.

з) Частные торговцы и перекупщики.

и) Частные торговые и коммерческие посредники.

Можно сказать короче: любой, даже самый мелкий, бизнес.

к) Бывшие офицеры и военные чиновники белых армий, а также руководители контрреволюционных банд.

л) Все служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего дома, а также все лица, прямо или косвенно руководившие действиями полиции, жандармерии и карательных органов, как при царском строе, так и при белых контрреволюционных правительствах, как-то (далее идёт длинный список должностей).

Эти пункты плавно перешли из предыдущих инструкций.

м) Служители религиозных культов всех вероисповеданий и толков, как-то: монахи, послушники, священники, дьяконы, псаломщики, муллы, муэдзины, раввины, бици, казици, канторы, шаманы, баксы, ксёндзы, пасторы, начётчики и лица других наименований, исполняющие соответствующие перечисленные обязанности, независимо от того, получают ли они за исполнение этих обязанностей вознаграждение.

Священнослужителей лишали избирательных прав и до 1927 года, но после 1927 года этот пункт стал трактоваться очень произвольно — лишенцами становились, например, церковные старосты. Священнослужитель мог «снять с себя проклятье», только если публично, через газету, отрёкся от сана.

н) Лица административно-высланные, а также лица, в отношении которых состоялись судебные приговоры, лишаящие их, ввиду связи с преступной средой, права проживания на месте своего прежнего жительства; поражённые в правах приговорами судов.

Благодаря тому пункту мы смогли отследить судьбы многих известных и неизвестных людей: их ссылали в наши края и здесь автоматически

включали в списки лишенцев. Например, в списке лишенцев по Енисейскому району есть Николай Эрдман, известный драматург.

о) Лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишёнными.

Этот пункт понятен, однако тоже трактовался широко. Нередко лишали избирательных прав глухонемых.

п) Члены семей лиц, лишённых избирательных прав по п. п. «а», «б», «в», «г» и «д» ст. 69 Конституции Р.С.Ф.С.Р. и соответствующим им пунктам настоящей статьи, в тех случаях, когда они находятся в материальной зависимости от лиц, лишённых избирательных прав, и не имеют источником своего существования самостоятельный общественно-полезный труд.

Вот этот пункт породил в дальнейшем множество драм. Дети отказывались от родителей, жёны от мужей. Девушки из небогатых семей, для которых ещё пару лет назад брак с парнем из зажиточной семьи был «социальным лифтом», вдруг ощутили, что теперь этот лифт стремительно летит вниз.

«...я прожила с ним 10-ть лет в плохом настроении жизни как не любя из бедного класса. Я с ним порвала житейскую связь в Берёзовском райисполкоме при отделе Зап. Актов Граж. Сост...»

Заметьте, кстати, совершенно платоновский стиль письма. Он характерен для документов, написанных крестьянами,— Платонов этот язык не выдумал. К слову, многие заявления городских лишенцев, кажется, написаны Зоценко.

Дети лишенцев, достигнув призывного возраста, мобилизовались в так называемое тыловое ополчение. Им вместо красноармейских книжек давали так называемые «свидетельства обязанного службой в тыловом ополчении». На первой странице красовалась обидная надпись: «Лишён права защиты СССР с оружием в руках»,— а сами свидетельства были белого цвета (возможно, отсюда и пошло слово «белобилетник»). Строевой подготовки в тыловом ополчении не было, тылоополченцев РККА «сдавала в аренду» другим наркоматам на стройки коммунизма. По сути, тылоополчение ничем не отличалось от лагеря. В 1937 году тылоополчение переименовали в строительные войска РККА, то есть знакомый всем стройбат.

В основном декрет ударил по крестьянам. Хотя и в городе криминальными стали сдача комнаты в аренду или продажа на толкучке куска мыла — всё это трактовалось как нетрудовой доход и влекло за собой лишение избирательных прав. Но в деревне всё было гораздо хуже. Лишенцев стали облагать так называемым индивидуальным налогом, который был в разы, а то и на порядок выше обычного единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

ЕСХН определялся достаточно просто: каждый гектар покоса или посева, каждая голова КРС, а также лошади, куры и т. д. имели свою «цену». Простым подсчётом определялся плановый доход. Налог составлял примерно треть от него.

Если крестьянина лишали избирательных прав, его облагали индивидуальным налогом. Он считался так же, как ЕСХН, но цена гектара, курицы, лошади и т. д. кратно увеличивалась. Кратно же увеличивались и без того немалые сборы «культсбор», «самообложение». В результате поборы увеличивались в разы, а то и на порядок.

Вот самый поразительный случай из тех, что мне попались в документах лишенцев. В Енисейском районе четыре крестьянина решили сэкономить и поставили временную мельничку на льду — только для себя, на сторону не работали. Один из них, Мельников, организовывал процесс — о нём и пойдёт речь. «Доброжелатель» из односельчан сообщил о мельнице налоговой комиссии. Прибывший из райцентра фининспектор тут же пересчитал налог на индивидуальный.

Мельников до этого уже уплатил единый сельхозналог (ЕСХН) «по трудовому хозяйству» как обычный единоличник — 109 руб. 30 коп. Это означает, что его расчётный доход был в пределах 300–400 рублей — ЕСХН составлял примерно треть планового дохода. Помимо ЕСХН он уплатил:

— страховое обязательство (т. е. обязательное окладное страхование посевов, строений, тяглого и крупного рогатого скота) — 38.50 руб.;

— самообложение (т. е. отчисления в местный бюджет) — 109 руб. (ЕСХН × 1);

— единовременный налог на единоличника — 218 руб. (ЕСХН × 2)

— культурный сбор (единовременный сбор на нужды хозяйственного и культурного строительства в сельских районах) — 190.75 руб.

Итого — 665 рублей 25 копеек. Будучи не лишенцем, а «всего лишь» единоличником, Мельников, как видим, уже должен платить налоги, превосходящие его расчётный доход. Запомним эту цифру.

А теперь мановением руки районного чиновника Тимофей Мельников превращается из обычного единоличника в лишенца. Основание — владение мельницей. Неважно, что временной, что в складчину, что без наёмной силы.

Рассчитываемая сумма налога по каждой позиции умножается на два: если лошадь по ЕСХН «стоит» 16 рублей, то при индивидуальном обложении — 32, корова — не 17 рублей, а 34. Сюда же добавляются довольно произвольно рассчитываемые неземледельческие заработки (в том числе от мельницы) — и расчётный доход получился уже 2119 рублей, а индивидуальный налог с него — 840 рублей.

Но этим дело не заканчивается. Плюс к этому налогу Мельников обязан уплатить:

- 112 руб. по страховому обязательству (втрое больше);
- 1680 руб. самообложения (индивидуальный налог умножается не на 1, а на 2);
- 3360 руб. единовременного сбора (индивидуальный налог умножается не на 2, а на 4);
- 1680 руб. культурного сбора самообложения (индивидуальный налог умножается на 2).

Итого — 7672 руб.

Конечно, Мельников такой налог не выплатил, и у него конфисковали всё имущество. К слову, всё его имущество оценили в триста рублей. Мог бы ещё и сесть по 61-й статье за неуплату налогов. По ней сидело немало крестьян, которых, как и Мельникова, никто не считает жертвами политических репрессий. Они до сих пор проходят в статистике по графе «Экономические преступления». А ведь задача решалась вполне политическая — выдавить единоличника из деревни. Механизм был очень простой: либо крестьянин выплачивает индивидуальный налог и разоряется, либо не выплачивает, и имущество конфискуют в счёт налога, а сам он ещё и может сесть.

Индивидуальный налог не был единственной мерой: было ещё твёрдое задание, было «отнесение хозяйства к кулацкому» по очень простому признаку — годовой доход свыше 500 рублей, а то и вообще без признаков.

Конечно, крестьяне пытались бороться. Собственно, личные дела лишенцев в основном состоят из их переписки с райисполкомом и окрисполкомом, жалоб в прокуратуру, писем Калинину и Сталину. Была и коллективная поддержка — так называемые «письма одобрения». Это поразительные документы, переворачивающие наши представления о настроениях в деревне.

Считается, что бедняки активно участвовали в раскулачивании. В советское время это подтверждало классовую теорию, в постсоветское — утверждение поменяло знак: бедняки якобы с энтузиазмом грабили зажиточных соседей. Реальная картина, которая видна в документах, совсем другая: бедняков нужно отличать от «актива бедноты». «Активистов», судя по протоколам их собраний, в селе обычно насчитывалось меньше десятка. Бедняков было намного больше. «Актив бедноты» действительно принимал непосредственное участие в раскулачивании. Бедняки — наоборот, как правило, защищали лишенцев.

В личных делах лишённых избирательных прав часто встречаются документы, которые называются «Одобрительный приговор», «Письмо

одобрения», «Одобрение», или просто «Справка», или даже «Приговор». Крестьяне села пишут в райисполком письмо, в котором доказывают, что такой-то неправильно лишён избирательных прав или выслан, поскольку на самом деле наёмной силой он не пользовался, помогал беднякам и т. п. Они просят вернуть семью из ссылки, ручаются за них. Под такими письмами стоят десятки, а иногда и сотни подписей: отдельно — середняки, отдельно — бедняки и батраки.

Эти письма встречаются в личных делах довольно часто, но они не влияли на ситуацию. Лишенцы стремительно разорялись.

А потом наступил 1930 год, когда от экономического удушения крестьян государство перешло к экспроприации и высылке. Конечно, списки на раскулачивание составлялись на основе списков лишенцев. Раскулачивание не было стихийным грабежом, как это нередко описывают, а проходило в рамках операции ОГПУ в соответствии с приказом № 44/21 от 2 февраля 1930 года. Но это уже другая история, о которой стоит написать отдельную статью.

Людмила Самотик

Энциклопедия сибирского классика

Никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по родине.

В. П. Астафьев

Для красноярцев Первое мая — это не только праздник весны и труда, но и день рождения Виктора Петровича Астафьева. Так вспомним о нём.

В конкурсе «Красноярская книга года 2019» среди победителей отмечен словарь-справочник «Виктор Петрович Астафьев. Первый период творчества (1951–1969)» (издательство «РАСТР»).

Виктор Петрович Астафьев — писатель такого масштаба, какого на нашей земле не было, да когда ещё будет... Скоро двадцать лет, как его не стало. Это большой срок. Но его творчество остаётся по-прежнему актуальным. Опубликовано более двух тысяч научных, критических и популярных работ, посвящённых его творчеству. И почти пятая часть из них — за последние пять лет. Победителем конкурса «Красноярская книга 2019» стал и сборник Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края «Мой Астафьев», в котором опубликованы сто одиннадцать лучших работ и список всех участников одноимённого конкурса — юных и взрослых почитателей творчества писателя-земляка, а их всего более двухсот шестидесяти.

Пишут о творчестве писателя в разных уголках нашей страны, да и не только нашей... Но все оглядываются на Красноярск: здесь он родился, здесь он умер. И это нас обязывает.

Вообще, почему так упорно пишут о русских писателях? До сих пор о Л. Н. Толстом, об А. П. Чехове? В этом великая загадка художественной литературы: у каждого текста два автора — писатель и читатель, и они остаются один на один. Каждый из нас видит произведение по-своему. Что-то трогает больше, что-то меньше. Когда меня в своё время Виктор Петрович спросил, что мне нравится у него больше, я сказала: «Тельняшка с Тихого океана». Мой ответ его как-то озадачил — видимо, он ждал от меня чего-то более монументального. Но для меня это так. Меняется время, меняются поколения — и произведения поворачиваются как бы другой стороной...

Наша книга посвящена пока первому, пермскому, периоду (он начинал писать в Чусовом и в Перми), но большая часть его произведений этого времени — о родине, Приенисейской Сибири.

Работы о его творчестве пишутся обычно на базе так называемых знаковых произведений (наиболее значительных) или резонансных (вызывающих противоположные суждения, но будоражащих всё

общество — Виктор Петрович был мастер на такие тексты). Пожалуй, первым можно назвать рассказ «Солдат и мать» — о матери предателя, где писатель говорит, что не только дети не ответчики за родителей, но и родители не всегда могут отвечать за детей. Наш выпуск интересен тем, что представляет не отдельные яркие полосы творчества, а всё полотно в целом.

Энциклопедические издания об отдельных писателях (их называют по-разному: авторские, частные, писательские, персональные) появились в нашей стране с восьмидесятых годов. Сейчас их много — около ста. Но среди них нет о сибиряках. Широко известно одно — изданная в Барнауле трёхтомная энциклопедия, посвящённая Василию Макаровичу Шукшину. В третьем выпуске представлены все его художественные тексты. Их сто сорок восемь. Подзаголовок такой: интерпретация произведений писателя.

В нашем издании представлено двести сорок восемь произведений писателя первого периода его творчества, за исключением эпистолярных текстов — писем. Это — один роман, шесть повестей, рассказы, очерки и статьи, десять аналитических статей, тринадцать — об авторских сборниках, двадцать две статьи — информация об изданиях и издательствах того периода, когда в них публиковался В. П. Астафьев. Более ста пятидесяти произведений, включённых в словарь-справочник, стоят за пределами канонического. Но наша задача заключалась не в интерпретации его произведений, а в информации о них, рассчитанной на широкий круг читателей.

Жанр представленных текстов часто определить трудно, в специальной литературе они трактуются по-разному: рассказ, новелла, эссе, повесть... Разница между художественным очерком и рассказом невелика. У В. П. Астафьева часто одно вытекает из другого. Так, популярный очерк об инвалиде войны, безруком передовике-охотнике «Любовь к жизни» затем становится рассказом «Руки жены» и драмой «Черёмуха» (под черёмухой ждавшая его с фронта девушка не побоялась согласиться выйти замуж за калеку). Мы в жанровом определении произведений исходили из так называемого канонического издания — пятнадцатитомного собрания сочинений («Канонический текст — подлинно авторский в его последней редакции, общепринятый для всех изданий этого произведения на данной ступени изучения источников текста» — Словарь литературоведческих терминов). Центром является, прежде всего, сюжет. Конечно, пересказывать тексты писателя — всё равно что передавать прозой поэзию. Но мы посчитали это полезным. Прочитав сообщение о произведении, ни в коей мере нельзя считать, что вы знаете Астафьева. Знать Астафьева можно, только прочитав самого Астафьева.

Ну и кто это мы? Руководитель проекта — Ю. А. Кирюшин, составители — Л. Г. Самогик и Т. Н. Садырина, и группа авторов — прежде всего, из Красноярского государственного педагогического

университета имени В. П. Астафьева, из библиотеки-музея в селе Овсянка, из Красноярской краевой научной библиотеки, из города Чусового, из Перми и даже из города Лысьва.

В приложении к справочнику приводятся основные даты жизни и творчества писателя, его родственники — Астафьевы и Потылицыны (уточнены по сравнению с предыдущими публикациями), первые — Корякины, родственники жены Марии Семёновны Корякиной. Творчеству Виктора Петровича свойственен такой феномен: мальчик, бывший беспризорником, выросший в детском доме, который, в сущности, никому не был нужен, всю жизнь писал о своей большой семье.

Итак, что даёт это издание в осмыслении творчества писателя? Полное исчисление произведений показало, что недостаточно оценён Виктор Петрович как детский писатель, как критик, не рассмотрены как самостоятельные издания его авторские сборники и т. д. И конечно, поражает его творческая активность. Первый период его творчества нельзя рассматривать как ученический. Это самостоятельный созидательный период творчества писателя, вышедшего уже на российский уровень.

Произведения писателя важны для молодого поколения. Астафьев и войну, и рыбалку, и охоту видит как тяжёлую работу. А уважение к труду мы постепенно теряем. Он практически не писал об интеллигенции. Его герой — простой русский мужичонка, в телогреечке, матершинник (в одном учебнике написано: «Стиль писателя характеризует небрежливость перед хаосом повседневной жизни народа») и человек, способный воспринимать природу во всём её величии, осознать себя её частью. Способный, рискуя своей жизнью, прийти на помощь незнакомому человеку. И дети — герои его произведений — это тоже упёртые сибирячки, способные в особых условиях на самостоятельное решение («Васюткино озеро», «Огоньки», «Хозяйка лесной избушки» и др.). В тайге действует таёжный закон — веками сложившийся неписанный народный экологический кодекс. В. П. Астафьев не первый заговорил о нём в литературе, но передал его следующему поколению достаточно наглядно и эмоционально.

К Астафьеву можно относиться по-разному, но отрицать, что это большой русский писатель, имя которого навсегда останется в истории литературы, не станет никто. Так проникновенно, как он, писать могут далеко не многие: «Умеет ли плакать рыба? Кто ж узнает? Она в воде ходит, и заплачет, так мокра не видно, кричать она не умеет — это точно! Если б умела, весь Енисей, да что там Енисей, все реки и моря ревмя ревели б. Природа, она ловкая, всё и всем распределила по делу: кому выть-завывать, кому молча жить и умирать».

Авторским коллективом готовится к выпуску словарь-справочник о втором и третьем периодах творчества писателя.

Авторы



БАБИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1954 году в Читинской области. Окончил Красноярский государственный университет в 1976-м, специальность — прикладная математика. Работал программистом в КрасГУ, директором учебного центра, руководителем web-лаборатории компании «Maxsoft». Председатель Красноярского общества «Мемориал», руководитель рабочей группы по изданию Книги памяти жертв политических репрессий. Публикуется с 1973-го. Член Союза российских писателей с 2013 года.



ВАЛЕЕВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ

Много лет проработал в провинциальной печати, в том числе 22 года — на Крайнем Севере, в Эвенкии. На пенсию ушёл с должности главного редактора газеты «Эвенкийская жизнь» в 2011 году. Автор и соавтор более двух десятков сборников прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Новокузнецке, Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси», Общества любителей русского слова, «Рождественская звезда», имени Виталия Бианки, газет «Советская Россия», «Комсомольская правда». Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.



ВАСИЛЬЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в 1959 году в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в городе Шарыпово (Красноярский край). Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. В 1986 году был приглашён в газету «Серп и молот», затем работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторadio», участвовал во всевозможных медиа-проектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.



ГАЙДУК НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился на Алтае в 1953 году. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, Высшие литературные

курсы в Москве. Российскому читателю известен как поэт и прозаик, автор книг стихов и прозы, вышедших в разные годы в нашей стране и за рубежом: «Калинушка-калина», «С любовью и нежностью», «Волхитка», «Лирика», «Святая грусть», «Царь-Север», «Избранное», «Златоуст и Златоустка», «Зачем звезда герою», «Понять и простить», «Божество пастухов и поэтов». «Для Николая Гайдуга характерна пьянящая музыка простора и слова», — так раннее творчество автора оценил один из ведущих российских критиков В. Я. Курбатов. Член Союза писателей России.



ГРИГОРЬЕВА СОФЬЯ

Родилась в 1941 году в Яранске. Окончила Иркутский горно-металлургический институт. 20 лет работала геологом в экспедициях. В 1997 году вышел поэтический сборник «Ярань». Печаталась в журналах «Енисей», «Сибирские огни», «День и ночь». Выступала на Центральном телевидении.



ГУЛЯЕВА ОЛЬГА

Родилась в 1972 году в городе Енисейске. Поэт, прозаик, член Союза российских писателей, член Русского ПЕН-центра, директор Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Литературное сообщество писателей России». Стихи и проза публиковались в нескольких коллективных литературных сборниках, в журналах «Юность» (Москва), «Дружба народов» (Москва), «Тропы» (Санкт-Петербург), «Южная звезда» (Ставрополь), «После 12» (Кемерово), «Плавучий мост» (Фульда, Германия), «День и ночь» (Красноярск), а также в альманахах «Енисей» (Красноярск), «Образ» (Кемерово), «Складчина» (Омск), «Витражи» (Мельбурн, Австралия), «Между» (Новосибирск), «Иркутское время» (Иркутск), «Паровоз» (Москва). Автор книг «Савелий Свинкин, коты и люди», «Не Париж», «Я, красивая птица. Паспорт животворящий», «Баба песня», «Лето Господне», «Девочки». Живёт и работает в Красноярске.



ДОЛГОПЛОВА ТАТЬЯНА

Родилась в 1970 году в Красноярске. Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат премии В. П. Астафьева.



КАЛЕМЕНЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в 1952 году в городе Чирчик Узбекской ССР. В 1977 году окончила Казанский государственный университет (филиал, отделение журналистики). Работала в многотиражке «За регулярный рейс» (Казань), газете «Ангренская правда» (Узбекистан), в течение 10 лет была редактором многотиражной газеты «Строитель» треста «Узбекшахтострой». Публиковалась в «Правде Востока», «Строительной газете», «Российской газете». С 1993 года проживает в Минусинске. Работала в газетах «Надежда», «Хакасия». Постоянно принимает участие в Мартыановских и Суриковских чтениях.



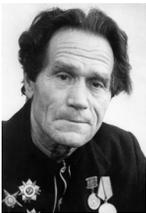
КАРАПЕТЬЯН РУСТАМ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился в 1972 году в Красноярске. Работает программистом. Лауреат премий имени В. П. Астафьева, А. И. Куприна. Публикации в журналах «День и ночь», «Енисей», «Паровоз», «Мурзилка», «Простоквашино», «Костёр», в различных российских и международных антологиях и сборниках. Автор двух книг лирики и семи книг для детей. Член Союза российских писателей.



КНЯЗЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1959 году в селе Шарчино Алтайского края. Живёт в городе Подольске Московской области. Является художественным руководителем «Новой студии кинодебютов» в городе Москве. Член Союза кинематографистов России. Среднюю школу окончил в городе Железногорске. После окончания Ленинградского института киноинженеров работал в Красноярском управлении кинофикации, в кинотеатре «Космос», режиссёром любительской киностудии «Романтика» в Железногорске, супермехаником на Красноярской киностудии, затем учился во ВГИКе, работал кинорежиссёром на разных киностудиях России. Стихи начал публиковать с 1980 года — в газетах «Красный треугольник» (Ленинград), «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий», «Литературная Россия», «Литературная газета», в альманахах «Енисей», «Истоки», «День поэзии XXI век», в журналах «Юность», «Тропы», «День и ночь», «Красноярский литератор», в коллективных сборниках «Живая листва» (составитель Николай Ерёмин, 1984), «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)». Автор малых самиздатовских сборников 80-х годов 20 века (Красноярск), сборника избранных стихотворений «Давний дневник» (Красноярск, 1991). Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей (1984).



КОВАЛЕНКО ПЁТР ПАВЛОВИЧ

1923–2013

Родился в Ужурском районе Красноярского края. Участник Великой Отечественной войны, инвалид ВОВ 2-й группы. Имеет шесть боевых орденов и медалей. Вернувшись домой, всю жизнь прожил на станции Крутояр Ужурского района Красноярского края и 47 лет проработал на Красноярской железной дороге. Ветеран труда; имеет трудовые награды. Писать стихи и публиковать их в газетах начал со школьной скамьи, с довоенных лет. Автор 17 поэтических сборников. Много печатался в центральной и краевой прессе. Член Союза писателей России. С 2010 года жил в Красноярске.



КУЗНЕЦОВА ЗИНАИДА НИКИФОРОВНА

Родилась в Воронежской области, в большой крестьянской семье. В Красноярск-45 (ныне Зеленогорск) приехала в 1966 году. Работала электромонтёром связи на Красноярской ГРЭС-2, в течение 37 лет была секретарём высших

руководителей города. Литературным творчеством занимается с 25 лет. Автор поэтических сборников «Настроение», «Медовый август», «Ночной звонок», «Память сердца», «Облака», «Куст калины» (1-й том 2-томника), «Забывшие острова», сборников рассказов «Райские яблоки», «Болеутоляющее средство», «Белый снег, дорожка чёрная...». Многочисленные публикации в газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», «Совершенно открыто», «Молодая гвардия», «Новый Енисейский литератор», в коллективных сборниках «Поэзия на Енисее», «Поэтессы Енисея», «Антология поэзии закрытых городов» и многих других. Руководитель литературного объединения «Родники» Зеленогорска, составитель и редактор коллективных и авторских сборников городских поэтов. Член Союза российских писателей, член правления Красноярской писательской организации.



КУЗНЕЧИХИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Родился в посёлке Космынино под Костромой. После окончания химфака Калининского политехнического института уехал в Свирск, потом перебрался в Красноярск. За 20 лет работы инженером-наладчиком изъездил Сибирь от Урала до Дальнего Востока, от Тувы до Чукотки. Печатался в журналах «Предлог», «Коростель», «Арион», «Дальний Восток», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «День и ночь», «Огни Кузбасса», в альманахе «День поэзии 1986», в коллективных сборниках. Автор книг стихов «Жёсткий вагон» (1979), «Соседи» (1984), «Поиски брода» (1991), «Похмелье» (1996), «Ненужные стихи» (2002), «Местное время» (2006), «Дополнительное время» (2010), «С точностью до шага» (2012), «Уходящее время» (2016). Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация» (Москва, «Советский писатель», 1990), «Омулёвая бочка» (Красноярск, 1994), «Где наша не пропадала» (Красноярск, 2005), «Забавный народ» (Красноярск, 2007), «Бич-рыба» (Москва, «Эксмо», 2014). Член Союза российских писателей.



КУЗЬМИНА ВЕРА

Родилась в 1975 году в городе Каменск-Уральский. Работает участковым фельдшером. Стихи печатались в журналах «День и ночь», «Наш современник», «Лёд и пламя» и других.



ПУЧКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился 24 июля 1963 года в посёлке Хандальск Абанского района Красноярского края. В 1980 году окончил Абанскую среднюю школу №4. После службы в Советской армии в 1985 году поступил на должность милиционера ППС. В отставку вышел в 2006-м в звании капитана уголовного розыска. Живёт в Сосновоборске. Рассказы неоднократно печатались в журналах Союза писателей, в том числе в журнале «Страна Озарение», вошли в сборник «Мелодия жизни» издательства «Серебро слов», на конкурсной основе вошли в сборники «ARONAXX 1», «Видимый свет», «Происхождение мрака»,

«Алиса», «Литературный фестиваль», «Книжным детям», «Мемориал духа» издательства «Перископ-Волга» и в сборник «Песня» литературного агентства «Новые писатели».



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ИГНАТИЙ ДМИТРИЕВИЧ 1910–1969

Родился в Москве, с раннего детства жил в Красноярске. Работал в экспедиции переселенческой партии. Участвовал в ликвидации неграмотности, прокладывал дороги в тайге. В 1930 году уехал на Север (в Туруханск, затем в Игарку), где более 10 лет обучал детей русскому языку и литературе. Здесь началась его литературная деятельность. Публиковал стихи в журналах «Сибирские огни», «Знамя», «Октябрь», «Огонёк». В 1936 году вышла его первая книга «Северное сияние», в 1940-м — «Голубой вымпел». Три поэтических сборника выпустил во время Великой Отечественной войны. Будучи корреспондентом «Правды», много ездил по Сибири, писал репортажи, очерки, документальные киносценарии, стихи, поэмы. Издал более 40 поэтических и прозаических книг в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Москве.



САМОТИК ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА

Доктор филологических наук, профессор ВАК, отличник народного просвещения, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Более 300 публикаций, из них 46 — по творчеству В. П. Астафьева. Наиболее значимые: в соавторстве с Л. Н. Падериной «Словарь внелитературной лексики в „Царь-рыбе“ В. П. Астафьева» (в конкурсе «Университетская книга 2009» диплом 3-й степени в номинации «Справочное издание», Омск; диплом 1-й степени в номинации «Лучшие работы по филологии», Москва). Руководитель проектов «Первые Астафьевские чтения в г. Красноярске» (2005), «Творчество В. П. Астафьева как воплощение национального и регионального самосознания» (монография, 2016).



САМУЙЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Родился 5 января 1951 года в глухом озёрном краю Тверской области. В 1974-м окончил Сызранское военное лётное училище, через 8 лет уволился в запас. Работал 20 лет за полярным кругом, на Таймыре, там и начал писать. Печатался в краевом альманахе «Полярное сияние», в журналах «Природа и человек», «День и ночь», «Уральский следопыт». Издано пять книг. Сейчас в творческой работе временное затишье, связанное с болезнью.



САФРОНОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1955 году в посёлке Рудничном Кировской области, в многодетной семье. После воинской службы, где начинал публиковать свои стихи в армейских газетах, работал в Норильске в тресте «Норильскгазпром». Сменил много

профессий. В конце 1980-х годов вернулся на малую родину. Публиковался в газетах «Заполярная правда», «Красноярский рабочий», в альманахе «Енисей», в коллективных сборниках Красноярска и Кирова, в журналах «Наш современник», «Москва». Выпустил 14 поэтических сборников. Лауреат Всероссийской премии имени Н. А. Заболоцкого, Бунинской премии, номинант Патриаршей литературной премии. В 1989 году вступил в Союз писателей СССР и принял православное крещение. В 1994-м рукоположен в диаконы, через год — в священники. Иерей Леонид Сафронов — настоятель шести тюремных храмов. По его инициативе в семи колониях построены и действуют православные храмы.



СМИРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в Норильске в 1953 году. Семья деда репрессирована в 1930 году, жила в Казачинске, Тасеево, Стрелке, Галанино. Родители — ветераны Норильского ГМК. После норильского школы окончил МГУ имени М. В. Ломоносова (географический факультет), работал в университете, почти во всех крупных горных системах СССР от Средней Азии до Чукотки, в морской геологии на Арктическом побережье и шельфе от Лены до Колымы и Чаунской губы, на островах Медвежьих и Новая Сибирь. Был грузчиком, костоловом, водителем, связистом, строителем, плотничал. Жил и работал в Игарке. Несколько лет назад вернулся в Норильск, где живёт и по сей день, работает в «Норильскгеологии». Прозу и стихи начал писать в 1980-х, публиковаться — в 2000-х в чукотских и норильских газетах и литературных альманахах, в красноярском журнале «День и ночь».



СОЛОВЬЁВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1949 году в Боготоле. Жил в Боготоле и Зеленогорске. В начале 70-х годов уехал работать штатным охотником в село Ворогово Туруханского района. Более 35 лет живёт в селе Бахта.



СТАРЦЕВА ЮЛИЯ

Родилась в 1969 году в Норильске. Окончила с отличием филологический факультет Красноярского госуниверситета (1994), Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького (1997). Работала корреспондентом, литературным редактором, корректором, главным редактором в печатных и электронных СМИ и издательствах. Участник Первого всероссийского совещания молодых писателей (Ярославль, 1996), Международного форума писателей «Литературный экспресс Европа-2000» (Москва, 2000), юбилейных мероприятий «Астафьевские дни-95» (Красноярск — Овсянка, 2019). Член Союза российских писателей. Лауреат двух литературных премий: Всероссийской литературной премии Фонда имени В. П. Астафьева и сибирской премии «Вдохновение». Обе премии присуждены

за роман «Время нереально». В 1998 году роман выдвигался на соискание премии «Русский Букер» (вошёл в длинный список). Живёт в Петербурге. Автор трёх книг: «Избранная проза» (СПб, 2013), «Двуликий сирич» (СПб, 2017), «Время нереально» (Красноярск, 2019). Романы, повести, рассказы, очерки и эссе печатались в журналах и альманахах «День и ночь», «Звезда», «Волшебная гора», «Новый Берег», «Енисей», «Соло» и многих других изданиях. Проза Юлии Старцевой переведена на итальянский язык.



СУВОРОВ ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ

1919–1944

Родился в селе Абаканском Енисейской губернии. Рано лишился родителей. С 1937 года работал учителем начальных классов. Увлёкся фольклором, писал стихи и пьесы. В 1939-м поступил в Красноярский педагогический институт на факультет русского языка и литературы, но уже с первого курса был призван на срочную военную службу, которую проходил в Омске. Здесь дебютировал в печати с поэтическими произведениями. Одним из наставников молодого поэта был Леонид Мартынов. В конце сентября 1941 года Георгий Суворов отправился на фронт, дослужился до звания лейтенанта. Первые месяцы войны провёл в рядах прославленной Панфиловской дивизии, был ранен в бою под Ельней, но с начала 1942-го снова в строю. Под Ленинградом командовал взводом противотанковых ружей. Подборки его стихов печатались в журналах «Звезда» и «Ленинград». Умер от ран 14 февраля 1944 года.



ТЕПЛИЦКИЙ ВИКТОР

Родился 1 мая 1970 года в Красноярске. Учился в СТИ (ушёл с пятого курса). В 1992-м женился. В этом же году принял крещение. В 1993-м вошёл в литературное объединение молодых писателей и поэтов под руководством поэтессы Аиды Петровны Фёдоровой. В 1994-м рукоположен в сан диакона в Свято-Никольском храме Красноярска. Через год рукоположен в сан пресвитера. До сих пор священник Свято-Никольского храма. Трое детей. Издал стихотворные сборники, книгу стихов и прозы «Ванечка», книгу прозы «Разговор с Птицей». Публикации в журналах «Старое и новое», «День и ночь», «Город детства», «Человек на земле», «Алтай». В 2005-м — лауреат премии имени В. П. Астафьева в номинации «Иной жанр» за драму «Королевское сердце». Окончил филологический факультет КГПУ имени В. П. Астафьева. Член Союза российских писателей.



ТРЕТЬЯКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

1939–2019

Родился 8 марта 1939 года в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Учился во ВГИКе и Литературном институте имени А. М. Горького. Автор 12 сборников стихов.

Печатался в журналах и коллективных сборниках Москвы и других городов России. Лауреат Пушкинской премии Красноярского края (1999). Автор слов официального гимна Красноярска. Член Союза писателей России, действительный член Академии российской литературы.



ФОМЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 7 июля 1963 года в городе Междуреченске. Окончил горный техникум родного города (техник открытых разработок полезных ископаемых) и Иркутский сельскохозяйственный институт (биолог-охотовед). Работал начальником охраны Алтайского заповедника, научным сотрудником в Тихоокеанском институте географии ДВО РАН. Многие годы Павел Фоменко — руководитель отдела по редким видам Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России. Посвятил свою жизнь изучению и охране амурского тигра. «Герой планеты-2000» по версии журнала «Time». Почётный работник охраны природы РФ. Живёт во Владивостоке. В 2020 году в издательстве «Эксмо» вышла книга Павла Фоменко «Поцелуй тигрицы».



ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ

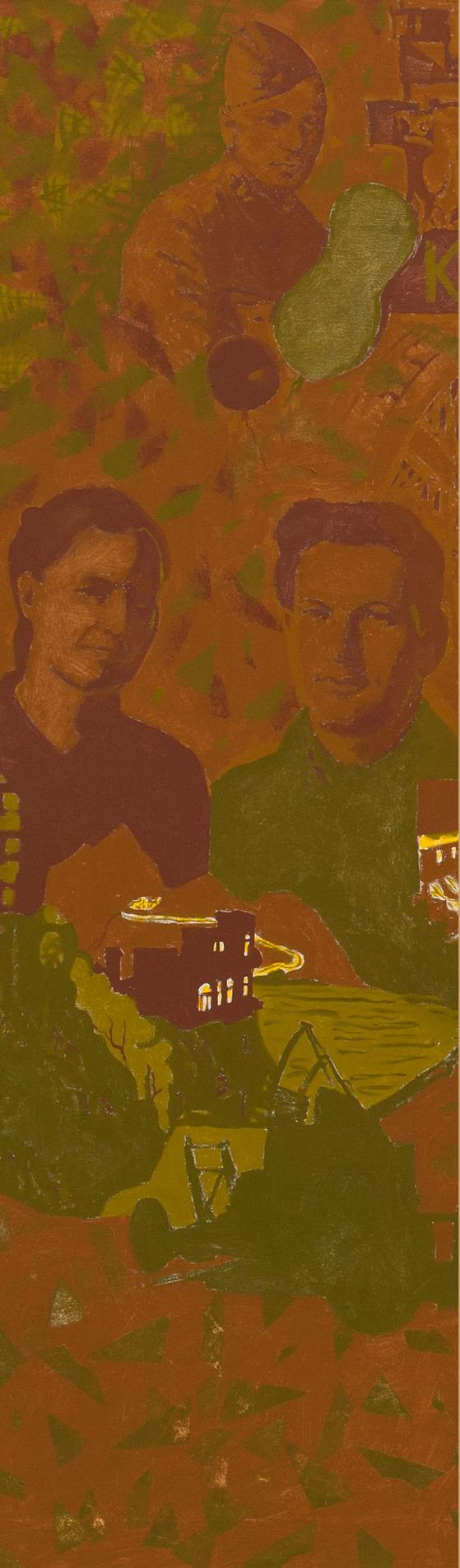
Родился в 1939 году в селе Таскино на юге Красноярского края. В различных вузах окончил с отличием факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, журналистом, редактором Красноярского книжного издательства. В 2003–2007 годах возглавлял Красноярское региональное отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, изданных в Москве и Красноярске. Печатался во многих журналах СССР и России. Заслуженный работник культуры РФ. Академик Петровской академии наук и искусств. Лауреат региональных и российских журналистских и литературных премий. Награждён медалью «За трудовую доблесть», почётными знаками «300 лет российской прессы», «100 лет М. А. Шолохову», «Золотое перо» и др. Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Живёт в Красноярске.



ЮРЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в селе Вожгалы Кировской области в 1954 году. Окончил факультет журналистики УрГУ имени А. М. Горького (Екатеринбург). Работал в областных и краевых изданиях Самарканда, Томска, Красноярска, собственным корреспондентом газеты «Гудок» в Красноярске. Лауреат конкурса «Журналистская Россия-2009», победитель и лауреат IX межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд» (2010) в номинациях «Территория интеллекта» и «Добро пожаловать в Сибирь!». Публикации в «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Молодая гвардия», «Мир Севера», альманахе «Новый Енисейский литератор». Автор

портала «Российский писатель» и сетевого журнала любителей русской словесности «Парус» (Москва), редактор отдела очерка и публицистики литературного альманаха «Новый Енисейский литератор». Автор книг «По Сибири с государевой оказией» (2002), «Шёл к Тунгуске звездолёт», «Звёздная миссия в прошлое» (2008), «По шпалам из века в век» (2011), «Зеркало антиквара» (2012). Научно-популярное издание «100 лет неизвестности» (2018) стало «Книгой года» по версии Красноярской краевой универсальной научной библиотеки имени В. И. Ленина.



ISBN 978-5-6044837-0-1



9 785604 483701